

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3 (416)

2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Давид Паташинский. «Нынче здесь, завтра там,
а потом в никуда, в никуда...» и др. 3
Ольга Дернова. «зима никакая не смерть а отъезд...» и др. 28
Салават Кадыров. «Это центральное отопление лета...» и др. 31
Виталий Зимаков. «в огне цикада алфавита...» и др. 116
Ирина Аргутина. «Октябрь» и др. 175

ПРОЗА
Анатолий Бузулукский. «Дяди Петин открытый балкон» и др. рассказы ... 8
Евгений Новицкий. МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER. Роман 33
Игорь Иогансон. Деточка на шаре. Опыт автобиографии 148
Александр Ломтев. «Там, где ничего не случилось» и др. рассказы 155
Владимир Глейзер. Горького, 28. Ностальгический мемуар 163
Оганес Мартиросян. «Ночь в Грузии» и др. рассказы 169

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Мария Скаф. «смотри-смотри...» и др. 140
Маргарита Казакова. «заплетала косички дочке...» и др. 142
Алена Бабанская. «тебе туда нельзя» и др. 144
Сергей Щурин. «Снег» и др. 146

ПЕРЕПИСКА
Листки из глухого времени. Письма Олега Сенина Валерию Белохову 184

ПЕРЕВОД
Современная немецкая проза: саратовские штудии 190

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Трунев. Сказание о «ЛИСКЕ» и «Пирровых» победах 202

NB: НОВАЯ ФОРМА
Алексей Верницкий. Мы научили русских поэтов считать слоги 204

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Олег Рогов. Сны с открытыми глазами 210
Алексей Александров. Блуждающий автобус 211
Сергей Трунев. Найди десять отличий 212
Николай Аржанов. 64 страницы полета 213
Олег Рогов. «Юность – это возмездие» 216
Роман Арбитман. Картонки и картинки 217

ВСПОМИНАЯ ВОЛГУ
Александр Титов. Большой конверт с тонким письмом 219

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Мэйнхауз и артстрим 221

© «Волга», 2008

Давид ПАТАШИНСКИЙ

* * *

Нынче здесь, завтра там, а потом в никуда, в никуда
пропадают друзья, пропадают враги, пропадают,
только черные птицы садятся на провода,
и как капли вечерние, медленно тают.

Только белые тени идут сквозь замерзшую речь,
полосатые робы скатав за усталой спиною,
посмотри, как привычно висит золотой щит и меч
над страной, безнадежно больною.

Вчк, кпб, поиграй мне побудку на ржавой трубе,
проиграй мне победку, помадку, пустую похлебку,
нынче здесь, а потом ты не мне, да и я не тебе,
да из Африки твердую пробку.

Только ночь на дворе, на глазах, на замерзших устах,
только польку, а то молдаванку, родную до боли,
замирают намеренно метрах немеряно в стах,
жернова на веселом помоле.

Подари мне циновку и бледную ткань января
опусти мне на плечи, размокшие розовой манной,
покури на заре, поднимая навзрыд якоря
над водой безымянной.

* * *

Бежит вода, незримое верстая, торопит солнце грозовую муть,
история, поверите, простая, летишь, и никуда не отвернуть,
бетонен лоб, гранитны рукавицы, солдата тень на ветреном плацу,
в пустых слеза старается налиться, но пыль бежит по страшному лицу.

Друзей осталась траченная сотня, горит приклад, и бронза наголо,
такое время ловкое сегодня, что спать пора, пока не рассвело.

Давид ПАТАШИНСКИЙ родился в Москве. Жил в Новосибирске, окончил Новосибирский электротехнический институт. С 1991 г. в Израиле, с 1997 г. в США, живет в Манси (Индиана). Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Слово-Word», «Крещатик», «Новый Берег», а также в интернет-изданиях «Сетевая Словесность», «Топос» и др. Книги стихотворений «Немного цвета» (СПб.: Пушкинский фонд, 2006); «Рассвет перед сном» (М.: Водолей Publishers); «Случайная почта» (М.: Водолей Publishers).

Прилежен ты, а стоило бояться чужую речь на остренький зубок,
несите дружно золотые яйца, такая жизнь настала без забот,
бежит вода, хрустальная такая, теряет рыба звонкую слюду,
хрустит фарфор усталого Китая, стою по щиколотку, глубже не войду.

* * *

утро избы в землю ушли по пояс
отсырев верхнею половиной
стрелки часов указывают на полюс
крепкое облако над овином

того гляди расплачется отвернувшись
чтобы не видели трезвеющие сельчане
даже корабль и тот пропадет в минувшем
позабыв о причале

колесо смеха

Мы поднимаемся наверняка, мы становимся выше, чем ожидали,
женщины улыбаются сквозь облака, погонщик работает на педали,
его веселый велосипед косит оранжевым, быстрым глазом,
и на еще более чудовищной высоте, чей разворот замечен, но не указан,
висит сверкающий аэроплан, головою сед, крыльями весь распахнут,
и солнце, испугавшись собственного тепла, морем вчерашним пахнет.

Смеемся тебе, говорили пьяные дети, в теплых мохнатках, местного говорка,
игрок на трубе играл на вечернем свете, пальцами в сладких музыках старика.
В улыбке холодной, от снега еще кривее, зубы белыми камушками блестели,
и стволы деревьев, пробитые до червей, отвечали вслух пляске сырой метели.

Мы поднимемся наверняка, оказавшись неба на сгибе тайном,
мы увидим рассыпанный, как мука, летящий сквозь воду лайнер,
он идет на север, но его отражение хочет уйти на юг,
прихватив капитана за крик холостой команды,
и волны ловят и пьют хрусталь голубых кают,
и матросы поют и играют в нарды.

спелая луна

Отдохни еще немного, звезды над тобой,
и пустынную дорогу вечером любой
по асфальту свет рисует, этот уголь станет сурик,
белые ветра, холод до утра.

Отдохни еще, подумай, месяца луна
уплывет холодной туной голубого дна,
свет раскачивает люльку, а еще позвал июль ту,
что болела зря, на губах заря.

Можно я тебя забуду, гордое твое,
плавит лунную полуду, ловкое копье
ветра в горло залетело, на пороге только тело,
остальное там, дорогим местам.

Отдохни, короче ночи верная печаль,
мамка льет усталой доче колченогий чай,
на губах налет немот лишь, почему в глаза не смотришь,
горячо дышать, не тебе решать.

Над глубокими горами неба высота,
по дороге догорали, досчитав до ста,
тишина проходит мимо, говоришь, на именины
петь тебе идти, больше не хоти.

Малыши, как паровозы, пылью хороши,
и лозы поспели слезы, собирать спеши,
время весело гуляло, пей еще, когда халява,
сладко, говоришь, да не повторишь.

Отдохни еще, тебе же завтра не вставать,
на огни, что светят реже, разменяв кровать,
солона прохлада комнат, а она тебя не помнит,
все летит летьмя звездного плетня.

Ночь молчит, луны болтает серебро во рту,
холод глубже проникает за душу пальту,
звук забыл, когда, лиловый, он поймал тебя за слово,
подарил пятак, отпустил за так.

* * *

Вино длиною в год старается на совесть,
никто не узнает больного старика,
а он себе идет, судьбой не успокоясь,
и медленный киот, что молимся слегка,
и медленный кивок навстречу человеку,
когда он достает последние слова,
березовый завод закончился у века,
он на руки прилег, и вся его трава.

Крепи свою муку, неумолимый мельник,
и медом наливай растерянный сусек,
больному старику что день, что понедельник,
вези его, трамвай полуночных бесед,
спаси его, собес, когда, непобедимы,
уходят поезда в неистовое вне,
и, пасынок чудес, волнуется Гудини,
в руке его звезда, рожденная в вине.

* * *

Веревки, говорю, веревки, стропил совсем не различу,
и кто-то маленький и ловкий ползет по острому лучу,
он залезает прям на солнце и огнь ладонями берет,
и ослепительные кольца бросает вниз наоборот.

Сквозь облака мышиной статью звезды падучая пчела
и руки прижимая к платью, ты платишь взглядом за вчера,
а мне бы холмы и равнины читать, зайдя на перевал,
ручья звенящего стремнины, где сны смотрел и забывал.

Прощайте, говорю, прощайте, не стоит масти, если шесть,
и листья колкие печальте, гремя в безудержную жесть,
на то и дождь, что перестал и дрожит, как лошадь под вожжой,
и кто-то маленький, усталый, ложится навзничь, как большой.

* * *

кофе коричневым сном
рисунки пыльного солнца
за окном зеленый рассвет
уложи меня спать чтобы ровно дышал

музыка ждет
струны и стрелы и страны ее
за окном солнце встает
спать уложи чтобы ровно дышал

клен и медведь и кривая ольха
медь и смола и фарфоровый шар
за окном разговор королька
спать уложи чтобы ровно дышал

* * *

Забытый на подоконнике
плачевный платок,
мальчишки играют конники
на восток,
девчонки канючат пряники,
чтобы обременять
животики и кораблики.

Солнце поднимается на канатике,
роса костит ягоды перебой,
а ты научи меня математике,
от суеты рябой.
Бешенство ушек маленького
собачика на снегу,

дай валенки,
все равно убегу.

Платок, платочек,
положи мне его в карман,
а жизнь мою хочешь,
где фонари горят,
а смерть мою плачешь,
я сам себя поломал,
цеплял пальцами якорят.

Солнечное кочевое облако,
кучевая его гроза,
а я люблю своего ослика,
его апельсиновые глаза,
травы горсть,
а он яблоко был непрочь,
к тебе гость,
ночь.

о земле

Дышу, как волк, икаю над золой и ручью киваю седину свою,
меня поймал ночной гиперболоид на лунную, прохладную змею,
душа полна восторженных испарин, налей вина, неугасимый Гарин,
волна летит, вспеняя берега, и на пути ни друга, ни врага.

Просыпешь тальк на пролежни ленивых, ушастых, зазевавшихся равнин,
и уголь кальк мечтою анонимок становится последний гражданин,
перо по буквам, поминая лечь им, земля как будто пахнет человечьим,
напишешь сон, и голова цела, и ходит слон на цыпочках стола.

На черноземе пахота горит, и тракторишка тащится пластунским,
у бригадира верное болит, он навсегда останется под Курском,
светло в ночи, давно необратимо, зерно молчит, но помнит побратима,
его наган и алые слова, где луговая вечность узлова.

Когда и мне просиживать штаны, за годом год, а за два не давали,
но если говорить обречены, то замолчим, играя на кимвале,
едва ли сел, по голову прополот, лукавит серп, предсказывая молот,
дышу, как волк, над черною водой. Мне двести вольт, я умер молодой.

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

Рассказы

Дяди Петин открытый балкон

Боль в душе Алексея Васильевича стала физической, слизистой до тошноты, как будто Алексею Васильевичу теперь действительно было чем вырвать. Он вспомнил, что такая же сукровица колыхалась в груди несколько дней подряд в октябре 93 года, когда танки в Москве расстреляли Белый дом, когда Алексей Васильевич насмотрелся по телевизору, как ловили в подворотнях и били неуклюжих людей, когда наслушался, как, оказывается, с крыш стреляли снайперы-провокаторы, среди которых были чужаки, даже бейтаровцы, и как ночью по Москве-реке сплавляли на баржах тысячи мертвых защитников Верховного Совета, а потом врали, что погибших насчитывается чуть больше ста.

Алексей Васильевич не любил лица Ельцина, которое могло лукавить непредумышленно, честной мимикой, по-русски, покаянно. Алексей Васильевич двадцать лет проработал на заводе начальником отдела кадров и такие, ельцинские, лица хорошо знал в их развитии. У юноши ельцинского типа лицо было особенно многообещающим – упрямым и потерянным одновременно; упрямство было кликушеским, потерянность – тугоплавкой. К сорокалетнему возрасту лицо ельцинского человека становилось невыносимо двояким, с затором – от борьбы алкоголической лихости с трезвым сибаритством. У шестидесятилетнего Ельцина, как известно, лицо вернулось на круги своя, опять стало выглядеть по-детски обворожительным. Однако даже от такого слоистого государственного лица бывший начальник отдела кадров не ожидал такого подлого государственного зверства. В одну из тех октябрьских ночей Алексей Васильевич еле проснулся, еле справился с внутренней духотой, с гидравлической тяжестью между ребрами, гулом то ли горной долины, то ли площади в каменном мешке. Растолкала Лидия Петровна, жена, проснувшись от мужниных, неожиданно чистых стонов, без храпа. Некоторое время до зимы, до холодов Алексею Васильевичу было противно выходить на улицу, видеть людей, неправильно понимающих несправедливость. Ему не столько были гадки Ельцин с Бурбулисом, сколько собственные доминошники во дворе, не столько демократы, сколько патриоты-дураки.

Новая боль из душевной превратилась в вязкую, безумную сегодня утром, когда Алексей Васильевич после ливня направился в гараж с ведром за картошкой и, обернувшись на свой дом, увидел опять над застекленным балконом своей квартиры не застекленный, промокший балкон дяди Пети, теперь уже не дяди Пети, а той, вероятно, проворной женщины, которая купила квартиру дяди Пети у его петербургского племянника Евгения.

На взгляд Алексея Васильевича дяди Петин балкон был зияющим, чересчур разомкнутым, разверстым, как после бомбежки.

Алексей Васильевич живому дяде Пете не мог посоветовать застеклить балкон – застеклить не для того, чтобы дождевая вода с открытого дяди Петиного балкона не просачивалась бы вниз и сырыми разводами не запечатлевалась бы на потолке застекленного балкона Алексея Васильевича (на что Лидия Петровна порой жаловалась мужу), а для того, что застекленный балкон, как

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ родился в городе Куйбышеве (ныне Самара) в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А. И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Живет в Санкт-Петербурге. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и многих публикаций в «толстых» литературных журналах Москвы и Петербурга. Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу.

ни крути, надежнее открытого. Но с живым дядей Петей заводить разговор про балкон у Алексея Васильевича не поворачивался язык: дядя Петя к соседу снизу испытывал благодарность и связанное с ней подобострастие (именно Алексей Васильевич помог дяде Пете получить квартиру от завода в этом доме улучшенной планировки) и скрепя сердце прислушался бы к его совету, но, самое главное, дядя Петя, противник активного моциона, любил сидеть вечерами на своем открытом балконе с супругой тетей Леной, дышал воздухом, а отнимать совместную радость у пожилых людей для Алексея Васильевича было последним делом.

Алексея Васильевича с дядей Петей роднило то, что оба были всегда малопьющими, расчетливыми, добропорядочными, и то, что у обоих образовалось примерно одинаковое семейное положение: при наличии хороших жен не было детей. Когда дядя Петя умер (вовремя, в 90-м году, до Ельцина с Гайдаром), к больной тете Лене перебралась ее младшая сестра, беженка из Средней Азии, тетя Валя. Тетя Валя, будучи безотказной и простодырой, вела общее хозяйство самоотверженно и неумело, что раздражало щепетильную, но немощную тетю Лену, привыкшую жить с дядей Петей как за каменной стеной. Алексей Васильевич помогал старым женщинам, чем мог, по-соседски, иногда вспоминал о том, что было бы неплохо все-таки застеклить балкон, что, может быть, Евгений, сын тети Вали, денег подбросит. Тетя Валя отвечала, что Евгений у нее и так молодец, деньги каждый месяц присылает матери с теткой, а у него семья, двое детишек, и время трудное. Балкон оставался не застекленным. Затем первой умерла тетя Лена, в конце прошлого года схоронили тетю Валю, которая хоть и прожила в квартире единоличной хозяйкой еще десяток лет, не допускала и мысли о какой-либо перепланировке в ней и даже перестановке мебели – совестливо полагала, что квартира эта по-прежнему не ее, а строгого покойного свояка. Сын тети Вали Евгений после похорон матери наведался еще раз – незаметно, тайком; квартиру продал скоропалительно, вероломно, скрывая сделку от соседей до последней минуты. У новой хозяйки дяди Петиной квартиры руки до балкона тоже не доходили.

Очистительные последствия ливня коснулись только зрения Алексея Васильевича: земля под деревьями плодородно почернела и стала скользкой, асфальт в проеме Средне-Садовой улицы сиял опасно, на взгорке сливался с маслянистым небом, машины плескались, как голые купальщицы, трамвай дребезжал, как ворота на ветру, и сыпал электрическими стружками, как фрезерный станок. Алексей Васильевич свою ухоженную «копейку» продал давно, когда понял, что не сможет больше ездить по развороченному городу в одной толчее с молодыми нахалами. Гараж на Александра Матросова оставил для скарба, в гараже был погреб для картошки.

Мучил теперь Алексея Васильевича не столько дяди Петин балкон, сколько дяди Петин петербургский племянник Евгений. «Что случилось с людьми и что случилось с их детьми?» – вопрошал Алексей Васильевич не голосом, а всем своим сознанием, не жену и не прохожих, а весь видимый городской горизонт, большую, в мокрой пыли, шумную улицу Победы, то неразличимое привычное место, где он прожил свои годы теперь уже почти целиком.

Каждое лето маленького Женю мать от неблагополучия и среднеазиатской жары отправляла к своей старшей сестре, к тете Лене с дядей Петей на Волгу. Мальчик был худосочным отличником, ширококостным, кудрявым, с сиюминутно краснеющими скулами. Алексей Васильевич слышал, что этого ребенка сразу после его появления на свет тетя Лена просила сестру отдать ей на воспитание. Но тетя Валя, забитая гордячка (не от злости на людей, а, наоборот, от доверия к ним и какой-то старинной нравственности), даже оскорбилась сестриному предложению, напомнила, что она хоть и нищая, но мать и растить своих детей будет сама, как бы ей ни было трудно. У нее, кроме Жени, был еще один, старшенький Саша, а дочка, первая, умерла в младенчестве. Чувствуя невольную вину перед бездетной сестрой, тетя Валя приучила маленького Женю называть тетку мамой Леной, а ее мужа, дядю Петю, крестным, что мальчик и делал послушно и с пониманием.

Однажды дядя Петя, после двух рюмок водки за ужином, выговорил жене, что мальчик, которого они кормят и поят, который у них месяцами живет на правах родного ребенка, не оказывает никакого почтения, только и знает, что все время молчит. «С тобой еще перемолвится, а со мной –

нет», – обижался дядя Петя громко, во всеуслышание. Алексей Васильевич, в этот вечер сидевший с соседями на их кухне, защищал тетю Лену и особенно Женю, зная, что тот, в комнате, слышит взрослых людей и начинает бояться и страдать. Каково же было удивление Алексея Васильевича, когда на другой день, поднявшись к соседям, он увидел, как Женя, маленький, двенадцатилетний, разместившись со своим прямодушным крестным отцом на балконе, что-то повествовал тому с неизвестно откуда бравшейся обстоятельностью и, после вчерашнего выговора, с намеренным многословием и с артикуляцией, как у диктора, а дядя Петя не столько слушал мальчика, сколько смотрел на него во все глаза то с горделивым удовольствием, то виновато. Хлопотливая тетя Лена союзнически переглядывалась с Алексеем Васильевичем, который догадался, какой мучительной и взрослой была минувшая бессонная ночь для бедного умного ребенка.

Алексей Васильевич видел, что мальчик был не столько хитрецом и лжецом (кажется, в его возрасте невозможно было приспосабливаться подлым образом), сколько невинно растущей и уже по-настоящему жертвенной душой. Конечно, маленьким дипломатом – тоже, но прежде всего, в своей основе, как чувствовал опытный кадровик, - сострадательно понятливым человеком, будущей развитой и трудной личностью.

Мальчик целыми днями читал книги и журналы, которые ему приносила Лидия Петровна, работавшая в заводской библиотеке. Среди своих местных сверстников товарищей Женя не завел. На улицу выходил только в магазин за покупками и мусор вынести. По субботам сопровождал крестного на рынок, а по воскресеньям ездил с ним на Волгу. Купался неохотно: Волга сразу проваливалась под ногами. Дядя Петя педагогически требовал, чтобы ребенок за обеденным столом съедал бы всё, что ему причиталось, и радовался, когда тощенький Женя прибавлял за лето несколько килограммов: дядя Петя ставил мальчика на весы в начале лета и в конце. Вечерами мальчик читал книги вслух полуграмотному дяде, который, прежде чем уснуть от выразительного детского чтения, успевал ради приличия прокомментировать наиболее жизненные места книги. Мальчик научился ребячливо потешаться над дядей, ловил его очки с засыпающего лица и еще несколько минут продолжал декламировать текст заунывно, как колыбельную, чтобы усыпить слушателя наверняка – до рассудительного похрапывания.

В прощальные дни перед отъездом мальчика домой старые супруги горестно сникали. Тетя Лена, не скрываясь, всхлипывала. Дяди Петина справедливая чинность становилась, что Алексею Васильевичу было приятно наблюдать, жалостливой и жалкой. Дядя Петя начинал астматически вздыхать. Женя чувствовал себя виновником их беззащитной печали, мамы Лениного обожания и кроткой затаенности крестного, и тревожился, что они заметят, что он и любит их, особенно маму Лену, но и очень хочет домой, скучает по родной матери. В вагоне отправляющегося поезда крестный (мама Лена оставалась плакать дома) уважительно обнимал племянника и уже не смел давать ему никаких наставлений, даже формальных, дорожных. Слезы резко и положительно старили дядю Петю.

Год до следующего Жениного приезда супруги гордились мальчиком, показывали соседям его поздравительные открытки, написанные обходительным слогом. Дядя Петя, бывало, непроизвольно похохатывал, когда невзначай вспоминал какого-нибудь Илью Петровича Сохатых из «Угрюм-реки», которую ему все лето читал Женя.

Женя наведывался к одиноким родственникам вплоть до выпускного класса. Летом после окончания школы он не приехал: поступал и поступил в университет в Ленинграде. Старики теперь даже меж собой стали звать Женю Евгением. Крестный послал в Ленинград к зиме сто пятьдесят рублей племяннику на пальто. На следующий год после сессии Евгений приехал на Волгу только на две недели. Овал его лица от бритья почерствел, руки стали жилистыми, как у отца-хулигана, глаза, как у матери, готовыми в любой момент оскорбиться. Дяде Пете было уже неудобно да и ни к чему просить студента почитать, как прежде, какую-нибудь книгу. А Евгению, кажется, теперь было неловко именовать дядю крестным, а тетку мамой Леной, он коряво старался обходиться без прямых обращений. Когда Алексей Васильевич беседовал с Евгением о Ленинграде, старики обреченно скучали.

На последнем курсе Евгений женился. Дядя Петя побывал у него в Ленинграде, чтобы убедиться в правильности выбора любимого племянника. Вернувшись, дядя Петя сообщил, что теща у Евгения хозяйственная и веселая женщина, а юная супруга скромная и воспитанная, но не веселая и не открытая, в отличие от собственной матери. Молодые к стареющей чете с визитом не торопились. Наконец дядя Петя умер – скоропостижно, в магазине: расплатился за молоко, сложил мелочь в кошелек, поставил бидончик на пол и аккуратно сполз по стене. Евгений на похороны выбраться не смог. Приехал только года через два без жены, один. Выпил с Алексеем Васильевичем и стал с напористой осведомленностью рассказывать о Собчаке и о том, что обитает теперь не в Ленинграде, а в культурной столице, в Санкт-Петербурге; мимически нехорошо удивился шутливому замечанию Алексея Васильевича, что молодым людям с именем «Евгений» традиционно неуютно живется в городе Петра. «Литературоведение теперь никому не нужно, – отмахнулся Евгений, – по крайней мере, у нас в Питере». Алексей Васильевич уточнил: «А у нас в провинции Петербург никогда не называли и не называют Питером, а всегда – или Ленинградом, или Санкт-Петербургом, и почитают больше Москвы». В молодом подпитии, когда еще поговорили о литературе, политике и Петербурге, Евгений заметил, как бы в отместку, что у него, у Алексея Васильевича, какое-то внимательное радушие, как у Порфирия Петровича, следователя. Алексея Васильевича покоробило такое сравнение, пусть и литературное. Он вспомнил старшего брата Евгения, Александра, который незадолго до кончины дяди Пети впервые и без предупреждения нагрянул в гости к родственникам транзитом откуда-то с Урала. Дядя Петя с тетей Леной почти не знали и не видели старшего брата Евгения; тот лучшие свои годы провел за решеткой и представлялся старикам шпана шпаной. Их опасения подтвердились: перебрав, Александр на ровном месте вспылил и едва не ударил дядю Петю, стал обвинять его в том, что тот всю жизнь крохоборничал, а еще в свое время ссучился (дядя Петя в молодости тоже отбывал срок) и что такое поведение не прощается никогда и никому, ни родне, ни почтенным старцам...

Алексей Васильевич думал о гибельных русских семьях, о замкнутом круге этой гибельности, о том, что каждая русская семья теперь порочна и несчастлива, – несчастлива по-новому, не потолстовски. Он слышал, как Александр сетовал, что упустил Евгения, и Евгений теперь разные неправильные движения совершает, про мать и брата забыл в своем Петербурге, отца, какой бы тот ни был, не приехал хоронить.

Алексею Васильевичу было обидно, что одни люди, не самые хорошие, остаются цельными и предсказуемыми всю свою жизнь, а другие перерождаются до неузнаваемости. Вот Славка с пятого этажа в детстве был гаденыш и пакостник, почтовые ящики поджигал и не признавался ни за что, и теперь ничем не лучше: джип у подъезда специально так паркует, чтобы жильцам приходилось бы его огибать по газону, грязь месить. Что происходит с нашими умными юношами, с нашими девушками? Что случилось с Евгением? Начал пить, как отец, уехал в чужой город, стыдиться близких людей, зарыл талант, преодолел ранимость, изоврался, разлюбил жену, забросил детей, подвел черту под прошлым, как будто такую черту можно провести. Эх, Евгений, Евгений, мученик-племянник! Приехал, как вор, продал дяди Петину квартиру за бесценок и теперь, наверно, прожигает остатки этих несчастных долларов.

Алексей Васильевич вспомнил, как такой же Евгений, менеджер, обманул его несколько лет назад, как теперь отвратительно выражаются – «кинул». Алексей Васильевич помог этому приятному во всех отношениях менеджеру получить заказ на изготовление рекламного буклета завода. Медоточивый менеджер в знак благодарности пообещал бывшему начальнику отдела кадров десять процентов от суммы договора. Менеджер действительно чем-то, может быть, загнанным в угол умом, напоминал Алексею Васильевичу раннего Евгения. Когда же Алексей Васильевич явился за комиссионными, за пресловутым «откатом», этот менеджер-Евгений стал виться ужом, уверять, что себестоимость вдруг оказалась выше запланированной, и без проблем, от себя отрывая, он может выплатить Алексею Васильевичу лишь один процент. Алексею Васильевичу стало нестерпимо противно, он плюнул на один процент, зачем-то фиглярски усмехнувшись на весь офис, что, мол, даже отставного премьер-министра звали «Мишка-два процента».

Алексей Васильевич вернулся к своему дому и опять зацепился, словно намагниченным, взглядом за сиротливый дяди Петин балкон. «В голове не укладывается, как можно было в наше время продать такую квартиру! – Алексей Васильевич сокрушался спокойнее, безнадежнее. – Не посоветовался Женя со мной. Кинул. А ведь эта квартира – моя заслуга. На заводе болтали, что я нарочно дядю Петю над собой поселил, тихих соседей, вместо, дескать, звукоизоляции. Кто бы мог подумать, что с квартирой дяди Пети такая беда стрясется?! Родной племянник так поступит! Все эти непутевые москвичи и петербуржцы думают, что только у них в столицах жилье на вес золота, а у нас в провинции квадратные метры ничего не стоят. Глупость человеческая безродная!».

Почему-то Алексей Васильевич был уверен, что дяди Петина квартира теперь снится совестливому Евгению каждую ночь, с молчаливыми мамой Леной и крестным, и лица у них – без видимого, должного укора: что же ты, Женя, наделал с нашей квартирой?!

...Во дворе, даже доминошники, вторую неделю обсуждали нелепую, какую-то несовременную трагедию, разыгравшуюся в угловом, военном, доме. Отставник-полковник застрелил соседа, своего одногодка-прапорщика. Офицер восемнадцать лет сомневался в том, что его сын ему родной, плоть от плоти, из его семени. Наконец решился на анализ ДНК. Ответ получил отрицательный: не сын. Полковник прижал жену к стенке (причем всё это происходило накануне их серебряной свадьбы), жена призналась, что зачала ребенка от соседа и что близость у нее с этим прапорщиком была только единожды и только ради того, чтобы ей забеременеть, потому что он, любимый муж, не мог иметь детей по состоянию здоровья, а она напрасно лечилась от якобы бесплодия несколько лет кряду. Через два дня сын полковника и прапорщика повесился: юношу связывали любовные узы с дочерью соседа-прапорщика, по сути, со своей сестрой.

«Как в Древней Греции», – вздохнул Алексей Васильевич, присаживаясь к доминошникам.

«ДНК тоже в Древней Греции выдумали?» – ехидно поинтересовался один из доминошников, хромой Сергеич.

«Мальчишку жалко. Говорят, хороший был парень», – подал голос другой доминошник, Иван-дальтоник.

«Ежу понятно, что хороший, – ворчал хромой Сергеич. – Если бы сосед не был прапорщиком, а был бы повыше званием, хотя бы капитаном, может быть, полковнику и не стало бы так обидно».

«Всё равно так нельзя. Как в кино», – заключил Алексей Васильевич.

«А у тебя в девяноста третьем году сердце болело не как в кино?» – не любил бывшего начальника отдела кадров хромой Сергеич.

«Что ты всё путаешь, хромой черт?» – плюнул Алексей Васильевич и пошел домой с ведром картошки.

Хромой Сергеич веско брякнул костяшкой по оцинкованной столешнице. Не выносил он Алексея Васильевича без причины, по давней, общей инерции.

Летом после обеда Алексей Васильевич спал на лоджии. Всякий раз, вытягиваясь на диване в прохладе, Алексей Васильевич радовался своей квартире, которая состояла не только из двадцатиметровой комнаты, вместительной прихожей с кладовкой, квадратной кухни с балконом, но еще и лоджии, тоже с балконом и тоже застекленным. Два смежных дома смыкались друг с другом этими самыми летними, деревянными лоджиями.

До недавнего времени если и проникал на лоджию шум, то только уличный, снизу, из подворотни. С этим обветренным, кашеобразным, невинным гомоном слух Алексея Васильевича справлялся бессознательно, как с чем-то само собой разумеющимся, и Алексей Васильевич засыпал сразу и благородно, как, наверно, засыпают только в филармонии.

Однако теперь за перегородкой у соседей появились половозрелые подростки. Сегодня они начали трахаться во всеуслышание, контрастно, с горловыми восклицаниями, непонятным матерком и особенно безобразными смешками. Причем почему-то подросток-самка ликовала ба-

сом, а мальчишка-самец отрывисто попискивал и от нагромождения вздохов разной длины, казалось, мог задохнуться. По характерному, дробному постукиванию в стенку Алексею Васильевичу стало ясно, что тела у любовников были длинными и костлявыми. Алексею Васильевичу от этого кошачьего концерта стало противно и совсем не эротично; его подмывало подсказать ребятам, чтобы они занимались сексом красиво и выразительно и чтобы партнер был мужественным, а партнерша – женственной. Он подумал, что самое привлекательное в женщине – коленки, не полные и не хлипкие, а средние, с видимой нежностью, слегка оголенные и сияющие этой нежной и крепкой голизной.

«Они, молодые, думают, – злился Алексей Васильевич, – что без нас, одним, в наших квартирах им будет лучше. А лучше им не будет. Нам тоже не стало лучше, когда умерли наши отцы и матери».

Алексей Васильевич понимал, что теперь разделительную стенку между лоджиями придется закладывать кирпичом, да не в один ряд, а в два, отчего помещение, конечно, скукожится, будет похоже на гроб, – или совсем без особой надобности туда не заходить.

Алексей Васильевич и раньше догадывался, а теперь его осенило, после случая с полковником, что его Лидия Петровна никогда не была бесплодной, а бесплодным был он, Алексей Васильевич, потому что в армии как-то сильно простудился и, наверно, заработал осложнение по мочеполовой части. «Какая молодец: так ребенка хотела, а на измену не пошла!» – любовался Алексей Васильевич всей своей прожитой супружеской жизнью.

Жена шелестела венчиком на кухне. Пахло подслащенным творогом.

Алексей Васильевич от входной двери крикнул жене:

«Лидия! Пойду знакомиться с соседкой сверху, про балкон скажу».

«Давно пора. Вспомнил».

Люстра

К середине жизни инфантильная сопатка Потапенко, благодаря длинным, ложно обидчивым складкам на переносице, хоть как-то стала вытягиваться.

Середина жизни, в понимании Потапенко, в наши дни стремительно наступала не в сорок лет, а в тридцать пять. Однако Потапенко считал, что и в сорок пять, и в пятьдесят никакая самонадеянная молодежь не посмеет называть его старпером: не потому, что он не будет еще тянуть на старпера к тому времени или начнет так молодиться и так по-актуальному вести себя, что в нем трудно будет заподозрить этого самого старпера, а потому, что в Потапенко поверх всего остального залегала такая бескорыстная веселость и такая откровенная бодрость, что и стариком он будет выглядеть неприличным – густозубым, рослым и скабрезным, словно какой-нибудь известный породистый режиссер.

Несмотря на то, что мужские особи к середине жизни, как правило, бывают недовольны своим внешним видом, Потапенко ничего безобразного, благоприобретенного в себе не замечал – даже в нарождающемся, втором, зыбком подбородке, в жирноватом блеске притупившихся скул, в огрубелых и спокойных веках, в темных и опытных губах, не говоря уже о туловище и конечностях. Лишний вес, который, конечно, присутствовал в Потапенко, растекался по всему каркасу равномерно, в связи с чем пузцо выглядело недавним и неболезненным, ровные напластования на боках придавали фигуре оттенок неотесанности и стойкости, а утолщения на ляжках делали осанку Потапенко не только солидной, но и доверительной. Потапенко радовало, что он по-прежнему оставался удивительно приметным во всех своих местах и с различных точек зрения.

Потапенко уже много лет любил субботнее утро с его неторопливым, добротным, на выспавшуюся голову с исправной перильстатикой туалетом, шумным душем, чувственным бритьем, мокрыми, теплыми волосами. В субботнее утро жена располагалась на кровати особенно изогнуто; он не мог заставить себя смотреть долго на ее размашистые дольки – ему хотелось их немедленно разломить.

Вероятно, в силу того, что Потапенко и на работе, и в свободное время производил впечатление человека крайне загруженного, вернее, человека, который никогда ничего не успевает, эта его внешняя забывчивость и рассеянность, казалось, должны были компенсироваться сосредоточением на каком-то одном, неразглашаемом, внутреннем пути, а некая сомнамбулическая расхристанность скрывать неусыпную памятливость и душевную организованность. По крайней мере, за такого, внешне мелкого и внутренне глубокого, типа Потапенко порой принимали окружающие.

Зачесав безупречными гелевыми бороздками влажные пряди назад, Потапенко вспомнил, что именно сегодняшнее субботнее утро у него было испорчено. Жена Жанна теперь не лежала на месте, в спальне на кровати, она вчера с Люськой, с ребенком, уехала к своей матери в Выборг. Потапенко от разочарования, неуместного, сразу охватившего весь организм, разворошил себе макушку и сплюнул полный рот хорошей, эротической слюны в раковину. «Какой облом!» – воскликнул Потапенко в сердцах, имея в виду не столько конкретную, неосуществленную, словно выскользнувшую из рук интимную близость, напрасные, распаляющие приготовления к ней, обоюдоострую жажду обладать и жертвовать, не столько окончательно испорченное сегодняшнее утро и весь последующий день, сколько теперь уже, кажется, бесповоротно и непоправимо испорченную всю свою жизнь, какой бы долгой и благополучной она дальше ни складывалась.

Жена возвестила, что на этот раз бросает его, Потапенко, совсем, что с таким распущенным, необузданным козлом жить нельзя, что не сегодня-завтра он заразит ее какой-нибудь неизлечимой болезнью, потому как всеми излечимыми позорными инфекциями он ее уже награждал, что он не только неисправимый развратник, то ли бабник, то ли педофил, но теперь еще и алкоголик, несчастный кутила и жалкий мот, что он настолько сильно пристрастился к проституткам, что избавить его от этой тяги уже не сможет ни она, теперешняя его жена, ни новая, если он такую дуру найдет, не исправит и грядущая импотенция, к чему в обязательном порядке его приведут беспорядочные половые связи: он будет умирать под забором и все-таки просить пьяную шлюху заголить для него сиську, хотя бы чтобы поглазеть.

Последнее время жена Жанна часто и красиво отчитывала Потапенко, когда после очередной, так называемой корпоративной вечеринки, он заявлялся домой под утро, а то и через день; но теперь, сегодня, предощущение развода было разлито повсюду в квартире, как запах внезапной лежалой сырости, первого, предзимнего, еще не выпавшего в действительности снега.

Обычно Потапенко валился в ноги жене, что любил делать и фиглярски, и искренне, чтобы видела маленькая дочка, как правильно и вместе с тем смешно папа добивается пощады у мамы. На этот раз традиционного, брезгливого отлупа от жены не последовало, то есть Жанна не высвободила брезгливо ноги из его объятий и не удалилась на кухню, досадливым покачиванием бедер опять прощая мужа, а громко, пискляво, как-то страшно, неизвестно для него зарыдала наверху, отчего Потапенко сам опустил руки, а когда поднялся, увидел ее лицо черным и безжалостным, готовым пожелать ему, мужу, смерти. Успокоившись, Жанна только добавила, что он напрасно выставил ее дурочкой перед своим приятелем милицейским полковником Алексеевым и его супругой-еврейкой, которые были у Потапенко в гостях месяца два назад: «Зачем ты наплел Алексееву, что я тоже еврейка? Его жена весь вечер не сводила с меня глаз, что-то искала во мне, наверно, еврейские черты, а когда их не обнаружила, то поняла тебя как облупленного, как придурка и ничтожного человека». Потапенко вспомнил, что действительно, когда Алексеев бахвалился где-то в бане своей женой-еврейкой, Потапенко почему-то брякнул, что и у него благоверная, кажется, тоже еврейка; он сказал «кажется», а без «кажется» сказал всего лишь, что у нее нос еврейский, с горестной горбинкой. Потапенко не понимал, почему жена придала такое значение этой мелочи с Алексеевым. Может быть, ее обидело, что, пожаловав с ответным визитом, они, Потапенки, обнаружили у Алексеевых огромную, пятикомнатную, отделанную квартиру с двумя каминами и эркером на Неву – в противовес их, Потапенок, двухкомнатной квартире на Бухарестской, про которую ментовская полковничиха заметила: «Ничего, мило».

Потапенко еле сдержался, чтобы не напомнить жене, что первым развратником в их семье был не он, а она, Жанна, которая до замужества перепробовала ни один десяток партнеров, а

он, Потапенко, до знакомства с ней был практически невинным и влюбился в нее правдиво, без задних мыслей, и до сих пор любит, как положено, и привык к ней по-настоящему: к ее дыханию, к ее коже, которая в невидимых местах становилась вдруг особенно пронзительной, к ее горделивости, к ее неустранимой манере облизывать свою верхнюю, с пушком, губу, к ее странной нелюбви к глубоким французским поцелуям.

Потапенко догадывался, что пристрастие к психологическим расследованиям, всяким экстрасенсорным домыслам жене привили книги. И ладно бы читала Донцову с Марининой, а она читала Толстого, по полгода мусолила «Войну и мир» с «Анной Карениной». Редкая молодая женщина в наши дни наслаждается Толстым. Потапенко не сомневался, что именно от симпатии к Толстому у жены развилось якобы понимание семейных отношений и нравственных исканий человека, прежде всего мужчин и особенно мужчин падших, к которым, как она полагала, теперь принадлежал и ее муж.

Потапенко заверял жену, что, если он и выпивает с коллегами и друзьями, то делает это исключительно по службе не больше и не меньше других представителей среднего класса России, а к проституткам не обращается вовсе, замечен не был, а если и изменил ей пару раз в прошлой жизни, то она знает, как и с кем, по пьяной лавочке, в чем он и раскаивался неоднократно. «Я знаю, когда у тебя бывают проститутки, – говорила человековедчески Жанна. – У тебя и походка на другой день после проститутки другая, пустопорожняя и вразвалочку. И улыбка после этого три дня гадкая. И вроде бы ты человек не гадкий, а после проститутки хехекаешь гадко, гаденько, потому что побывал в тошнотворной среде, где даже от положительного человека ничего, кроме пошлости, не остается», – смягчалась в конце Жанна...

Потапенко обошел квартиру и теперь, от ее пустоты, неряшливости и, значит, предрасположенности к разладам, согласился с последней идеей жены (не считая самую последнюю, о разводе), что квартира нуждается в ремонте. До этого он полагал, что Жанна специально заводила разговор о ремонте, дабы он не очень-то сорил деньгами (в том числе, не договаривала она, тратя их на проституток), а копил хотя бы на стройматериалы, но теперь Потапенко стало ясно, что ремонт, как ни крути, назрел. Особенно плохи и старомодны были полы и двери.

В прихожей на обуви валялся любимый зайчик Люськи, дочери. Потапенко рассмеялся в голос: понятно, что его умница Люська не случайно забыла игрушку, а чтобы вернуться назад. У Люськи была его, отцовская, потапенковская, сопатка, только ее уменьшенный, девичий, облагороженный вариант.

На кухне Потапенко оглядел люстру. Жена уверяла, что плафон этой кухонной люстры покрылся таким слоем испарений и бесцветной гари, что может в любой момент от тяжести рухнуть, – не дай бог, на голову ребенку. При этом Жанна опять вставила своего Толстого: мол, во время венчания будущих отца и матери будущего великого писателя в церкви упала люстра, и родитель Толстого всегда вспоминал об этом случае как о дурном предзнаменовании. «Как будто дурного не для Толстых, а для всех нас», – хмыкнул Потапенко.

Потапенко решил помыть плафон. На ощупь тот оказался действительно сальным, но прикручен был к арматуре крепко. В ванной плафон выскользнул из пальцев Потапенко и, ударившись о кафельный пол, разлетелся вдребезги, что было неожиданно и неестественно для такого жирного, клейкого, монолитного стекла. «Не судьба!» – опять во всеуслышание высказался Потапенко, решив поехать покупать новую люстру и этим положить начало ремонту.

Потапенко выпил кофе с эклером (Люська папе-сладкоежке оставила), покопался в интернете, проверил почту, в которой, как ни странно, не было ни одного нового письма, отсутствовали даже примитивные спамы. Интернет Потапенке был по душе, потому что был таким же, как Потапенко, – легким на подъем, сумбурным, дурашливым и всеядным. Потапенко подмывало залезть на какой-нибудь порносайт погуще, но Потапенко сдерживался; обновил свое резюме на «job.ru» и еще на паре «трудовых ресурсов». Смутная перспектива развода с Жанной укрепила Потапенко во мнении поменять работу. Теперь, как и все приличные питерцы, Потапенко мечтал о Москве. В 35 лет может быть получен только последний и окончательный шанс плюхнуться в

добротное топ-менеджерское кресло в крупной, лучше государственной компании-монополии. Потапенко сознавал, что постыдно вырос из штанишек директора по рекламе и PR средней петербургской фирмочки, – вырос не столько, конечно, умственно или профессионально, по возрасту или вневозрастному замаху, сколько в личных планах, снах и упованиях, в желании занимать ту же строчку, что и твои ровесники-единомышленники, которые нисколько тебя не лучше, а лишь фартовее; вырос имиджево, всей своей респектабельностью, всем чувством собственного достоинства и навыком идти в ногу с веком. «Никто не лыком шит, даже новый президент, который тоже, в конечном счете, отсюда, из Купчино», – Потапенко вбил в графу «Личные качества» специально для московских работодателей слово «амбициозность» сплошь прописными буквами. Потапенке всю плешь проел его нынешний генеральный директор, такой же, как Потапенко, тридцатипятилетний, наблюдательный и принципиально не верящий, что сотрудники без надзора, слежки и взаимных доносов могут выполнять свои обязанности честно; обвинил Потапенко в мнимом трудоголизме. «Ну да, – хохотнул Потапенко. – Не без этого, иногда имитирую. Но так ведь одно и то же каждый день за ту же зарплату!»

Самым большим прижизненным откровением Потапенко стало понимание им того факта, что действительно богатым человеком, долларовым мультимиллионером ему, Потапенке, не быть. Раньше, молодым, он почему-то совсем не придавал значения возможности стать богатым, возможности, надо признаться, вполне реалистической или, как сейчас выражаются, реальной; теперь надеяться разбогатеть было смешно, с какой стороны ни посмотри. Странно, но Потапенко отнюдь не расстраивался, что однажды он не вскочил на подножку поезда будущих толстосумов, как будто ему было с ними не по пути, как будто у Потапенко были иные, не богатство, цели и ценности, например, ученость, творчество, слияние с природой или даже святость, как будто столь любимые им ровное преуспевание, комфорт, секс, здоровье, покой в семье, путешествия и незамысловатые зрелища можно было обрести без денег, как будто богатство – это не деньги, а нечто другое, чуть ли ни противоположное.

«Надо увольняться! – приказал себе Потапенко. – Вот только тираж календаря отпечатаю – и ходу из этой конторки, куда-нибудь в Газпром, куда-нибудь в Росвооружение. Хочется глобального дела, так сказать, вместе со страной, а там и жалование, между делом, на порядок выше».

Над корпоративным перекидным календарем, своим, по всей видимости, дембельским аккордом, Потапенко трудился на совесть, потому что календарь замышлялся эротическим и ироническим. Позировать в качестве фотомоделей Потапенко предложил двенадцати молоденьким и не очень молоденьким сотрудницам фирмы, в основном из самых рекламогеничных, из менеджериц по продажам. Те сначала, конечно, надули губки высоконравственно, все как одна, а когда было обещано, что дорогие купальники из «Дикой Орхидеи», в которых нужно будет сниматься для календаря, перейдут в собственность натурщицам, одна за другой согласились: на какие, мол, этические издержки не пойдешь ради процветания родного предприятия. Девушки даже поссорились из-за месяцев – кому какой представлять. Единственная некрашеная блондинка, которая, кстати, раздеваясь, становилась все равно, природно, без солярия, смуглой, настаивала, что на «март» должна пойти именно она, потому что март ассоциируется в мужских мозгах с типичной женщиной, то есть с трогательной блондинкой с волнистыми формами. В итоге, для собственного развлечения, Потапенко отобрал для «марта» вообще неформат – зам главного бухгалтера предбальзаковского возраста с добрыми, мягкими тканями лица, конопатым застенчивым бюстом, волосы которой не составило большого труда заплести в сильную, казачью, бурую косу. Генеральный директор, не возражая в принципе против такого фривольного издания, которое, как он мог видеть, по своей задумке, вопреки потапенковским заверениям, вышло далеко не креативным и весьма провинциальным, что, впрочем, только могло играть на руку региональному бизнесу фирмы, пожурил-таки Потапенко. «Пороки, – глубокомысленно процедило начальство, – по-любому, хотим мы того или не хотим, приходят в этот мир. Но горе тем, через кого они приходят». Умыл, так сказать, руки Потапенкой. Ничего, – понимал Потапенко, – в наше время первому лицу по должности следует быть немного ханжой, а рекламщикам – делать грязную работу.

Обычно Потапенко был равнодушен к хамству, попросту не замечал его, особенно хамства женщин, особенно молодых и привлекательных. Грубость красивых девушек представлялась ему такой слабохарактерной и сублимированной, что принимать ее всерьез, без снисходительной и обязательно похотливой ухмылки, значило бы выдавать в себе женоненавистника или того хуже, какого-нибудь несамца. Но сегодня с Потапенко произошла странная, на пустом месте, и при этом словно долгожданная метаморфоза.

В магазине, куда Потапенко зашел за новой люстрой, неподалеку от его дома в Купчино, как будто еще со времен советской торговли царили, в противовес супермаркетному принципу организованного самообслуживания, допотопные прилавки с недружелюбными продавцами за ними. В помещении было не продохнуть, пахло пиломатериалами, цементом и гвоздями, не металлическими изделиями вообще, а именно гвоздями. Люстры висели под потолком, где придется, в разных точках зала, как неприкаянные, как не профильный, сопутствующий товар. Некоторые из них Потапенке тем не менее понравились. Вдруг Потапенко начал злиться – от духоты или от того, что внутренне плохо разбирался в люстрах, а профаном, однако, здесь, в этом убогом торговом заведении, выглядеть совсем не хотел, а главное потому, что никто к нему не собирался подходить с дежурной репликой «Вам помочь?». Наконец он подозвал жестами белокурую, юную, но коренастую продавщицу. Она подошла к нему, но смотрела в сторону, не на него, с усталым вызовом, полагая, что он передумает просить ее достать и продемонстрировать люстру. Он не передумал и указал на плафон с цепями, похожий на качели. Девушке ничего не оставалось, как при помощи стремянки снять с крючка товар. Вблизи люстра Потапенко разочаровала: меандр по стеклу был выписан грубо, с охристыми кляксами. Потапенко попросил показать другую люстру. Хорошо сбитая девушка пробурчала в сторону, что надо выбирать сразу, чего хотите, но пошла в нужном направлении и где-то между проходами невзначай потерялась. Потапенко взбесило не то, что продавщица оказалась не обходительной в наше насквозь коммерческое время, когда клиент, как известно, всегда прав, а то, что она была восемнадцатилетней дурой, крепкой, хмурой, грубо грудастой и при этом имела наглость ни разу не взглянуть на него, ни только как на покупателя, но и как на все-таки обаятельного мужчину. Потапенко неожиданно для себя, кажется, впервые в жизни, за какое-то мгновение превратился в нелепого скандалиста. Сначала, весь дрожа, он отыскал начальницу этой продавщицы, заведующую секцией, тоже молодую, двадцатипятилетнюю, с красивыми ломкими ключицами, с какими-то полупрозрачными крыльями носа и острым, синим разрезом глаз. Его жалоба тонколицей завсекцией показалась сбивчивой и ничтожной, а тон, которым он выразил свое недовольство, она назвала агрессивным. «Еще я и виноват?!» – крикнул Потапенко тонколицей. «Не кричите! – сказала та ртом, похожим на ее саднящий разрез глаз. – Ваша проблема понятна, мужчина». «Что?!» – не сдержался Потапенко и грохнул кулаком по столешнице прилавка. Потапенке потом не было бы так противно, если бы в этот момент он нашел в себе силы покинуть магазин в твердом безумии, но Потапенко, как невротик-неофит, в лабиринте зала обнаружил кабинет администрации магазина, где сидел за компьютером лысоватый и рассудительный заместитель директора, ровесник Потапенко, с досадной бородавкой у ноздри. Сверстник-заместитель оказался на удивление доброжелательным руководителем, понял оскорбленные чувства Потапенко и попросил того изложить свои, как он выразился, вполне обоснованные претензии на бумаге, чтобы дать ей ход и привлечь к ответственности, вплоть до увольнения, нерадивых работниц, в первую очередь эту завсекцией, которая чересчур много о себе думает. Потапенко настрочил яркое, захлебывающееся заявление, зачем-то подписавшись не просто Потапенкой, а членом Союза журналистов Потапенко.

Через некоторое время победительная эйфория борца за цивилизованные формы торговли улетучилась сама собой. Потапенко вообразил свое недавнее поведение со стороны и почувствовал себя скверно, как будто совершил что-то не только шумное и неприличное, но и противоестественное, и не в секретной обстановке, а публично.

Через полчаса он зашел в другой, похожий хозяйственный магазин здесь же в Купчино, с такими же заведомо нелюбезными продавщицами, которые словно уже были предупреждены,

что он никакой не покупатель люстр, а профессиональный сладострастный дебошир, и, казалось, заняли круговую оборону. Между тем, фрондерство Потапенко обернулось реверсом – каким-то самоуничижением, прибеднением, оппортунизмом. Но его внезапное слюнтяйство не могло ввести в заблуждение осведомленных продавщиц, и они насупились тревожнее, ожидая от ложного клиента некого на этот раз негромкого, ползучего выверта. Потапенко хотел было им объяснить, что ему действительно нужна люстра и он готов, дабы они о нем плохо не думали, купить самую дорогую в их магазине люстру, однако он почувствовал, что его голос пропитался отвратительной сиплой ласковостью, которую невозможно было ни прокашлять, ни проглотить, поэтому он не решился что-либо произносить вслух, а развернулся довольно копотливо и жалко вышел вон.

Соседняя с магазинной дверь вела в дешевую, по экстерьеру, кафешку, с кочковатым бетонным порогом. Внутри в кафе было темно и кисло от дыма, человеческая взрывоопасность надежно регулировалась. Ежевичная хозяйка-осетинка искрометно разбиралась в посетителях, Потапенке улыбнулась по-свойски, с теплой иронией, и указала на лучший свободный столик у вентилятора. Потапенко с психотерапевтическим созерцанием выпил двойной эспрессо с бокалом коньяка. Какой-то, по видимости, профессор-гуманитарий, в пытливом лице которого самодостаточность играючи торжествовала над непризнанностью, может быть, специально для Потапенко, для, в его лице, нового русского класса, повысил голос. «Нехорошо, – вещал профессор казуистически, как с кафедры, – когда в России всё хорошо. Это очень опасно. Когда в России всё хорошо, начинает пахнуть большой кровью, войной, революцией, а теперь, при глобальном миропорядке, – чем-то и пострашней, потехнократичней. Вот он удалился в тень, Путин, и неизвестно, чем всё это кончится».

«Беспорядочно не пить, пить только порядочно, – упросил себе Потапенко, с усмешкой покидая кафе. – И деньги на проституток не тратить, как бы ни хотелось».

Потапенко понимал, что у жены от него есть своя тайна. «Я-то думал, что она сдала как женщина, а я еще нет как мужчина. А она думает, что она достойна куда более разностороннего человека, чем я».

Вернувшись домой, Потапенко уснул ненадолго, до вечера, и словно наблюдал за собой спящим и храпящим. Ему приснился разговор в ночной темноте с одноклассницей Танькой Агафоновой и еще с незнакомой третьей, полной девицей. Эта третья твердила, что мужчинам никогда не нравились костлявые женщины, а нравятся пышки. Танька, на вид чахоточная, с огромными скулами и такими же обглоданными, но широкими бедрами, возражала, поглядывая в его, потапенковский, угол...

То ли еще во сне, то ли в первую секунду яви Потапенко вспомнил свадебную фотографию Таньки. Она вышла замуж за молодого уголовника с детской челкой, который на фотографии обнимал Таньку, как собственник: его, с чернильными перстнями, разлапистая рука давила на Танькин живот, а большой палец нарочно доставал до ее груди. Потапенко помнил, как обидно и больно ему было видеть эту Танькину свадебную фотографию.

Жена из Выборга не звонила. Он в Выборг тоже не поедет кланяться, - решил Потапенко.

Вдруг Потапенко подумал, что было бы забавно теперь вернуться в магазин с этими несчастными люстрами, к той с ранимыми ключицами завсекцией, и попросить у нее прощения за свою спонтанную выходку, рассчитывая, что, простив, она согласится, так сказать, пойти с ним на свидание сегодня же вечером.

Черты лица этой завсекцией были изломаны маняще: и опасный нос, как летучая мышь, и высокие, зигзагообразные брови, и наточенные до синего жара, в два раза длиннее китайских, глаза, и вертикально впавшие щеки, и сухо мелированные волосы, и неприступный, батистовый лоб. Потапенко согласился, что такого графического типа женщины он еще близко не знал. Ему казалось, что она должна быть умна сама по себе, без Толстого.

Позвонила Салтыкова, «декабрь» в эротическом календаре, ставшая случайной, нерегуляр-

ной и непритязательной потапенковской любовницей. Она была такой, какой иногда Потапенко хотел, чтобы женщина была, – безрассудно, по-настоящему податливой.

Салтыкова выпалила, что он обещал на этих выходных с ней встретиться. «Приезжай через час в спорт-бар на Караванную, – среагировал Потапенко. – за «Зенит» поболеем».

Потапенко помнил, что Салтыкова любит «болеть» за компанию, глотать пиво непроизвольно, визжать и трясти сиськами.

Законник Буренин

«С нашим невоспитанным и, главное, незаконопослушным народом невозможно выспаться», – раздражался Александр Михайлович Буренин.

В середине ночи он проснулся от нестерпимого, яростного, разночастотного, с хрипом и свистом, мотоциклетного рева. Даже сквозь стеклопакеты звук был режущим, пилорамным, каким-то допотопным, советским и мог бы быть ностальгическим для уха Александра Михайловича, если бы раздавался в другое время и в другом месте – не в три часа ночи с понедельника на вторник на Васильевском острове Санкт-Петербурга, а где-нибудь под Самарой в трех километрах от Волги сквозистым летним днем, пахнущим зрелыми хлебными полями.

Александру Михайловичу было понятно, что катался на задрипанном спесивом мопеде какой-нибудь нелюдимый, презрительный подросток-неоромантик с руками технаря, любитель персональной свободы среди вымершего архитектурного мегаполиса. Однако, скорее всего, по очереди садились на этот драндулет, ради некого мазохистского стеба, тинейджеры другого толка – ночные анашисты, громогласные, вихлястые, как на расшатанных шарнирах, худосочные неучи из окрестных коммуналок. Денег у них было только на две затяжки, ночные клубы им были не по карману, к друг другу они относились душевно, жизнь все еще представлялась им в будущем.

Мотоциклету вторили, каждая по-своему истошно, растревоженные автомобильные сигнализации, и вместе с другими городскими разрозненными лязгами образовывали такой механизированный кошачий концерт, который, если попадал в нормальную голову, то, даже полностью затихнув, продолжал в ней пребывать, несмотря на крепкую психику и крепкий новый сон обладателя этой нормальной головы.

Машины Александра Михайловича и его жены Ксении стояли в колодце дома за коваными воротами на кодовом замке, поэтому за машины Александр Михайлович не переживал. Его не так уж беспокоил и собственно шум за окнами – в конце концов, он был кратковременным и не смертельным. Александра Михайловича выводил из себя сам факт этого ночного шума – и даже не столько то, что он был проявлением хамства, сколько то, что он был проявлением непорядка.

«Зачем существует закон, запрещающий после одиннадцати часов вечера шуметь, если этот закон нарушается самым вопиющим образом? – мучился внутри мерцающей бессонницы Александр Михайлович. – Если сотрудники милиции, которые, конечно, не глухие тетери, в центре второй российской столицы не могут и не хотят призвать к ответственности мелкого хулигана, то что тогда можно говорить о Веселом поселке, о Гражданке и обо всей остальной России?! Если, господа русские люди, паче чаяния, пусть и не по собственной воле, от безысходности, а не от хорошей жизни, мы все-таки решили стать цивилизованной страной, с учетом географии не совсем европейской, а скорее гиперевропейской, так давайте становиться ею, а не ваньку валять в очередной, исторический, раз. При этом надо учитывать, что только страшная сила нас может преобразить. Сила же в современном мире, с его врожденной лживостью, боязливой памятью, аллергией на явную деспотию, банкротством идеи справедливых войн, утешительными правами человека, с его давкой и сугубо культурологической богобоязненностью, осталась только одна – закон. И если придется выбирать (а выбирать придется), то лучше для нашего времени выбрать законопослушного человека, чем добродетельного, сухаря, чем свинью, сукиного сына, чем грабителя, иуду, чем убийцу.

Александр Михайлович хотел было уже подняться с постели и прокричать в окно этому паршивцу на мопеде всё, что он о нем думает в правовом свете, но осекся: во-первых, боялся разбудить беззаботную соню Ксению, а во-вторых, кричать теперь среди ночи, пусть уже и в достаточной степени бурной, то есть шуметь, то есть мешать покою граждан, означало бы совершать все то же административное нарушение.

Александр Михайлович Буренин по образованию был юрист, а по роду профессиональной деятельности – предприниматель, но не торговец, не коммерсант, а предприниматель-интеллектуал, если хотите, интеллигентный предприниматель, руководитель консалтинговой фирмы, в перечне выполняемых работ которой юридические услуги занимали далеко не последнее место.

Теперь у Александра Михайловича была дополнительная, личная причина, по которой он начал относиться к юриспруденции не только как к своей специализации и, вернее, не только как к своему призванию, но и как к своему мироощущению, и как к общечеловеческому мировоззрению. Причина эта состояла в его гордости (или горделивости) за то, что он был тоже юрист наравне с двумя последними нашими президентами, причем с самым последним Александр Михайлович, кажется, даже сталкивался и на юрфаке ЛГУ, когда там бывал, и в коридорах Смольного.

Александр Михайлович сознавал, без снисходительных намеков извне, что проникаться теперь всеобщим правосознанием, ставить букву закона во главу угла в любом повседневном деле и существовании, не обязательно подразумевало держать нос по ветру, но знаменовало то, что твои собственные давнишние мысли вдруг и наконец-то совпали с магистральным направлением государственной политики. Это всё равно что прочитать какое-нибудь гениальное умозаключение и восхититься им: надо же, и я так всегда думал. Может быть, на каком-то нематериальном, идеологическим уровне Александр Михайлович почувствовал себя родной душой последним президентам и в связи с этим меньше стал любить конкретизированное слово «юрист», а больше стал любить поэтическое слово «законник». Почему-то в первом слове ему в основном мерещилось крючкотворство, а во втором в основном виделась справедливость.

Во вторник рабочее утро Александра Михайловича Буренина по-прежнему было испорчено негодованием на Леденцова, человека, оказавшегося в наше время поразительно ничтожным.

Сидько, зам по общим вопросам Буренина, с пятницы не мог справиться с Леденцовым, не мог его найти и в любом состоянии доставить в офис, и сейчас опять поехал домой к Леденцову.

В прошлый понедельник Леденцов в фирме Буренина приступил к исполнению обязанностей начальника отдела рекламы. Экстенсивно, хватко, обаятельно отработав четыре дня, на пятый в пятницу он пропал; позвонил Буренину и сказал, что у него вчера вечером, в четверг, то ли в метро, то ли в кафе, куда он зашел выпить кофе, вытащили из кармана пиджака тысячу евро, именно ту тысячу, которую он получил накануне в бухгалтерии фирмы наличными на покупку ноутбука для своего отдела. Леденцов совершенно правдивым, горестно севшим голосом заверил Буренина, что на всякий пожарный зайдет в пикет милиции на станции метро и оттуда помчится на работу. Однако ни через час, ни через два, ни до конца дня пятницы Леденцов на работе не появился; мобильный телефон его смолк, а по-домашнему писклявый, терпеливый, недовольный судьбой ребенок сообщал, что папы дома нет и когда он будет, он не знает, а мамы тоже нет. Утром в субботу к Леденцовым, по поручению Буренина, нагрянул Сидько. Через дверь жена Леденцова с привычной усталостью просветила визитера, что ее муж Леденцов опять ушел в запой, что уходит в запой он всегда скоропалительно, без видимых причин и без предупреждения, что дома он никогда не пьет, а пьет по каким-то шалманам, где именно, она никогда, уже лет десять, не интересовалась; и она думает, что домой он теперь приползет, вероятно, не раньше середины следующей недели, когда у него не останется ни копейки денег, сколько бы у него их не было накануне запоя.

Буренина коробило, что Сидько, отставной военный, что как раз и послужило козырем при его трудоустройстве к Буренину на административную должность, теперь рассказывал о безоб-

разном поведении Леденцова не так, как того заслуживал Леденцов и как вроде бы было принято о таких трагикомичных проступках говорить среди добропорядочных граждан, то есть с осуждением, но иронический, с гневом, но веселым, с вполне понятным и не подлежащим пересмотру презрением, а говорил как-то неохотно, скучно и даже растерянно, чуть ли не с сочувствием к Леденцову, а не к нему, к Буренину, как будто этот Леденцов был страдальцем, потерпевшим и вечной жертвой обстоятельств, а не обычным алкашем и, как все алкаши, нарочито безвольным и лукаво безответственным прожигателем жизни. Буренина обижало, что Сидько что-то ему недоговаривал про Леденцова, причем не объективное, не существенное, а эфемерное, странное, которое Буренину все равно, мол, было не интересно и не важно знать.

В эпоху кадрового голода надежда Александра Михайловича Буренина, как работодателя, на отставников, с присущей им, безусловно, дисциплинированностью и житейской смекалистостью, все как-то не оправдывалась в каждом конкретном случае: ему попадались отставники-дилетанты, отставники-иждивенцы, отставники-тугодумы и даже отставники-правдоискатели. В современной России, если и оставался кто, на кого еще мог опираться руководитель, кому мог доверять, пусть и не безоглядно, так это были тетки, так сказать, ломовые лошади, в хорошем понимании этого слова, теперешнего, в первую очередь не шибко крупного бизнеса. Вот уж кто действительно мог быть стрессоустойчивым и непритязательным! Молодые Буренину попадались все чаще не понимающими, чего от них хотят, сорокалетние представители мужского пола – обидчивыми, пятидесятилетние дяденьки в его деле не разбирались вовсе и годились на что-либо только как хозяйственники.

Буренин взял на работу Леденцова не с улицы, но самонадеянно. Он знал о существовании Леденцова последние десять лет, но знал только тогда, когда ему о нем нужно было знать. Однако, как оказалось, знал настолько поверхностно, что не догадывался даже о простейшем его человеческом пороке, и не удосужился, вопреки своему правилу, навести свежие справки о Леденцове. Буренин познакомился с Леденцовым, когда тот возглавлял некое рекламное агентство, аффилированное с одним прославленным, а теперь уже канувшим в Лету, городским банком. В черный август 98-го года Леденцов согласился принять от Буренина заказ на печатную продукцию, которая Буренину должна была понадобиться лишь через полгода, но за которую он готов был внести стопроцентную предоплату по действующему валютному курсу немедленно, таким образом вкладывая свои свободные средства подальше от дефолта. Леденцов тогда справился с заказом, правда, не в оговоренный срок, не через полгода, а через год, но Буренин не был в обиде, потому что был в выигрыше и понимал, что Леденцову пришлось выкручиваться с его, буренинским, заказом.

Леденцов, устраиваясь к Буренину, объяснил тому, что после внезапной кончины банка рекламное агентство Леденцова стало дышать на ладан: банк был основным его клиентом, и Леденцов не особенно заботился о других, сторонних, заказчиках, которых, без банка, при немыслимой конкуренции, привлечь оказалось невозможно в том объеме, который позволял бы предприятию Леденцова находиться на плаву.

Буренин об этой истории с банком, конечно, был наслышан и не видел причин сомневаться в правдивости Леденцова. Притом Буренину было ясно, даже без внешних осведомителей, что Леденцов разорился не столько из-за пресловутого банка, сколько из-за себя. Теперь, конечно, Буренину доложили из разных мест, что Леденцов был гол как сокол и что о его спорадических попойках, поначалу широкомасштабных, в городе было известно многим общим знакомым Леденцова и Буренина.

Сам Буренин был непьющим (и в этом плане был инопланетянином) и поэтому не разбирался в пьяницах, не знал всей их табели о рангах, всей их вертикали, не мог распознать в трезвеннике временно завязавшего алкоголика. Как ни странно, когда Леденцов пропал с деньгами, Буренин первым делом предположил, что тот проигрался на автоматах. Буренина даже посетила мысль, а не наркоман ли Леденцов, конечно, не затрапезный какой-нибудь доходяга-героинщик, а эдакий, что называется, продвинутый, респектабельный кокаинист; Буренин знал, что этого брата хвата-

ет в сливках общества. Но вот то, что Леденцов банальный запойный пьяница, конченый человек, стало для Александра Михайловича Буренина сюрпризом.

Уж очень хорошо для затихарившегося алкаша, можно даже теперь подумать, неестественно, невыносимо хорошо, молодцевато выглядел Леденцов в эти свои четыре рабочих дня. Особенно хорошими были его лицо и речь. Лицо было осунувшимся, выспавшимся, внимательным и деловитым; речь была литературной, чуть ли не письменной, с уместными, свежими шутками. Буренина подкупало, что Леденцов понимал задачи своего подразделения точно так же, как их понимал и Буренин, иногда в тех же самых, что и Буренин, формулировках. Надушен Леденцов был недешевым парфюмом, и одежда на нем в каждый из этих четырех дней была разная, недешевая и не казалась остатками прежней роскоши.

Буренин, разумеется, слышал, что пьющие люди бывают удивительными притворщиками, но пьяницу, мол, как бы тот ни камуфлировался, все равно видно невооруженным глазом, – видна его грустная лихорадочность, видны его специфически поврежденные эпителии; для трезвых пьяниц, мол, характерно особое состояние ожидания – даже не гипотетической выпивки, а не известно какой по восхитительности метаморфозы.

Ничего подобного Леденцов четыре дня не испускал, никаких подозрительных импульсов; не вязался он с алкоголиком. Поэтому Буренин все еще не верил безоговорочно докладам Сидько и требовал предъявить ему визуально Леденцова, каким бы тот ни был. Кроме того, Буренину представлялось необходимым исправить небольшую формальную оплошность: деньги Леденцову были выданы без надлежащего бухгалтерского оформления, на доверии; важно было, пусть задним числом, получить от Леденцова подпись в расходном кассовом ордере и соответствующее рукотворное объяснение для возврата в дальнейшем утраченной подотчетной суммы.

Вдруг Буренину казалось, что загул Леденцова – лишь розыгрыш, осуществленный им так бесхитростно и вместе с тем изобретательно, чтобы присвоить эту несчастную тысячу евро. Однако деньги эти для столь омерзительной и резонансной операции были, действительно, такими маленькими, тогда как, если уж на то пошло, можно было получить куда большую сумму при менее опасной и более пристойной афере, что Буренину приходилось считаться с главной версией случившегося – деньги Леденцов попросту пропил. Поистине, зачем распущенному и пропащему человеку нужно дожидаться каких-то других, эфемерных, финансов, когда конкретные купюры уже лежали в его кармане и зазывно жгли ляжку!

Сидько разглагольствовал, что на своем веку ему ни раз приходилось иметь дело с такими, как Леденцов, запойными товарищами, да и жене Леденцова не было смысла лгать. «То есть не прикарманили они мои деньги всей своей семейкой?» – злился Буренин на Сидько. «Не думаю, Александр Михайлович. Да и нет там никакой ни семьи, ни семейки, – почему-то оправдывался Сидько. – И в счет погашения долга брать у них будет нечего – старый холодильник, допотопный телевизор».

После полудня Сидько привез-таки Леденцова в офис.

Буренин издали окинул взглядом Леденцова и обрадовался, – обрадовался невиданному, долгожданному, совершенно нормальному алкашескому облику Леденцова. В преображенном Леденцове с трудом, может быть, только в росте и в характерных, продолговатых кистях рук, уже припухлых и в ссадинах, угадывался прежний, лощеный Леденцов. У нового, побитого и както уж чересчур быстро обросшего, Леденцова лицо, с заплывшим, бомжеским глазом и грубым, мятым ртом, было до отказа набито страхом и никому не нужной льстивой и затравленной виноватостью.

Сидько похмелил Леденцова, и тот мог теперь непринужденно и без оглядки подписывать квитки. Заметив Буренина, Леденцов почтительно поднялся и, не садясь, стал лепетать незнакомым, изможденным баском, что обязательно вернет деньги в течение месяца, и даже больше вернет, так сказать, с процентами за нанесение морального ущерба, что искупит вину перед хорошим

человеком, потому что хороших людей и так на свете мало, что реабилитируется, потому что ему ничего другого не остается в этой жизни, как реабилитироваться.

Пахло в кабинете Сидько от Леденцова дурно – тошнотворно и разнузданно. Буренин, не дослушав знобкого речитатива Леденцова, вышел вон, чтобы Леденцов вдруг не подумал, что рассмешил его, Буренина, и превратил в понятливого и понимающего.

Буренин начал успокаиваться: «Теперь все встало на свои места. Теперь другое дело, вижу – алкаш, опустившийся тип».

После Леденцова и после обеда Александр Михайлович Буренин поехал к Михаилу Александровичу Буренину, к отцу. Буренин-отец, бывший прокурор, преподавал в одном из частных вузов Питера. Отец настоял на том, чтобы сын, не теряя времени, защитил бы кандидатскую диссертацию, пока это еще можно сделать в облегченном режиме; дальше будет сложнее, убеждал отец, титулы опять начали входить в джентльменский набор, и вскоре процедура получения ученой степени может стать не столь доступной, а, как и в советскую пору, делом канительным и не только зависящим от денег.

Отец представил сыну его научного руководителя, известного в городе адвоката, чья телевизионная пылкость, по правде сказать, претила Буренину младшему. Однако сегодня, вне телевизора, адвокат выглядел сдавшим и нешумным, если не считать его крикливого, правда, крикливого типично по-адвокатски, двубортного, в широкую бежевую полоску, коричневого костюма и острых бронзовых туфель. В продолжение всего разговора, пока Буренины пили кофе, адвокат ел фруктовый салат. Профессор-адвокат изрек, что никаких проблем у Александра Михайловича с защитой диссертации не возникнет, что он, адвокат, все возьмет на себя, включая необходимые публикации, и никакой благодарности ему, адвокату, за это не надо, так как ему доставляет удовольствие делать доброе дело для Михаила Александровича, перед которым он по-прежнему остается в старом, неоплатном долгу. Буренин младший подумал, что, если бы жеманность адвоката не была вполне адвокатской, ее можно было бы принять за жеманность непристойную и какую-то жалкую.

Когда Буренины остались одни, без адвоката, отец заметил сыну, что недоволен им. «Папа, прости, – понял обиду отца Александр Михайлович. – Вчера замотался, не успел позвонить. Сейчас же наберу Анжелу Сергеевну и поздравлю ее с днем рождения».

Анжела Сергеевна была молодая, моложе Буренина младшего, недавняя пассия отца. Отец вытерпел после кончины жены, матери Александра Михайловича, год и до последнего времени был приятен сыну практически всем, кроме этой скоропалительной и, на взгляд Александра Михайловича, не то чтобы предосудительной, но малопочтенной для личности и внешности отца интрижки с этой Анжелой. Почему-то глаза у нее были всегда накрашены не для того, чтобы их расширять, а для того, чтобы их сужать. Буренин младший, ни подростком, ни взрослым, никогда не решался воображать, как занимаются сексом его родители, а тут картина интимной близости отца и этой Анжелы порой кружила голову сына, омерзительная потому, что рядом с голой Анжелой находился голый, смехотворный отец.

Кажется, отец заметил торопливую брезгливость сына, но решил не обижаться, а, напротив, улыбнуться сыну как маленькому и все-таки по-новому, с невольной виной, требующей сыновьей мудрости. Сыну показалось, что отец его убеждал близкими, любящими глазами потерпеть, что отношения у него с этой Анжелой надолго не затянутся, что он еще мужчина и природа требует своего даже от благоразумного и благообразного пожилого человека. Сын конфузливо поцеловал хорошего отца, их одинаковые, буренинские, морщинки вокруг глаз встретились. «Не в моем, не в нашем она вкусе, эта Анжела», – говорили глаза Буренина младшего глазам Буренина старшего. Александру Михайловичу лестно было думать, что у отца в юридическом сообществе Питера сложилась репутация честного и своего в доску следока.

...Александр Михайлович ехал уже домой, когда позвонила его секретарша и сообщила, что Сидько написал заявление об уходе. «Надеюсь, не из-за Леденцова?» – хмыкнул Буренин.

Дома за ужином у жены Ксении, от которой Буренин не скрывал служебных перипетий, с языка сорвалось, что щадить таких вороватых пьянчуг, как Леденцов, нельзя, что налицо уголовное преступление, факт хищения казенных денег, и что надо пришить «твоему Леденцову» статью в назидание другим Леденцовым. «Но ты его простишь, я тебя знаю, – недоумевала Ксения. – Повелся, наверно, на уговоры Сидько».

«Сидько у меня больше не работает, – был недоволен никчемным подстрекательством жены Александр Михайлович. – Это первое. Второе: ты культурная женщина, а позволяешь себе словечки из лексикона какой-нибудь продавщицы. Что это за «повелся»?»

«Ты прекрасно знаешь смысл этого слова».

«Смысл этого слова я, действительно, знаю, но слышать его мне противно, по крайней мере от тебя».

Ксения вспомнила, что когда у мужа нервы были на пределе, он становился особенно чувствительным к речевым оборотам. Вчера он изумился ее умению произносить без боли в голосе для него нестерпимое выражение «Ты меня опять динамишь». Он выговорил ей, что она знает, что ему не нравится, когда образованные взрослые люди изъясняются как тинейджеры. Если вы, мол, совсем не можете обойтись без того, чтобы ни произнести «позитивный» или «гламурненько», говорите хотя бы «так сказать, позитивный» и «так сказать, гламурненько».

«Съезди на охоту, отдохни от всех этих своих Леденцовых и Сидько», – не перечила Ксения мужу на абстрактные темы, чувствуя, что тому и так, видимо, нелегко с его кризисом среднего возраста.

«На охоту? – успокаивался Буренин. – Мне там в каждой утке будет мерещиться этот Леденцов».

«Тогда пойдем баинькать, дорогой», – произнесла жена с его любимой, концентрированной полуулыбкой.

...Буренин думал, что жена в последние годы только хорошеет, что невидимая глазу некоторая полнота ее только ей к лицу, что дыхание у нее по-прежнему ненасытное и обрывистое, что интимный смех у нее стал глубже и умнее, что она, кажется, начинает деликатничать с ним в постели и перехваливать его мягковатую полноту; и вообще она считает, что он в жизни (или как она научилась говорить – «по жизни») – чересчур мягковат, хоть иногда и покрикивает на нее, и на сына, и на своих сотрудников.

Ксения любила заводить разговор о том, чтобы он взял ее к себе на работу, что она как-никак тоже когда-то получила диплом юриста, что сын подрос, пойдет в десятый класс, и контролировать его с утра до вечера, чему она посвятила предыдущие пятнадцать лет своей счастливой жизни, нет необходимости и унижает взрослеющего ребенка. Александр Михайлович отнекивался, понимая, что работник она будет никудышный, обещал обсудить этот вопрос через месяц, на что Ксения и отпускала ненавистное ему, молодежное «Ты меня опять динамишь».

Когда Александр Михайлович рассказал Ксении, как обиделась на него папина Анжела, которую он не поздравил с днем рождения, жена шутливо предупредила мужа, что следующей жертвой Анжелы может быть уже не папа, а он – такая уж у этой шлюшки порода.

Александр Михайлович думал, что он, вероятно, недостаточно страстный, вернее, любострастный мужчина, если за полтора десятка лет, проведенных в браке с Ксенией, не только ни разу не изменил ей, но даже ни разу не помыслил о другой женщине. Ксения об этом, конечно, знает, но так ли ей уж это нравилось и нравится теперь? Возможно, только его безупречная верность и останавливает Ксению от измены, а ничто другое препятствием не являлось и не является?

...Засыпал Александр Михайлович во вторник опять с мыслью о Леденцове.

«Какие наши пропащие русские люди разные! Один, – вспомнил Александр Михайлович сегодняшнюю новостную строчку в интернете, – вешается от того, что не может вернуть кредит банку, другой – Леденцов. Поверить теперь Леденцову, значит поступить абсурдно. Не поверить, значит надо преследовать его по закону, а не миндальничать. Он все равно деньги не вернет, он

пропащий. Так что же мне теперь взять и утереться? Нельзя, прежде всего из воспитательных соображений нельзя. Ксения права».

Вдруг Буренин опять представил не Ксению, а папину Анжелу в обнимку с дряблым, но игривым телом отца. Лицо этой Анжелы не выглядело бы кукольным, если бы она не делала его кукольным – с высверленными ямочками, с нарочито жесткими, как леска, блондинистыми волосами.

...Среди ночи Буренин проснулся от мучительного, рвотного лая. «Что с нее взять, с бездомной псины? – смирялся Буренин. – Стеклопакеты надо менять. Вот что. Эти пропускают звук».

Ольга ДЕРНОВА

* * *

зима никакая не смерть а отъезд
олега к хазарам и грекам
слетает на город охапка невест
ногтями скребя по сусекам
фонарь
перекрёсток
сияющий круг
качается в облаке хлёстком
и кто отъезжает олег ли мальбрук
до лампочки снежным присоскам
в такую-то пору потеря себя
не слишком большая оплошность
пусть вечер летит топоча и хрипя
как серая в яблоках лошадь
вдоль мирных бульваров и тусклых аптек
катая пустую телегу
про то как сбирается вещий олег
куда-то
по первому снегу

* * *

Снег бывает разный: то мельче он, то крупней,
то пылит мукой, то липнет серьгами длинными.
Но всегда похож на танец промеж теней,
на балет с холодными балеринами.

Вот на сцене суматоха и авангард:
балерины для Метелицы стелют простыни.
А потом в оркестровой яме стихает гвалт,
пляшут примы; вспоминаются девяностые.

Но гораздо чаще вижу я, как в кино:
снегопад и мрак; к заутрене подморозило.
Пётр Ильич встаёт, выглядывает в окно
и взволнованно восклицает:
эврика, вот оно!
вот оно, лебединое моё озеро...

Ольга ДЕРНОВА родилась в 1979 году в Москве. Закончила Московский государственный педагогический университет. Работает в справочно-библиографическом отделе Исторической библиотеки. Публиковалась в журнале «Российский Колокол», финалист Илья-премии–2008.

* * *

Чем дальше мы движемся в зиму,
тем звонче земли пустота.
А сумерки тянут резину
и щиплют за яйца кота.
Отпала потребность в румянах,
подошвы рельефнее след.
И так доверительно мягок
простой электрический свет.
Деревья встают на ходули
и мрак озирают окрест.
И мнится: вот-вот вестибюли
сорвутся с насиженных мест.
Как странный автобус в разрезе,
когда-то застрявший в железе,
застывший на тормозах, –
что нам примелькался до рези,
до боли в усталых глазах.

метель над родильным домом

Запах отглаженного белья.
В небе зима развернула свиток.
Ангел метельного патруля
белые зёрна сдувает с веток.

Душно, как между оконных рам.
Ростом с трёхмесячного младенца,
белые карлики по углам
ныкают чистые полотенца.

Выставишь голову за стекло –
альвы пресветлые, ну и тюря!
Ангел выпрастывает крыло
из паутинной ловушки тюля.

И утешается, загрустив,
видом сраженья у перекладин:
зёрна арабики супротив
крупных, лилейно-молочных градин.

Близится утро, пуская вскачь
кашу и масло по пищеводу.
И тишина вытесняет плач,
как телеса Архимеда – воду.

фонарь

Прекрасен вид ночного фонаря.
Неяркий ореол поводыря
ему идёт, но лик его не хуже,
когда лежит, покачиваясь, в луже.

Простую воду превращая в иод,
он изгибает шею, будто пьёт,
похож на гумилёвского жирафа.
И мокрой мордой тянется к окну,

и тени оттесняет в глубину
большого шкафа.

* * *

Когда сирени мрак полуподвальный
колышется в окне,
сим электрический и хам трамвайный
являются ко мне.
Они ломают ножки табурета,
ложатся на кровать.
И заставляют кукольное лето
плясать и напевать.
Из-за того, что город загазован,
не влагой и цветами, не озоном,
а только гарью пахнет наша стрит.

Но хам пускает трели по газонам.
А сим – тихонечко искрит.

a fish

Мимо озёр, отпирающихся, как сейфы,
мимо ствола, ручья, рукава, ущелья,
мёртвая рыба плывёт на север
против теченья.
Солнечный свет слабее течёт по шельфам,
капает на рыбу, как из пипетки.
И кишки за ней волочатся шлейфом,
свитые в петли.
Станем в конце как были и даже лучше,
если получим, господи, крепкий мёд твой.
Рыба плывёт. Вода у неё в желудке
плещется, живая – по верху мёртвой.

орфей на войне

Соловьи перемёрзли. Стрижи не хотят лететь.
Забастовка. Арктический воздух не держит крылья.
Отступление в бункер, полный глухих тетерь,
заставляет Орфея корчиться от бессилья.

Поддаваясь пессимизму ночных сирен,
он лежит, в уме утраты перебирая.
Эвридика в вагоне с беженцами. Сирень
отдаёт пластмассой. Жадная, как пиранья,

ночь запихивает страницы к себе в нутро,
обжимает пальцем, бойко стучит кареткой.
И на сердце звуки падают тяжело.
Как земля – на грудную клетку.

* * *

Мне нравится, что сумерки за шторами
дают намёк на уменьшенье дня.
И те предметы нравятся, которые
переживут когда-нибудь меня.

Я воздаю им маленькие почести
за то, что говорят они «не трусь»,
едва лишь я, во всей своей непрочности,
на их родную прочность обопрусь.

* * *

Птица видит по сторонам. Рыба видит по сторонам.
А машина глядит в упор, причиняя неловкость нам.
Загони её в глухомань, фары жёлтые отключи.
Убери из неё ключи. И подальше закинь ключи.
Теснота, и вокруг темно. Не расспрашивай, почему.
Это рощи на водопой ходят к домику моему.
Чтобы сеять добро и зло, и сумятицу, и абсурд,
оплетают они стекло и неволю мою сосут.
Но не рощи тому виной, а строители. И потом,
все мы – будущий перегной. И не прочь поболтать о том.

трапеция

Дождь, начинающий капать на улице,
в нашу квартиру забрался инкогнито.
И почему-то от жареной курицы
запах жасмина доносится в комнаты.
Надо, наверное, быть аккуратнее.
Надо точнее отмеривать специи.
Сыро. Предметы, обычно квадратные,
радостно приняли форму трапеции.
Катится свежесть по улицам лаковым.
Чуткое ухо старается выделить
ласковый шёпот из тысячи раковин,
с моря, лежащего где-то за тридевять.
Туча ползёт, как большая трапеция,
дождь моросит. Но не стоит печалиться.
Всё пролетает – победы и бедствия.
Жизнь не кончается.

Салават КАДЫРОВ

* * *

Это центральное отопление лета;
эти кучевые скитальцы,
снующие по микрорайону неба,
смурные, как сантехники;
этот кто-то
(не будем уточнять кто),
кому жалуемся и ругаем кого,
всегда невидимый и скользкий,
как начальник ЖЭКа,
наверно и есть небесная контора,
где делают погоду на земле,
а моя сварливая соседка,
вечно воющая и ноющая
и недовольно каркающая,
как гидра, мент, центр того.

* * *

Написал стихотворение
и заплакал,
прочитал стихотворение
и понял,
чтоб любить поэзию
надо чаще плакать.

* * *

Ветер дует с сурдопереводом,
Дотошно пытаясь объяснить,
Что не желает жить спокойно,
Лежать на золоченой соломе,
Когда происходит время
Огня, воды, земли и неба
И заставляет себя переводить
Травой, деревьями, проводами,

Салават КАДЫРОВ родился в 1951 году в д. Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Транзит-Урал», «Север», «Крещатик», «Антологии уральских поэтических школ», альманахе «Южный Урал», на сайте «Зона несоответствия; «Библиотека современной уральской литературы», в коллективных сборниках. Автор книги стихов «В пятьдесят пять», призер различных поэтических конкурсов. Живет в г. Верхний Уфалей. Участник поэтического семинара «Северная зона».

Пустой «полторашкой» на дороге
И мной, размахивающего руками,
Пытаясь объяснить его порыв.

* * *

Ладони, похожие на лопаты,
Приученные откапывать,
Прикапывать, подкапывать
Остро чувствующие боль,
Я всегда ношу с собой
В магазины, больницу,
На литературные семинары,
Чтоб покопаться в огромной
И глубокой яме стихосложения,
А вечером тихо укладываю под голову,
Чтоб чувствовать дыханием,
Как больно они устали.

* * *

Когда меня ругают
я люблю свою страну.
Я Родину свою люблю,
когда меня не любят,
потому что хочется любить
огромное и великое,
чтоб не считали
ничтожеством.

Евгений НОВИЦКИЙ

МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER*

От автора:

Как я и предполагал, роман «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» еще до публикации начал восприниматься неоднозначно. Нижеследующее небольшое предисловие призвано несколько исправить это положение. Редакции показались убедительными те доводы, коими я воспользовался в переписке с последней. Хочется надеяться, убедят они и читателей, и те отнесутся к автору более снисходительно, чем он, может быть, того заслуживает.

Роман «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» строится на намеренном смешении стилей, высокого и низкого, он состоит из контрастов и противоречий. Слог его довольно напыщен, сюжет достаточно безумен, что укладывается в такие придуманные автором определения, как «современное барокко» и «параноидальный поп-авангард». Я ведь осмеливаюсь считать себя не рядовым прозаиком, а авангардистом, т. е. заведомо дерзаю примкнуть к тем людям и явлениям, которые влияют на развитие литературы. Мой роман – это такой перформанс; я отчетливо рассчитывал на то, что его порой неприятно будет читать. У Юрия Вяземского есть «роман-искушение», у меня же – «роман-извращение» (почему бы не быть и такому роману?) Он состоит из рывков, избыточности, безвкусицы, вульгарности и глупости. Но в целом, смею надеяться, – текст продуман, монолитен и со смыслом.

Я, конечно, всегда не уверен в своих текстах, прежде всего в том смысле, смогу ли я вовлечь читателя в свою игру, или это никому неинтересно. Однако в одном я нисколько не сомневаюсь: «Лучшая книга о любви» – ученический опыт, «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» – зрелое произведение (по крайней мере, в сравнении). Хотя оба этих сочинения построены на изрядной доли пародийности, в остальном они противостоят друг другу, как мне кажется, решительно во всем.

«Лучшая книга о любви» – тонко-издевательский слащавый лубок, пародия на женскую, детскую и молодежную прозу. Поэтому и такое название – сусальней не придумаешь (эту фразу я специально адресую Андрею Немзеру). «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» же – пародия на творчество как таковое, на творцов и псевдотворцов, на художников от слова «художественный» и художников от слова «худо».

«Лучшая книга о любви» – роман мелодраматичный и женский; «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» – роман готический и мужской. «Лучшая книга о любви» трогательна и наивна; в «МЕФИСТОФЕЛЕ FOREVER» трогательности даже не ищите, а наивность переходит в нарочитую тупость.

«Лучшая книга о любви» – это все-таки лучшая книга о любви. «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» – лучшая книга о ненависти (или худшая, если уж развивать антонимичность до конца).

Засим умолкаю и предоставляю данную трибуну своему герою – гораздо более словоохотливому, нежели я сам.

** Журнальный вариант.*

Евгений НОВИЦКИЙ родился в 1984 году в городе Ангарске Иркутской области. В журнале «Волга – XXI век» (2007, №7-8) был опубликован роман «Лучшая книга о любви», вошедший затем в лонг-лист премии Букера.

– Nun gut, wer bist du denn?
– Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Gute will und stets das Böse schafft

A syllogism: *other men die; but I*
Am not another; therefore I'll not die

– Я – Мефистофель!
– Здравствуй, Мефистофель
не из Гете

Мар-га-ри-та!
Ты же помнишь, как все это было!
тем более не из Гете

La volonte du diable
прикольная французская фразочка

– Я – нигромант.
– Негров любишь?

– Эта штука сильнее, чем «Девушка и Смерть» Горького. Смерть побеждает любовь!
из разговора автора с читателем

– Первую часть «Фауста» пацаны одобряют, – чмокал губами Боря. – Вторую не осиливают
из одного дурацкого современного романа

Фильмы крутили без титров, а переводил с ходу министр кинематографии СССР Иван Григорьевич Большаков. Он нам со всех языков переводил. Мы, особенно Берия, часто подшучивали над его переводами. Он ведь совершенно не знал иностранных языков. Его сотрудники рассказывали ему содержание фильмов, он старался получше запомнить и потом «переводил». В отдельных эпизодах он говорил иной раз вообще невпопад либо просто произносил: «Вон он идет» и т. п. А Берия тут же начинал помогать: «Вот, смотри, побежал, побежал», и т. д.
Никита Хрущев. «Время. Люди. Власть»

Я – мизантроп.

Собственно, именно так должна была называться эта книга. «Я – мизантроп».

В начале века (не говоря уже о сегодняшнем дне) чрезвычайно распространены были натужно-вымученные бестселлеры с заглавиями по этой модели: «Я – та-та-та» («Я – порнозвезда», «Я – педофилка со стажем», «Я – элитный голубой шлюх»).

Мое изысканное «Я – мизантроп», отдающее ощутимым привкусом Лукиана и Мольера, и тогда, и сегодня выстрелило бы обаятельнейшим эстетским контрастом.

Однако эта книга не обо мне. Мою биографию прекрасно знает каждый школьник (и даже каждый пенсионер), и снисходить до звездно-болезненного любования собственной жизнью мне совершенно не хочется.

Этот аппетитный труд (он еще дымится, чревоугодничающий читатель) служит старой, как Новейшее время, цели – самозащите уважаемого автора от злобных завистников (не от зоилов, мой якобы сообразительный читатель, – критики, как я решил для себя, созданы лишь для того, чтобы забавлять мой и без того насмешливый ум; нет, мой псевдодруг, самозащите от стариздатовско-бульварных писак, чье глумление особенно отвратительно, ибо рассчитано на так называемую оппозиционную элиту).

Пасквиль, о коем идет речь, я разберу чуть позже (чуть ниже), а сейчас мне пришло в голову осветить некоторые стороны моей ранней жизни, когда светозарный лик мой еще не озарял проспекты и площади городов планеты (куда до меня таким выдуманным персонажам Старой Культуры, как Большой Брат или Иосиф Сталин!).

Тебе, охочий до интимных подробностей из жизни гениев обыватель-читатель, несомненно, интересно будет узнать, как родилась самая популярная в мире музыкальная группа, заставившая весь этот голубой шарик экстатически внимать песням на русском нашем языке (остальные языки убоги и внимания не заслуживают; доказательством чему, tup'оватый читатель, служит то, что я (гений, гений, гениальный гений) ни одного языка, кроме русского, не знаю (не знал и узнавать не собираюсь)).

Итак, еще в благословенные времена Старой Культуры я закончил филфак (но, вопреки судьбам сокурсников, после Уничтожения Старой Культуры с голоду не подох; помни, бездарный читатель, что ты читаешь записки гения).

Филфак (feel fuck) – факультет словоблудия и просто блуда; традиционный в Старокультурное время факультет невест (но в основном, шлюх); факультет, делающий из тебя неприспособленного к этой glup'ой жизни умника (исключения – удел гения).

Учился я с бонвиванской ленцой, незатейливо, второпях, кое-как, индифферентно, зевая, скучая, с тоски умирая и блестяще. Походя поражался потным усилиям (потные девицы в очках – брр!) однокашниц и безмерному kretin'ству бараномозглых однокашников. К экзаменам относились серьезней, чем к похоронам и свадьбам, попугайски зубрили, собезьянничивали манеры изложения у светил литературоведения, роботизированно повторяли тошнотворные клише а-ля галчонок Хватайка.

Для меня же, начинающего светила литературоведения, всякий экзамен был прохладной утренней прогулкой в надоевшем родном лесу, развлечением усталого денди, снисходительно посматривающего на копошащихся в словесной трухе муравьишек.

С редким профессором я говорил на равных; чаще всего профессор краснел и откашливался, видя, что перед ним редкостный юный талант; причем ни у одного не хватило ума намекнуть мне, как бездумный виршеплет Жуковский Пушкину (дескать, превзошел, чего уж там), или благословить молодое дарование, знаючи, что скоро – в гроб и будет поздно (как благословил того же уныло способного негритенка Пушкина жирный бездарь Державин).

Экзамен сродни половому акту, и поначалу я, как всякий доминант, ощущал некоторые возбуждающие токи, когда обессиленная жертва-преподаватель стушевывалась перед лицом дарования и нечутким почерком выписывала округлую отметку «отлично». Мне нравилось оттягивать крайнюю плоть зачетной книжки и упиваться оргазмом пятерочки.

Но молниеносное пресыщение – болезнь всякого пупа Земли. Трахнув с десяток самых непротивных софакультетниц и уничтожив блеском своего филологического сияния пару десятков профессоров, я уже ко второму курсу томился своим всемогуществом и не слишком терпеливо ждал более или менее достойного поприща, где я смогу реализовать хотя бы одну сотую одного процента своих талантов.

По окончании грустного прозябания на ничтожном факультете я, к собственному удивлению, не отряхнулся от языковой шелухи, а совсем уж нырнул в поганое болото словесности – стал без-

мерно почитаемым сотрудником НИИ БАЦЦА (Научно-Исследовательский Институт Большого Автономного изучения Центонного Цитирования у Авторитетных Авторов).

С собой я благоразумно прихватил трех прелестниц-однокурсниц, по недоразумению получивших точно такой же пунцовый диплом, как у меня (где же ты, та недосягаемая для простых смертных планка специально для гениев?)

Впрочем, прелестниц я отобрал прежде всего в соответствии с тремя критериями: а) фигуристость, б) чистоплотность, в) обожание меня.

На сравнительно милых девицах сих желаю остановиться поподробнее.

Оленька

Оленька, Оленька, нежный прыгучий олененок. Томная до того, что в горячей ванне она, казалось, тает как снеговик.

И – действительно прыгучая. Ох, она могла скакать на мне часами, являя этим достойную конгениальность моей гениальной мужской силе.

Хотя она уверяла, что не фанатка секса. А иногда и вовсе – капризно, резко: «Трахаться не люблю / не хочу / надоело. Пошли в кино».

Особенно вот это вот насквозь развратно-лживое «не люблю».

– Вообще не любишь?

– Да. Категорически. Это грязно.

Но я тут же увесисто обвивался вокруг нее сексуальнейшим плющом, массируя массивным языком тоненькую плоть ее тепличной выйки, и она обхватывала меня руками, повисала на мне, с неслыханной прелестью визгливо ахала и, будто в забытьи, толкала меня на предусмотрительно незастеленную постель, являющуюся для нее якобы пропастью порока и скважиной, ведущей в ад.

От ее невообразимо обильного слюноотделения было противно после оргазма, но по-настоящему сладко – до. Когда я ее целовал, липкими были не только наши губы и подбородки, но и носы, уши, шеи, а иногда капало и на плечи. Скользя своим лопатным языком, этой непросыхающей губкой, по моему мускулистому туловищу, она превращала меня в инопланетное чудовище из старокультурных фильмов, покрытое прозрачной слизью и наделенное бешеной энергией. Но до паха я ее не допускал, хотя она к нему неистово стремилась. Мне приходилось буквально притягивать ее за уши кверху, чтобы она не осквернила мой жезл своей бурлящей ротовой полостью (которую, между прочим, я еще ведь и целу́ю).

Оральный секс мне противен. В нем есть что-то излишне противоестественное, по-импотентски суррогатное, бесталанно сюрреалистическое. Тем не менее Оленька так и норовила ущипнуть меня губками за мошонку или слизнуть первую каплю страсти с набалдашника. Она, видно, хотела застать меня врасплох, а мне бы потом пришлось производить ответную устную операцию над ее изумительной (но не для того предназначенной; и небритой, ко всему) сладострастной щелью.

Неуемное и неуместное желание куннилингуса преследовало Оленьку постоянно и приобретало порой размеры несусветной мании. Она буквально умоляла на коленях, чтобы мы поиграли с ней в так называемый «водопад». Я, дескать, должен был поставить ее на голову к стене, а затем приподнять за ноги и ощутить наконец всю соль лесбиянской позы 69. Почему Оленька называла эту дурость «водопадом», я так и не постиг: либо не слишком внимательно штудировала «Камасутру» либо просто совершенно по-дзенски мыслила.

Однако я разумел, что все это вряд ли исключительно с фантазийного потолка взято, и приходил в неистовство и злобно рычал, представляя себе, какой ублюдочный извращенец приохотил в свое время мою милашку к подобным изуверским изыскам. Невольно утоляя жажду с помощью ее любвеобильного и слюноизобильного ротика, я всякий раз с негодованием думал о том, что мой утонченный язык (поистине самая по-всамделишному интимная часть человеческого тела)

пребывает сейчас в тех областях, где некогда находился грязный нижний хобот какого-то urod'а, и бесстыдная Оленька всасывала его (подозреваю) со смаком гурманки от перверсий.

Это послужило первым решительным шагом к нашему разрыву.

Да, и она еще осмеливалась не скрывать своего ханжества, когда на нее находили антипохотливые настроения. Эти монашеские, стародевические проповеди о грязности и циничности порочного незачатия смотрелись особенно неслыханно в устах, готовых каждую минуту состряпать минет.

Се – второй пункт. Не люблю лицемерия.

Ну и для полноты картины – дурная связь Оленьки с внешним миром (таковая связь порочнее всякой интимной, публичнее, glup'ее и ненужнее). Воплощение этой связи – папочка. Грязный, пропедерастичный старикан с надраенной лысиной и пивной гипертрофией пуза.

Помню, как он премерзко морщился, меня завидев, как похотливо ощупывал мои увесистые бицепсы-трицепсы, с язвительно-огорчительной миной бормоча при этом: «Жалко, что ты не служил, сынок, крайне жалко», а затем бурчал себе под нос что-то совсем уж унижающее вроде: «Хотя какой солдат из филолога!..» (а Роберт Джордан, безынтеллектный папашка?).

Старый спившийся вояка, urod'ливый алкаш, кичащийся своими армейскими подвигами (пособничество дедовщине, вымуштровывание мальчиков с гомосексуальным BDSM-сластолюбием де Сада). Глаза б мои его не видели, но Оленька души в нем не чаяла (комплекс Электры? ласка педофильски настроенного блудника, неверно понятая в детстве как знак безмерной любви?).

Лично я считаю, что любовь к родителям – чувство настолько же лживое, насколько неестественное. Увольте меня от этих геронтофильски-некрофильских настроений! Двое милых (не отрицаю; допускаю) людей в достославные допотопные времена допустили оплошность и совершили печальный факт оплодотворения. Но при чем здесь любовь? Тем более взаимная? Сегодня это истлевающие старички-неудачники, даже не понимающие, что единственным значимым поступком в их жизни был бы банальный (но величественный в этой банальности) суицид на склоне лет в духе храброго luzer'а Хемингуэя и других поучительных примеров из истории (впрочем, в Постновейшее время ничего любопытного в этом роде не происходит, а Уничтожение Старой Культуры сделало свое дело, и обыватели превращаются в подобия подобий, симулякры симулякров и полчища одинаковых зубцов в гребенке, совсем как в неинтересных антиутопиях XX века).

Оленька всего этого не понимала, и я без конца слышал от нее бесчисленные вариации невозможных реплик, строящихся по модели «А вот мой папочка всегда (никогда) делает (не делает) так (сяк)».

– А вот мой папочка всегда говорит, что надо рубить правду с плеча.

(А Крылов говорил, что истина сноснее вполоткрыта; а Чехов говорил, что самые скучные люди – это честные; и я не сомневаюсь, что рубить с плеча свойственно именно таким садистам-милитаристам, как ты, недостойный своей аппетитной дочурки папашка.)

– А вот мой папочка никогда не позволит, чтобы женщина решала что-то сама.

(Так в чем же здесь правота, Оленька? Именно такие трусливые животные, играющие в тотальное главенство самцов, сделали из женщины безмозглый тренажер для физических упражнений, половую боксерскую грушу; не милей ли трахать личность, а не куклу?).

– А вот мой папочка говорит, что верить надо только себе.

(Оленька, ты себя слышишь? Твой папочка в роли индивидуалиста – это такая же потеха, как ты в роли монахини. Этот механический государственный иждивенец верит только in vino veritas; шел бы ты к зеленому змию, полудохлый пропойца.)

К сожалению, ничего этого я к Оленькиным инфантильным изречениям не добавлял, зная, как она разноется и как примется твердить, что «секс – это грязное дело» (небось импотентствующий папочка и об этом не преминет «всегда говорить»).

Я так и не употребил давно заготовленную фразу (даже в день нашего разрыва с Оленькой я о ней не вспомнил) – «А как твой папочка в постели?»: паскудная догадка того, что корни этого культа неличности растут именно из инцеста, не давала мне покоя.

Внешние причины (и особенно лишние люди) неизменно все портят. Так было и с Машенькой.

Машенька

Машенька, Машенька, дивная красоточка, племенная кобылка, ты всегда так импозантно покачивала бедрами, что на тебя хотелось набрасываться жеребцом даже в самой неподходящей обстановке.

Однако Машенька была еще и крайне скромна. Совокупление любила, но заливалась прелестным румянцем, если мы заговаривали об этом одетыми (а уж ее раскрасневшееся смущающееся личико с обрамляющими его куртизански разметанными волосами – это воистину зрелище для королей). Об Оленькином морализаторстве, равно как и об ее фривольности, здесь, конечно, не могло идти и речи.

Ложилась Машенька только снизу (все – в русле традиций) и только при выключенном свете (это ж стыд-pozor, вы что! но, однако же, какой приятный стыд-pozor...) Закатывала зрачки, прикрывала глаза длинными шелестящими ресницами, начинала неистово подмахивать (такой вот инстинктивный парадокс) и кончала, кончала, кончала, безумно кончала с фотографической моментальностью и периодичностью рок-н-ролльных музыкальных интервалов, всякий раз при этом закусывая нижнюю губу (несколько раз – до крови; я обожал после этого целовать ее кровоточащий рот) и издавая ангельский свистящий стон. Сигнализационного визга Ирочки дождаться от Машеньки было невозможно, но, мой слабосильный читатель, когда женщина успевает кончить под тобой шесть раз до твоего первого извержения – это захватит кого угодно.

Я не уставал вкушать эстетическую изощренность этого обворожительного контраста в духе чистого искусства, когда перед тобой сидит стыдливая очаровашка с фигуркой школьницы средних классов, сидит коленка к коленке, нервно поправляет любовно подобранную тобой для нее короткую юбочку, а стоит выключить свет – щелк! – и она начнет разражаться таким количеством соков, какого не найдется и у самой распохотливой жирной шлюхи.

Наказывал я эту отдающую нимфеточностью барышню своеобразно. Ссоры случаются всегда и со всеми, но если с Оленькой или Ирочкой не обходилось без полетов ножей и стай упреков, то на Машеньку безотказно действовало это страшное оружие сильных духом – молчание.

Стоило мне притвориться, что Машенька стала невидимой для моего сознания, и я уже внутренне улыбался, зная, что очень скоро услышу эту приятную для любого мужского слуха женскую фразу: «Ну прости меня. Я была неправа».

Она что-нибудь спрашивала – я не отвечал, угрюмо глядя в книгу или в окно. Она спрашивала еще раз, чуть более нервно (на истерику она была абсолютно не способна: в этом ее особое, редкое очарование), – я без труда изображал ее отсутствие. Иногда я мог рассеянно посмотреть ей в глаза, как бы забывшись, но с видом таким, что гляжу в стену. Она с притворно-равнодушным непониманием передергивала плечиком, выходила из комнаты, но минута-другая – и вот она уже льнет ко мне своей горячей хрупкостью, моя стеснительная обаяшка, и, эротично обжигая ухо, шепчет: «Ну прости меня. Я была неправа».

Молчание – шикарная вещь и превосходная замена самоубийству. Если хочешь исчезнуть, исчезни, но не полностью, а так, чтобы продолжать наблюдать; иначе зачем исчезать?

Во времена наших дедов существовала популярная никчемная группа «Король и Шут», исполнявшая, в частности, такую песенку (CD «Акустический альбом», 1999, трек 04):

Разбежавшись, прыгну со скалы,
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймешь, кого ты потеряла.

Бредятина, разумеется, но таковая философия находила отклик в сердцах многих поколений безумных подростков, пополняющих собой ряды седьмого круга ада (иной раз подумаешь: а может, правильно ее Уничтожили, эту Старую Культуру?).

Правда, иногда случается, как говорили наши предки, такое dermo, когда ни молчание, ни суицид ничего не изменят.

Каждому нормальному человеку это знакомо: есть Человек (шесть восклицательных знаков), и вдруг – бац! – и нет человека (тем более Человека с шестью восклицательными знаками). Чаще всего – потому что появляется другой якобы Человек.

Такое случилось и с Машенькой. К сожалению (для нее), ненадолго.

Я не хочу пачкать сию рукопись гения упоминанием имени этого ничтожества (к чему прославлять посредственность и пополнять ей когорту геростратов?).

Он тоже работал в НИИ БАЦЦА. Я его, таким образом, знал. Это Машеньку и погубило. Брезгливая моя натура капризного художника просто не смогла бы возобновить обладание Машенькой, после того как ее ломким тельцем воспользовался этот презренный таракан.

Разочарование, по логике вещей, наступило быстро, как очередной Новый год (попробуй-ка, моя прелюбодейная читательница, покувыркайся сначала с гением, а потом – с посредственностью).

На работе Машенька однажды так сверкнула в мою сторону своими обычно матовыми глазками, что я все понял. И мое молчание приняло окончательный и бесповоротный характер. Я ее избегал. Не как мерзавец, а как джентльмен.

Чтобы покончить с этим, я согласился на лучшее из зол – ответил на ее телефонный звонок.

– Привет!

– Мм...

– Прости меня.

– За что?

– За то, что я имела глупость увлечься на пару дней имяреком.

– Отлично! Прости меня за то, что я шлюха.

– Зачем же ты так?..

– А как мне реагировать? Сказать: пустяки, надеюсь, ты приятно провела время, да?

– У нас ничего не было.

– Не сомневаюсь. Разве имярек способен хоть на что-то...

– Перестань. У тебя у самого было что-то с этой... ужасной Ольгой.

– У меня? Ничего подобного. Прощай, ты отвлекаешь гения от более важных дел, чем треп с проституткой.

В трубке неуверенно-фальшивое хныканье. Я кладу трубку, зная, что кладу ее навсегда.

Чтоб добрым быть, я должен быть жесток.

Ирочка

Ирочка, Ирочка, «сладенькая дырочка», как ты сама себя называла, моя вульгарная негодница.

Вульгарна она была до невероятия. Материлась напропалую, как будто не понимая, что люди сейчас реально попадают за это в лапы Милицанеров.

Рассказывала мне все интимные детали о себе, патологически любимой (свойство ребенка и эгоиста – не отделять себя от тех, кому ты дорог; считать, что тебя понимают и любят с головы до пят, и посвящать окружающих во все мелочи того, насколько ты несовершенен).

Так, во время одного нашего телефонного разговора она принялась мастурбировать и описала мне этот процесс с подробнейшими комментариями. Впрочем, это было забавно, и она добилась того, чего, видимо, хотела, – я тут же прилетел к ней и опытнейшим доктором поставил ей несколько палок кряду (ее кипятковая температура не замедлила упасть).

Но ее рассказы о прежних любовниках, об эротических переживаниях детства и рано утраченного девства, – все это неприятно царапало мое отзывчивое, влюбчивое сердце художника.

Однако в постели я, ничтоже сумняшеся, смирялся со всей ее вульгарностью, ибо вульгарность в постели со стороны дамы – это редкий шик в неискусственной любви. Нам, гениям (да и обычным людям тоже), импонирует предельная раскованность возлюбленной («Свет выключать не обязательно»; «Хочешь, попробуем анально?»; «Ты не мог бы истерзать мои груди?»).

А как она кричала! – это отдельный писк. Ложно смущаясь, пыталась съесть подушку (я говорил ей, что на соседей, в сущности, плевать, – пусть порадуются, что где-то протекает настоящая жизнь; но она упорно пыталась замьютить свой порнографический саунд).

Извивалась и барахталась. Неминуемо сталкивала меня с койки во время каждого свидания. Нередко падала сама, опять-таки увлекая меня за собой.

Обхватывала меня ногами и стягивала в узел, как бывалый йог, как женщина-змея. Расцарапывала мне спину до мяса (после я обожал облизывать ее пальчики с длинными когтями и спекшимися кусочками моей крови). Оставляла на моей шее такие засосы, что я стеснялся выходить из дому без шарфа даже летом.

И – голос, голос. Все оттенки сильнейшего женского вокала – от оперных завываний до сумбурных рычаний буйной пациентки психиатрической клиники.

Казалось, ничто не в силах повредить нашей идиллии (не без недостатков, но где ж без них?).

Но однажды мы отправились в ресторан, и Ирочка выдумала притащить с собой свою подругу Леночку. Я сразу расстроился, поскольку при подруге мне зазорно было бы играть в нашу любимую с Ирочкой игру – похабными разговорами и легким подстольным петтингом предвосхищать страстный послеужинный вечер.

Эта Леночка все испортила (gad'кая megera; я еще не знал ее, и не знал ей цену).

Первое время мы glup'о беседовали обо всем и ни о чем. Внезапно Ирочка мрачно извинилась и вышла из-за стола. Сейчас, вспоминая это, я готов подумать, что злостная Леночка изловчилась накормить Ирочку слабительным. С нее станется (девушки, гоните прочь подруг; дружба – вздор, если вы не лесбиянки).

Леночка посмотрела недоуменно убегающей Ирочке вслед.

– Дурашка, – мягко сказала она.

– Простите? – хмыкнул я. (Ирочка – дурашка? Или – я?)

– Дурочка Ирка, – откинулась на спинку стула Леночка, расправив свои тонкие обнаженные руки на уровне плеч, как хищная птица расправляет крылья перед нападением.

– Это почему же? – с притворным возражением спросил я. На самом деле мне, художнику, постыдному охотнику до всяческих проявлений аморальности, ситуация показалась любопытной.

– Она вам нравится? – усмехнулась Леночка.

– Я люблю ее, – прищурив глаза, сказал я (мысленно ударил себя кулаком в грудь).

– Ха! – хохотнула Леночка. – Скажите мне, пожалуйста, ту фразу.

Девочка явно игровая. Интересная. Но Ирочка-то лучше. Ирочка – моя.

– Какую фразу? – сказал я, чувствуя, что мои реплики гораздо неудачнее Леночкиных раскованностей.

– Ну, ту фразу, – наморщила лоб Леночка, – которую Роберт Локамп сказал Патриции Хольман за ужином у Альфонса...

– И которую потом использовал большой ценитель западной литературы Довлатов, – эрудированно закончил я.

– Именно, – наклонилась ко мне Леночка. И шепотом: – Ну. Скажите же. Хотите...

Эта игра меня захватила. Сам не понимая, что делаю, я выпалил:

– Хотите, незаметно исчезнем?

И тут же понял, что я сам обрубил все концы. Прощай, Ирочка.

Мы с Леночкой поспешно выбежали и плюхнулись в такси. Стерва уже расстегивала мне рубашку. Почему-то снизу.

Что было дальше? Ничем не примечательный секс. Взаимное нежелание продолжения.

А Ирочка улетела, как нелепо выскользнувший из усталой ладони воздушный шарик. Надо было обмотать ниточку, связывающую нас с Ирочкой, вокруг пальца. Я не догадался.

Кровожадный читатель, знай, мне стыдно. Совестно. Но это дело прошлого. Вернемся к теме разговора, составляющего суть данного шедевра.

Итак, я – мизантроп.

Я ненавижу людей.

Незачем говорить, что мое любимое литературное произведение – это «Мизантроп» («Le Misanthrope», 1666) Мольера. Я знаю его наизусть с детства, и никакое Уничтожение Старой Культуры мне здесь не помеха.

Остальные литературные произведения я тоже, в основном, ненавижу.

И музыкальные.

Хотя я увлекался одно время ретромузыкой. Но быстро понял всю ее ничтожность. И ретромузыки, и тем паче современной.

Как? – ахнешь ты, glup'ый читатель. Первый музыкальный продюсер планеты ненавидит музыку?

Да, это так. Может, именно поэтому и ненавижу.

В последний год перед Уничтожением Старой Культуры я это самое ретро еще слушал. Как будто предвидя грядущее положение вещей (еще одно ярмо гениев – провидение), я увлекался тогда известными сквернословами – маргинальными группами «Ленинград» и «Кровосток».

Осознаю ныне, сколь эти группы убоги, но две песни (от каждой – по одной) еще почитаю.

У «Ленинграда» (CD «Точка», 2002, трек 02):

Я их не люблю,
Хотя им тоже являюсь...
<...>
Я не хочу с ними жить,
Надеяться, верить, дружить...

И у «Кровостока» (CD «Сквозное», 2006, трек 04):

Я просто ненавижу большинство людей,
Я не вижу в них ничего примечательного:
Люди – это реально tup'oe govno...

И то и се – это типа про меня. Жизненная философия. Надеюсь, мой недогадливый читатель, ты хотя бы отчасти понял мою мысль. И не будешь больше просить, чтобы я непрестанно предъявлял тебе доказательства собственной мизантропии.

И не обессудь, но я буду на протяжении всего этого великого труда обзывать тебя разными разностями (грубостями то бишь). Ты, дуралей мой читатель, постоянно будешь у меня «tup'ым», «kretin'ом», «филистером». Я ж – мизантроп. И согласись, презренный, было бы излишним ханжеством называть тебя «любезным», «драгоценным» и «самым моим дражайшим».

Теперь о том самом пасквиле. Наткнулся я на него у своего приятеля, которого обозначу здесь как Библиофила. Он и вправду так себя называл. Бывало, я говорил ему: «Вас действительно влечет к книгам? Или это – в переносном смысле?» (согласись, упрямый читатель, что такой вид извращения до сих пор не пришел в голову нынешним сексуальным революционерам). Библи-

офил грузно хохотал и тряс брылами. Воодушевленный успехом, я продолжал: «В переносном смысле – это я имею в виду вот что. Как часто вы бегаете подрочить при чтении, скажем, маркиза де Сада? Через каждые сорок страниц?.. А при чтении Жана де Берга? Через каждые двадцать?» Библиофил хлопал себя по колену и держался за обваливающийся живот, грузный pedik. Тут я прекращал хохмить, боясь, как бы у моего друга не возник приступ астмы.

Библиофил ценил мой юмор и был самоироничен. Поэтому мне нравилось с ним общаться.

У нас случались прелестные беседы о литературе. Например, о советской (которая, если кто помнит, до Уничтожения Старой Культуры слыла верхом совершенства в отечественной словесности):

– ...Если учесть, что первым советским романом считаются «Два мира» жалкого литератора Зазубрина, то неудивительно...

– Однако же, Зазубрина можно счесть и первым российским де Садом, а это уже кое-что...

– Э, бросьте. Барков, кажись, творил еще до невеликолепного маркиза, и его стихи, на мой вкус, куда эротичнее просвещенского (или антипросвещенского, что ничуть не краше) философствования с однообразным описанием однообразных перверсий.

– Ладно, оставим в покое Зазубрина. А также, подозреваю, Бабеля, Пильняка, Веселого?..

– Ну отчего же. Пильняк – модернист западного уровня, его романы, право же, завлекательней булгаковских.

– Вы хотите поддеть моего любимого Михаила, эту глыбу? Создателя гениальнейшего «Собачьего сердца»?

– Насчет «Сердца» согласен – лаконичный шедевр. Но сахарная Маргарита с елейным Мастером – увольте!

– А пьесы? Был ли драматург, равный автору «Бега» и «Дней Турбиных»?..

– Тогда уж «Зойкиной квартиры» и «Блаженства». Нет, пьесы – это второстепенная литература. Основа для киносценариев. Я никогда не понимал культа Вампилова. Вот Володин – считался чуть ли не бульварненьким автором, однако «Пять вечеров» и «Осенний марафон» – шедевры, а кто сегодня помнит кинопостановку «Старшего сына»?

– Вы, батенька, перескочили в финал этой советской пьески. Мы говорили о двадцатых. Если уж был у нас литературный расцвет, то именно тогда.

– Ну да. «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон» и «Хождение по мукам».

– Разумеется, я имел в виду «Чевенгур», «Белую гвардию» и «Мы».

– Такого ярого антисоветчика, как вы, мне ничего не стоит расщелкнуть одним махом. «Чевенгур» – первое и худшее произведение истинного (здесь не спорю) таланта. «Мы» – проэмигрантская злоба дня. А про Булгакова я уже сказал: «Гвардия» еще хуже «Мастера» в смысле скучной документалистики и политического заигрывания. Из больших вещей того времени я выделил бы только два романа Ильфа и Петрова.

– Вот здесь я вас никогда не понимал. Фельетонисты-борзописцы, поверхностные эрудиты, пишущие бойко, но...

– ...Которыми восхищался Набоков...

– ...Который для меня тоже – абсолютный неавторитет. Про Зощенко я при вас вообще не осмелюсь рассуждать.

– Смею заверить, к Михал Михалычу я довольно критичен. Несколько изумительных шедевриков-алмазов, но в основном – сплошные самоповторы.

– Все-таки я продолжаю удивляться вашему... какому-то несерьезному подходу. Почему вы неизменно выделяете именно юмористов? Жанр низкий, если вдуматься.

– Но в истории-то остались юмористы-стилисты, новаторы. Хотел бы я посмотреть, что было бы с непререкаемым Платоновым без его тончайшего юморка на уровне фразы и ритма.

– Не буду спорить, и поедем дальше. Драму опустим, я вижу, как вы ее презираете. Но я тогда свергну щелчком вашего идола Хармса. Полагаю, он будет гораздо интереснее психиатру, нежели литературоведу.

– Вы – или обыватель, или социалистический реалист.

– Если соцреализм – для вас грубое слово, то вы неправы. Да будет вам известно, что и Солженицын...

– Прекрасно мне это известно. «Архипелаг» – книга, которую нельзя не прочитать (ибо – вся соль эпохи), но которую никто не перечитывает (ибо – соцреализм, помноженный на протопопа Аввакума).

– Ну, тогда уж и не знаю, чем вам здесь угодить до восьмидесятнического постмодернизма. Трифонов?

– Плюшевый советский Набоков.

– Я предвидел эту фразу. А Айтматов – игрушечный советский Маркес?

– Магический реализм несносен во всех своих ипостасях. Давайте проедем и «деревенскую прозу», от которой (исключая роман Успенского «Дядя Федор, пес и кот») у меня сенокосная дрожь по всей аристократической коже.

– Ладно-с. Но мы тогда подъехали к перестройке. Советской литературе – каюк.

– Мы совсем не затронули поэзию, и чудно. Мне было бы совестно показать здесь свое дилетантство.

– Не скромничайте. К тому же, зная вас, могу предположить, что с концептуализмом вы знакомы не понаслышке.

– Вы... Обойдемся, однако, без комплиментов, которые на прощание звучат особенно фальшиво... Знаете только, чем мне не понравился наш сегодняшний диалог?

– Я отвечу: чем?

– Если бы я его придумал, как Годунов-Чердынцев, он звучал бы куда изящнее. А так – черт-те что...

Как ты можешь подозревать, подозрительный читатель, Библиофил был крайне огорчен Уничтожением Старой Культуры. И он вовлекся в опасное дело Стариздата сразу же по его появлении.

Излишне рассуждать здесь о том, как легко оказалось забыть Старую Культуру. Потешные случаи окружают нас повсюду; когда кто-нибудь пытается, например, вспомнить строчку из Есенина, то выдает что-то типа: «Старый пес мой давно ссучился...»

А юные псевдоинтеллектуалы способны до драки спорить – верно ли, что стихотворение Пастернака «Гул затих. Я вышел на подмостки...» повествует о великом вожде Константине Черненко, прочитавшем во времена «оттепели» знаменитый доклад о гласности.

О Стариздате вообще не хочется говорить. Я ни разу не слышал о том, что хоть где-то остались копии произведений Старой Культуры. Процесс этот, как ты, вездесущий читатель, помнишь, проводился прескрупулезно и освещался во всех подробностях: никакой разумной лазейки для сохранения книг не существовало.

Ну что, кто-то (устарелый профессор умершей филологии, взявший на себя полномочия последнего русского интеллигента?) способен был закопать на приусадебном участке сундук с шедеврами классики? Брось, хитроумный читатель! Кого в нашем веке интересует литература? Уж не тебя ли?

Допускаю, что остались уникумы, знающие наизусть «Евгения Онегина» (я просматривал стариздатовское издание – почти без ошибок). Но как изловчились стариздать «Анну Каренину» и «Братьев Карамазовых»? Натолкали в более-менее знакомый скелет горы отсебятины? Наверное, так.

Весь этот Стариздат напоминает мне тисканье ро́манов, коим увлекались советские блатные зэки в лагерях.

Да и не трогал бы я этот детсадовский Стариздат, кабы не отправил мне сюда Библиофил с порцией очередных безбожно исковерканных книжек Старой Культуры (здешние надзиратели, кажется, вообще не знают о существовании Стариздата и уголовной за него наказуемости) один престранный (а также премерзкий, преотвратительный) экземпляр.

Я уже писал ему: «Откуда?» «Черный рынок, – отвечает. – Как всегда. А что, дескать?»

Да так, ничего.

Ты мне в этом никак не поможешь, недогадливый читатель, но я и без тебя знаю, что никакой книги о докторе Фаусте в XVII веке написано не было. Была так называемая Народная книга о докторе Фаусте, но в XVI веке, и она не была сочинена от лица Вагнера. Пошлейшая трагедия Гете «Фауст» написана в XVIII-XIX веках, но и она не имеет с попавшим в мои руки бредом ничего общего.

Заголовок этой стариздатовской чепухи гласит:

История нигроманта доктора Фаустуса, рассказанная его фамулусом Вагнером
(1666 г.)
Перевод с немецкаго

Кажется, пришло время открыться тебе, жаждущий скандалов читатель. Чем меня так возмутила жалкая книжонка?

А тем, что это, мой неуважаемый, – пасквиль (а никакой не «перевод» ни с какого не с «немецкаго»). Пасквиль на меня, мой немилый, на гения, на твоего кумира.

В эпоху, когда официально выпускаемые книги представляют собой однотипное варево из невкусного мутновато-грязноватого секса (мои книги, как это водится у нас, гениев, – естественно, исключение; они тоже густо замешаны на сексе, но на сексе красиво-изысканном и исключительно гетеросексуальном), образованная (как будто бы) публика увлекается позорным Стариздатом – из всегдашней тяги к запретному, будь это запретное хоть dermo'м сквернейшего пошиба.

Дать по рукам анонимному графоманчику, пытавшемуся (безуспешно, конечно; но все равно – осмелившемуся!) сварганить дрянной коктейль из Стариздата и «злобы дня», – вот задача этой драгоценной рукописи. Тем более, что «злоба дня» касается не кого-то там, а меня (это меня-то, меня!!).

Я уничтожу паскудного анонима тремя переплетающимися в этой ювелирной работе способами:

1) помещу здесь его «труд» целиком и полностью, тем самым прибавив объем этой книге, которая вся выйдет за моей подписью (хотя мне-то нет нужды гнать строку; мои книги расходятся как горячие пирожки, будь в них хоть двадцать страниц; но все же);

2) докажу, что это фальшивка, подделка и бездарная поделка неуча, невежды и недоросля (учитывая, насколько жалок автор пасквиля, проделать сию операцию не составило бы никакого труда не только мне, но и любому моему однокурснику, хоть бы и спившемуся да опустившемуся);

3) опубликую здесь выдержки из своего Живого Журнала, на которые, видимо, и опирался нелепый «автор» при «работе» над своим «опусом» (и покажу заодно, с какой никчемной легкостью можно опорочить нетленные страницы).

Стало быть, вперед, вечно торопящийся мой читатель! Небольшое руководство по чтению этой нетленки: презренными арабскими цифрами я обозначу главы, взятые мною из пасквиля (взятые без правки, во всей их безграмотности); величественными римскими цифрами я обозначу бесценные выдержки из моего очаровательного Живого Журнальчика; жестко-убийственное, увесистое слово «комментарии» я буду предпосылать тем поистине сокрушительным местам, где с научной и человеческой (как бы я не ненавидел людишек) точки зрения от моего «противника» (слишком жалкий, чтоб без кавычек) не останется пустого места.

Походя я буду снабжать тебя, бедный мой, несчастный, лишенный доброкачественного ликбеза читатель, разнообразными увлекательными сведениями из Старой Культуры.

Советую набрать побольше воздуха в легкие, мой сухопутный читатель. Ты ныряешь в океан самого глубокого философского подтекста, и если посчастливится проникнуть на самое дно, ты,

жадюга, найдешь там горы жемчуга и тонны слитков золота, неразумно оставленные пиратами Старой Культуры.

1

Вигилия первая

Осознание всего несовершенства этого мира. – Стук некта. – Готичная циничность. – Ненужность нужды в еще более вящем прославлении. – Такие-сякие развлечения. – Пасть огромного кровожадного льва. – История ревнивого мавра. – Прелестные колени благочестивой девушки. – Воротничок циклопа с пятнами крови. – Упоминание имени Божьего всуе.

В вольном городе W. было так много типографий и инквизиторов, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы вырасти, осознать все несовершенство этого мира, напечатать в типографии еретическую листовку и сразу же умереть.

Одна из первых в городе W. типографий принадлежала доктору Иоганну Фаусту или, как он сам предпочитал себя называть, следуя моде, – доктору Фаустусу, на латинский манер. В сей типографии доктор Фаустус печатал свою газету – «Газету города W.» Весь нелегкий труд по добыче различных сведений и тщательном наборе их в удобоваримой письменной форме доктор осуществлял сам.

Ну и я помогал немного.

Как-то раз в дверь славной типографии доктора Фаустуса некто постучал.

Этим нектом оказался человек в одежде странствующего студента.

«Вы полюбуйтесь, какая тесная готическая комната со сводчатым потолком!» воскликнул он, когда входил.

«Готично», насмешливо подтвердил доктор Фаустус.

Насмешливость вообще была свойственна доктору Фаустусу, в чем Вы убедитесь несколько позднее, драгоценный читатель.

Ну и мне насмешливость тоже была отчасти свойственна, хотя и не в таких размерах, как у доктора Фаустуса, и не с таким сознанием своего права на наличие этой самой насмешливости.

«Доктор Фаустус пишет здесь сочинения для печатания их в собственного изготовления газете – “Газете города W.”», не без гордости за доктора Фаустуса промолвил я.

«Отлично! Отлично!» воскликнул незнакомец.

«Готично», насмешливо повторил доктор Фаустус знакомую уже Вам, дражайший читатель, шутку.

«Доктор Фаустус!» сказал незнакомец. «Позвольте представиться. Я – книгоиздатель...»

«Меня не интересует ваше имя», отмахнулся доктор Фаустус. «Книги я могу издавать и сам, но я не работаю с подельниками».

«Ах, вы не поняли!» сказал незнакомец. «Я собираюсь прославить ваше имя. Вы ведь тот самый доктор Фаустус, который...»

На сей раз перебил незнакомца я, воскликнув: «Но ежели доктора Фаустуса вы называете “тем самым”, что, конечно же, благоразумно, то, вестимо, он и так весьма прославлен и не нуждается в еще более вящем прославлении, что, мнится, уже и невозможно!»

Незнакомец будто и не заметил меня и моего велеречивого возгласа. Он продолжал обращаться к достославному доктору Фаустусу: «Я собирал сведения о вас, достославный доктор Фаустус, по всем вольным и безвольным городам достославной Германии. Я был изумлен таковыми сведениями. Не желаете ли услышать, что се за сведения?»

Доктор Фаустус, как всякий доктор, не был лишен чувства тщеславия, не необоснованного, впрочем, у таких достославных докторов, каковым был достославный доктор Фаустус.

Он, доктор Фаустус, промолвил: «Что ж, любопытно было бы взглянуть».

А сам подмигнул мне, славный доктор Фаустус, любивший развлечения и приохотивший меня, ничтожного фамулуса, к своим докторским развлечениям.

Что это за развлечения такие-сякие? – спросите небось Вы, достославный читатель. А развлечения это такие-сякие – доктор Фаустус при моем прескромном участии выпускал на потеху и потехи ради презабавные листовки, сочиняя их на досуге при моем прескромном соучастии.

Незнакомец тем временем откашлялся и прочитал вслух эдакое сведение, доставши его пред сим из дорожной своей котомки на листе бумаги:

«Один человек купил стадо откормленных, жирных свиней, и когда он по пути домой погнал их через реку, он увидел, что свиньи исчезли, а в воде поплыли пучки соломы. Затем последовало еще более необычайное происшествие. Человек этот отправился на постоялый двор, чтобы разыскать доктора Фауста, продавшего ему свиней. Тот, сговорившись с хозяином, храпел за печкой, притворившись спящим. Когда разъяренный покупатель вошел в комнату и со словами “Ах ты, негодяй!” потянул его за ногу, нога отделилась от тела и осталась в руках остолбеневшего от ужаса покупателя, а одноногий стал вопить, что его изувечили. В конце концов удалось закончить дело миром, голень снова приросла к своему месту и т. д.»

В продолжение этого bolvan’ского зачитывания (не имеющего, конечно же преконечно же, никакого отношения к благороднейшему из докторов – доктору Фаустусу) мы с благороднейшим из докторов – доктором Фаустусом (то бишь я и он, каждый по отдельности) вовсю макали перья в чернильницы и сочиняли презабавные «переиначивания», как величал сии занятия благороднейший из докторов – доктор Фаустус.

«А теперь, сударь», хитро улыбнувшись, обратился к незнакомцу доктор Фаустус, потирая фаусты, «позвольте мы вам прочитаем наши “переиначивания” (здесь он мне еще раз подмигнул, милый добрый доктор Фаустус), наши, расскажем так, версии ваших версий».

Незнакомец крайне недоуменно моргнул ресницами в крайнем недоумении.

Тогда доктор Фаустус толкнул меня в бок, и я начал:

«Некто купил стадо жирных, откормленных поросят. Погнал их домой через реку.
Однако в реке свиньи исчезли. Всплыли только пучки соломы.
Незадачливый покупатель отправился, естественно, к хозяину.
Тот храпел за печкой. Покупатель разозлился. Схватил продавца за ногу. И тут...
У меня просто не хватает слов... Вы не поверите...
Короче, нога приказчика отделилась. Повисла в руке обиженного. Одноногий завопил.
Голень, конечно, приросла затем обратно. Однако своих денег покупатель лишился».

«Вот», пояснил изумленному незнакомцу доктор Фаустус. «Это способ изложения, каковой исповедует мой славный фамулус. А теперича зацените, каковой способ изложения исповедует ваш покорный фамулус – славнейший доктор Фаустус».

И славный, славнейший доктор Фаустус прочел сие:

«Когда же этот охочий до сельского хозяйства господин, этот потенциальный труженик мясной лавки, приобрел-таки упитанно-сальных свиней, погнал из через реку, пребывая в восторге удачливого дельца (овчинка выделки еще как стоила), gnus’но-хищная река нелепо-фантасмагорически поглотила беспечно-нереальных свинок, поглотила как бы как пасть кровожадного огромного льва, способного разорвать в клочья горообразного кабана, не говоря уже о стаде скользких как блины (легко заглотить) поросят. Упавший духом и воспрянувший гневом, горе-неудача-покупатель бросился к ненавистному авантюристу, как ревнивый мавр бросается на недостойных его мелкотравчатых обывателей, одной мозолисто-цепко-чумазой рукой хватая за горло неверную любовницу, а другой вылущивая из гадкой рожи преотвратные узкие глазенки подлеца, хотя и

являющегося, как бы то ни было, злым стержневым духом-гением трагедии. Храп успешно смошенничавшего дельца привел обманутого ожиданиями плодов природы-повара покупателя в буквальное неистовство, как бы назревшее не только в продолжение этой незадачи, но и пропитанное запахом всех предыдущих неурядиц. Схватив же шельмеца за ногу, покупатель исступленно задохнулся, как бы в гневе подбирающейся нервной лихорадки, готовой послужить услужливым катализатором срывающегося захлебывающегося дыхания и судорожной мускульной агонии, – нога, что заслуженного удивления достойно (заслуженного, как бывают заслуженно получающие большую пенсию бывшие усердными работники королевского двора), – презренная нога квазижовиального, плоскошуточного, плоскостопного жулика почти с балаганно-ярмарочной комичностью отвалилась, как отваливаются застарелые, стирающиеся кости у неухоженного университетского скелета. Магически омагнитивший сознание несчастного скупщика отнюдь не краденых, но излишне мифических свиней, мерзавец завопил надрывным голосом фарисея. Покупатель наш был вовсе не в любезных отношениях с анатомией, поэтому решил скрыться, испариться, исчезнуть, пропасть, как будто он – одурачивающий проказник, а не его одурачил достойный проказы бедокур, или будто он сам является одной из тех почти что легендарно исчезнувших свиней, исчезнувших в тумане мутной реки, как исчезают, бывает, ночные звезды, окунаясь в пелену рассветной тины».

Надо сказать, что я в очередной чертовский раз страшно убедился в том, насколько ничтожен мой способ изложения супротив способа изложения, выдуманного мастеровитым башковитым доктором Фаустусом.

«А вот это мой способ», скромно, но гордо улыбнулся доктор Фаустус.

«Изволите зачитать еще что-нибудь?» осведомился у незнакомца доктор Фаустус.

«Право же, прочитайте», снисходительно улыбнулся доктор Фаустус, снисходительно улыбаясь незнакомцу.

Смущенный незнакомец торопливо достал из сумы своей еще один первый попавшийся лист и забормотал (а мы уже с доктором Фаустусом моим (хозяином) водили перьями по бумаге):

«Призывал доктора Фауста покаяться один благочестивый старец. В благодарность за это он послал к нему черта, чтобы тот напугал его ночью. Когда старец собрался лечь спать, черт забегал по спальне и стал хрюкать, как свинья; старец, твердый в своей вере, стал насмехаться над ним: “Ах, сколь сладкоголосен, сколь сладкоречив ангел, не сумевший ужиться в раю! Приходится ему теперь в свинском обличии разгуливать среди людей!” С тем нечистый и вернулся к Фаусту и пожаловался ему на то, как его там приняли и как выпроводили; не захотел он оставаться там, где ему припомнили его падение, да еще насмеялись над ним».

Не успел незнакомец промычать последний звук «м» в последнем слове «ним», как я уже по хитрому приказу хитрого подмигивания доктора Фаустуса заорал, выкрикивая то, что успел накарябать:

«Один благочестивый старец решил устремить Фауста на истинный путь. Фауст отблагодарил его за это своеобразно. А именно – послал к нему своего знаменитого черта.

И вот старичок ложится почивать. Укладывается и вдруг слышит хрюканье. Хрюкал, естественно, черт.

Однако дед не струхнул. Даже наоборот – смело гаркнул:

– Комплексы есть у всех. Ты, чертик, не исключение. У тебя комплекс ангела, опустившегося до положения свиньи.

Черт был жутко обижен. И разрыдался, как типичный немец».

Не успел я просвистать последний звук «ц» в последнем слове «немец», как доктор Фаустус уже благородно завысокоблагородил:

«Расправляя скукоженные плечи, благочестивый (как бывает благочестивой девушка из хорошей семьи, способная всерьез огорчиться, споткнувшись по досадному недоразумению на том или ином божественном слове, читая на прелестных коленях предсонную молитву) старец, бурно кряхтя и приглушенно откашливаясь, улегся, гремя заиндевевшими костьми, в полотняно-старческую черствую постель, и услышал вдруг, что в его комнате – внезапный друг (точнее, дух, а стало быть, недруг). Нежданный недруг протяжно захрюкал с бесовской внезапностью, захрюкал, как хрюкают те или иные тонущие поросята, в спешке шелестящие копытцами и свирепо вырывающие из лап бесчувственной воды серебряно-розовые пятаки. Старик не осмелился уместно испугаться, как не осмеливаемся мы испугаться, завидев ощетинившуюся собаку с явно знойно-горячим, излишне бешенственным нравом. Поэтому старец скукоженно произнес, промолвил оторопело-прочувствованным хрипом: «Убирайся, свин!» И все завертелось, закружилось, как будто в припадке, неуемно симбиозирующем изматывающий полупьяный подутренний бальный танец и психиатрическое чрезвычайное обстоятельство в одной из тех лечебниц, куда, возможно, неминуемо угодил бы почти всякий, окажись он на месте описываемого здесь непредубежденно-шуршащего дикообразного экс-святошного старца».

«Вот такие у нас способы», сказал доктор Фаустус.

«Желаете продолжить?» сказал доктор Фаустус.

«Продолжайте, раз начали», посоветовал доктор Фаустус.

Незнакомец лихорадочно выудил еще один листок из-за пазухи и залихорадил:

«Поселившись в большой коллегии, доктор Фауст своим хвастовством добился позволения читать публичные лекции в университете. Объясняя Гомера, он так подробно описывал, как выглядели его герои, что студенты возымели желание увидеть их воочию и обратились к нему с просьбой вызвать их силою своих чар. Когда студенты собрались в назначенный Фаустом день, в аудиторию один за другим стали входить герои, упомянутые в лекции, и под конец явился одноглазый великан Полифем с длинной огненно-рыжей бородой, пожирая на ходу человека, ноги которого еще торчали из его пасти. Он навел ужас на всех, кто там был, и, не желая уходить обратно, с такой силой ударял своим железным копьем об пол, что стены аудитории сотрясались, причем он даже пытался вцепиться зубами то в одного, то в другого студента».

Я затараторил:

«Студенты в аудитории притихли. Явился одноглазый великан Полифем. Его рыжая борода щипала глаза, как солнце.

Циклоп, кстати, возникнул не с пустым ртом. Из его пасти торчали ноги. Он доедал человека. Слышался хруст косточек. Циклоп усеял свой воротничок обильными пятнами крови.

Однако сытого великана лицезреть им не пришлось. Еще не дожевав жертву, циклоп уже плотоядно осматривал студентов. Кое-кого пытался укусить.

Студенты озадачились и перепугались».

Молчание. Покосился на доктора Фаустуса. Доктор Фаустус гневно смял свой лист, бросил прочь, встал из-за стола и говорит мне строго:

«Хватит заниматься этим вздором!»

Я виновато побледнел.

А доктор Фаустус строго посмотрел на незнакомца и говорит:

«А вам что еще нужно?»

Незнакомец, кажись, уже и вовсе разочаровался в своих вздорных намерениях, но говорит:

«Позвольте, я хотя бы у вас в типографии здесь где-нибудь под письменным столиком переночую».

«Бога ради», сказал доктор Фаустус и вышел вон, упомянув имя Божье всуе и вроде бы даже не заметив сего.

Комментарии к «1»

Нет! Я не выношу презренной той методы,
Которой держатся рабы толпы и моды.
И ненавижу я кривлянья болтунов,
Шутов напыщенных, что не жалеют слов,
Объятий суетных, и пошлостей любезных,
И всяких громких фраз, приятно-бесполезных
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

М е ф и с т о ф е л ь
Что мне природа? Чем она ни будь,
Но черт ее соавтор, вот в чем суть
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Стеснять себя в речах я, право, не привык,
И мне немало бед готовит мой язык
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

М е ф и с т о ф е л ь
О мандрагорах вздор твердите
И glup'ости о черном псе
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Итак, недоверчивый читатель, ты мог убедиться, насколько безжизненно-жалок сей urod'ливо-безумный пасквиль. Бесчисленные анахронизмы, на кои я даже не буду тратить банальных слов опровержения; выстраданная явно нездоровым idiot'ом корявость слога; ублюдочные повторы; тошнотворные сусальные обращения к читателю («у-тю-тю-тю-тю, драгоценненький ты мой»); длинноты, долготы и занудно-абсурдный театр одного завшивевшего бродячего Эда Вуда... Все это интересно (якобы) только недостойными экивоками в мой гениальный адрес.

Во второй половине этого daun'ского эпизода даются вполне шизофренически-ненужные и горемычные «стилизации» под (как хотелось верить автору) некоторых любимых им (более талантливых (вроде меня) полюбить ему не дано – уровень не тот) писателишек XX в.

Обыгрываемые здесь байки, вне всякого сомнения, взяты из книги «Легенда о докторе Фаусте». Она была у меня в детстве, эта педантская экскурсия в никому не нужную тусклую возрожденческую Германию. Вышла в 1966 г. в издательстве «Наука» (самое старинное издание в напыщенном книжном шкафу моих родителей; рассыпáлось при каждом прикосновении). Включала в себя прежде всего так называемую Народную книгу о докторе Фаусте – безвкуснейшее плебейское творение книгоиздателя Шписа, лютеровского приспешника (постоянные прогрессивные пророформаторские экивоки) и бессовестного дельца (Народная книга являла собой компиляцию из glup'ых общеизвестных шванков и выдержек из книг, ранее изданных Шписом).

Допускаю, что такая незначительная макулатурная чушь вполне могла сохраниться у нашего пасквильмэна в старом чемодане в старом чулане и после УСК.

Фрагменты этого фуфлового фолианта наш автор и вводит в свое заемное фуфло. И, так сказать, «переиначивает» (по glup'ости, из glup'ости, за-ради неведомо чего; просто kretin).

Вагнер (сделаю вид, что я угадал старания автора и снисходительно ему аплодирую) вроде как опирается на поверхностные традиции журналиста Довлатова (с его деревенщинским набором телеграмм, из которых составлялись рыхлые рассказы неумехи). Фауст – вообще не пойми на что ориентируется: то ли Гоголь, то ли Пруст, то ли Набоков... В абсолютно некместных – выкинуть бы их отсюда, из моей – моей! – Книги, кабы не моя священная задача, – сочинениях имбецила можно нащупать плевелы влияния и того, и другого, и третьего: метафоричность ради метафоричности (как следствие, сплошной вздор и бред в виде, например, idiot'ских сравнений, досадных, словно ни к селу ни к городу упавшая на стол люстра во время семейного ужина); неоправданное ничем, кроме оголтелого гона строки, многословие; претензии на жеманный вкус и употребление слов, значение которых употребляющему неведомо и нелицеприятно; демонстрирующие шапочное знакомство с языком неологизмы, достойные пьяного обкуренного маразматика-миазматика... – все се абсолютно неабрисуемо в непсихиатрических терминах, а на эту дурдомовую стезю мне вступать совершенно не улыбается и не жовиально.

Довлатов («трубадур отточенной банальности») и Набоков («менестрель выпестованной занудности») – нечего сказать, та еще парочка. Как это часто водится у литераторов, ориентирующихся на нечаянно прославившихся посредственностей прошлого, наш литератор-плагиатор обнаруживает свое полное ничтожество даже и перед этими подмастерьями настоящих писателей.

Приступим же к небрежному разбору этих курицыных полетов.

1. В вольном городе W. ...

BBB (WWW, то бишь World Wide Web: давно отмершее Сетевое понятие) – скверная анафорная аллитерация, намекающая на то, что автор постыдно и непрерывно обращался к Интернету (к лучшей странице Интернета – выспреннему моему Живенькому Журнальчику, Живчику моему). Обнаруживается здесь и восторженно-щенячье знание того, что некогда я увлекался таким унылым ретром, как группа «Ленинград»: одна из ее самых популярных песен так и называлась – «WWW» (CD «Пираты XXI века», 2002, трек 01).

Вообще же эта фраза представляет собой незанятный парафраз первого предложения тоскливой книжонки «Двенадцать стульев». Илья Ильф и Евгений Петров, два журналиста 1920-х гг., состряпали эту кашу из вульгарно начищенного серпа и топорно сатирического молота (который в их руках бил по несуществующим реалиям). Состряпали где-то за две недели и, поспевая за другим скороспелым строчкогоном Зощенко, дали возможность полчищам совковых мещан вдоволь похихикать (похихикать и забыть) над неправдоподобными приключениями картонных жуликов, описанных бойко безвкусным слогом красноперых кукушат красной журналистики.

Упоминание инквизиторов pozor'но бездумно. В Германии инквизиция была упразднена сразу после Реформации, а речь, как сказано на обложке и в конце пасквиля идет о 1666 годе. А если эти высосанные из крючковатого пальца невежды события еще и преподносятся нам, как происходившие «в вольном городе», то это совершенно уж никудышеньки не годится. Самое glup'о-смешное, что в остальном тексте об инквизиции ни звука (прямо-таки – ни гугу). Нет здесь ни слова и о Тридцатилетней войне, которая по внушаемым нам временным меркам должна еще вовсю аукаться в описываемых событиях... Впрочем, я обещал не останавливаться на выпирающих в каждом предложении этого низвержения гения (как будто бы; на самом деле – не смешите гения) анахронизмах, так что прекращаю. Тем более, что ты, glup'ышка-читатель, комфортно со своими куриными мозгами устроившийся в постуэскэшном обществе, не лучше этого самого «автора» поймешь мои интеллектуальные к нему претензии.

2. ...некто постучал...

4. Этим нектом...

Грубый прозрачный намек на мою уникальную монографию «Буратино как главный блатарь

детской советской литературы» с ее знаменитым примером о «некте», вошедшем во все учебники мира. Приведу здесь эту свою монографию, тем паче, что после УСК она не переиздавалась:

Буратино как главный блатарь детской советской литературы

Если вас интересует всесторонний разбор понятия «блатные», сразу отсылаю вас к трудам Александра Солженицына и Варлама Шаламова. У них же вы найдете и сведения об аспектах освещения блатных в советском искусстве.

Блатные подробно рассматриваются как в мировой практике художественной литературы («Разбойники» (Die R uber, 1781) Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера, «Отверженные» (Les Miserables, 1862) Виктора Гюго), так и в отечественной, и прежде всего – в советской (рассказы Максима Горького, пьесы Николая Погодина и Всеволода Вишневского, «Педагогическая поэма» (1925-1935) Антона Макаренко). Стоит отметить, что блатные герои присутствуют в нашей литературе не только в опусах конъюнктурщиков и подельщиков, но и в произведениях истинных художников. Лишь в некоторых значительных литературных творениях блатные благоразумно критикуются (Шариков в «Собачьем сердце» (1925) Михаила Булгакова, являющийся, как и Буратино, гомункулом), но такие произведения, как правило, запрещаются приблатненной советской властью. Нередко же большие писатели (кроме «лагерников») описывают блатных со странной симпатией (налетчик Беня Крик в «Одесских рассказах» (1931) Исаака Бабеля; фармазон Бендер в романах Ильи Ильфа и Евгения Петрова; старшина Чумак в повести «В окопах Сталинграда» (1946) Виктора Некрасова).

Есть свои блатные и в детской советской литературе. Это прежде всего Незнайка из романов Николая Носова, двоечник Дима из романа Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (1966).

Начало этой культивации образа жизни и мыслей «социально-близких» среди октябрят и пионеров положил известный и весьма талантливый литературный ремесленник Алексей Толстой. Его роман «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) явил советским детям уникально безмозглого и наглого urod'ца, с которого при всем при том следовало брать пример как с всецело положительного и «правильного» советского дерева.

Именно с этой точки зрения мы и рассмотрим данное произведение.

Уже в первой сцене, когда Буратино предстает перед нами еще в виде полена, мы видим, что это полено обладает типичными характеристиками блатного. Когда Джузеппе разговаривает с Карло и предлагает ему смастерить куклу для заработка, полено выкрикивает:

«– Браво, прекрасно придумано, Сизый Нос!»

Обратите внимание, что в этой реплике сразу же проступают целых три омерзительных блатных черты: idiot'ская привычка выскакивать с glup'ыми громкими замечаниями; неуважение к старшим (полено дерзко вмешалось в чужой взрослый разговор); прямое оскорбление старшего («Сизый Нос!»).

Затем полено провоцирует Джузеппе и Карло на драку (gnus'ное подзадоривание, свойственное блатным), а когда старики начали наскакивать друг на друга, «пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал:

– Вали, вали хорошенько!» *(любовь к дешевым развлечениям).*

Мерзкий Буратино с самого рождения начинает вести себя самым паскудным образом (мы помним, что блатным он стал еще, так сказать, в утробе дерева). Едва Карло «окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карло по лысине, щипаться и щекотаться» *(необоснованная агрессия; показная удаль – насилие над стариком с приятным для блатного ощущением безнаказанности).*

Прекрасную характеристику всякого блатного дает Алексей Толстой в следующей фразе:

«Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые».

Характерные черты блатной речи проступают, например, в диалоге Буратино с Говорящим Сверчком. Такие реплики, как «Здесь я хозяин, убирайся отсюда»*, замечательно показывают всю ублюдочную претенциозность, ту имманентно-перманентную наглость блатных, которая так поражала и Солженицына, и Шаламова.*

Бездумное бахвальство проступает и в следующей тираде Буратино:

«– ...Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома – лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек... Я еще не то придумаю!..»

Заметьте, что Буратино сконцентрирован исключительно на садистических побуждениях, на жажде насилия и острых ощущений. Однако блатные – вовсе не герои, а жалкие эгоцентричные трусы, чья ущербность только подчеркивается непрестанной жаждой перверсий. Обратите внимание: таскать за хвосты Буратино намерен лишь собак и кошек, т. е. заведомо более слабых, чем он, созданий. Мальчишек же, как тех, кто может дать ему ощутимый отпор, Буратино намерен только дразнить. Дайте такому Буратино «крышу» (в виде папы Карло или, не приведи Господь, Карабаса Барабаса) – и вы увидите, что подобный крысеныш не остановится ни перед чем в своих развлечениях.

Дальше эта тема все более и более варьируется: Буратино не упустит случая запустить в голову сверчку молоток или схватить за хвост серое животное (крысу Шушеру) с типичной мотивацией имбецила: «Ну, как его было не схватить за хвост!»

Причем Буратино с легкостью готов вести себя противоположным образом, если это намекает на какую-либо выгоду (дадут пожрать, например). Его самодовольство и самолюбие – вещи такие же напускные, как и все остальное в поведении блатного: так, Буратино запросто умеет менять интонацию крутого на самоуничижительную интонацию подлизы и попрошайки:

«– Я буду умненький-благоразумненький, папа Карло...»

В порыве фальшивых чувств Буратино выказывает готовность помочь близкому человеку, но ценность такой готовности моментально уничтожается бредовой гиперболизацией:

«Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.

– Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток...»

С грязными просьбами начинающего аферист Буратино пристает к прохожим:

«– Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек... Вы не можете мне дать взаймы четыре сольдо?..»

Честно говоря, от блатных мерзостей, вываливающихся на читателя с первых же страниц этого романа, становится дурно, и книгу вообще сложно было бы дочитать до конца, если бы не второстепенные герои и темы, кои иногда, по счастью, не имеют отношения к пропаганде блата.

Так, с появлением милейшего Карабаса Барабаса и его – обрати внимание, сладострастный мазохист-читатель! – «семихвостой плетки» («Будь ты хоть красотка – / У меня есть плетка, / Плетка в семь хвостов, / Плетка в семь хвостов») *в романе водворяется чудесная BDSM-тема, которая затем продолжится зоофильско-педофильской парочкой кота Базилио и лисы Алисы. Не лишен остроумия эпизод, когда эти два извращенца расправляются с ублюдком Буратино типичным бондаж-приемом: вешают его на дерево вниз головой.*

Алексей Толстой не чурается и самых откровенных видов порнографии. Так, нижеприведенная фраза отчетливо отдает урофилией:

«Спросонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась лужа».

Но продолжим рассматривать роман в ракурсе его главного, блатного героя.

Замечательный пример отвратительной манеры блатных держать себя описан в эпизоде, когда Мальвина пытается обучать Буратино арифметике.

За столом больной недоносок ведет себя просто отвратно, несмотря на присутствие девушки (а скорее – именно из-за ее присутствия; высший шик для блатного – являть себя даме в обличии последней свиньи):

«Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал не жуя.

В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал».

Обратите внимание на нарочито придурковатую реакцию выродка, когда Мальвина начинает читать ему условие задачи:

«– У вас в кармане два яблока...

Буратино хитро подмигнул.

– Врете, ни одного...»

Заметьте себе и тот недостойный истинного писателя тон, с каким Алексей Толстой живописует нам презренного блатного: автор старается показать нам, что черты Буратино, в общем, приятны и симпатичны, – он-де милый шалопай, экстравертивный весельчак:

«– Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?

Буратино сморщился, – так здо́рово подумал.

– Два...

– Почему?

– Я же не отдам же некту яблоко, хоть он дерись!»

Обратите внимание на ласковое авторское похлопывание по мерзким струганым щечкам ублюдка: «сморщился, – так здо́рово подумал» *– смотрите, мол, как занятно, дерево, мол, а думает!..*

Но мы готовы простить автору его извращенную любовь к малолетним блатным за тонко подмеченную им сущность описываемого типа в поистине гениальной фразе, которую я не премину повторить и во второй раз, спустя всего абзац: «– Я же не отдам же некту яблоко, хоть он дерись!» *Здесь, в этой фразе, – все! И мерзкий эгоизм (не отдам-де яблока!), и априорное желание подраться (которое на деле обернется либо постыдным уклонизмом, либо использованием запрещенных приемов: вообразите-ка себе деревянного frik'а с заточкой в руках!), и идиотское коверкание слов (тошнотворно нарочитое двойное «же»; безмозглый, невозможный дательный падеж «некту»), и глумление над женским полом (парадоксально сочетаемое в сознании блатного с желанием произвести на женский пол неотразимое впечатление и через это устроить неправдоподобно скорое соитие).*

Кстати, о соитии... Мне чрезвычайно надоело разбирать эту блатную погань, поэтому предлагаю, читатель, хорошенько поразвлечься со мною путем чтения нижеследующей моей несколько фривольной стилизации (которая со временем, быть может, вырастет в давно задуманную монографию «Эротические коннотации в "Приключениях Буратино"» (вариант: «Нос как фаллический символ (повесть Николая Гоголя "Нос" и роман Алексея Толстого "Золотой ключик")»):

...Мальвина сказала: «Пишите», – и Буратино сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса.

– Ах вы!.. шалун, – неожиданно спокойно сказала Мальвина и мягко улыбнулась.

Буратино опешил.

Мальвина достала из сумочки платок и нежно вытерла нос Буратино. Затем она приблизила свои спелые губы к обтертому носу деревянного человечка и осторожно втянула ими самый его кончик.

Буратино задрожал и почувствовал, как нос его увеличивается в размере. Мальвина прикрыла веки, и наклонялась к Буратино ближе и ближе, шевеля губами, так что его нос оказывался все больше и больше погруженным в ее рот, и не переставал расти!

«Странное дело! – подумалось Буратино. – Я же не говорю сейчас ничего, а значит, не вру: чего же он растет?.. Да и вообще – я ведь не Пиноккио!»

Мальвина тем временем высунула язык и проводила им по носу Буратино: снизу, сверху, – и облизывала уже его основание по окружности.

Буратино дрожал. Внезапно Мальвина громко простонала и упала на спину, увлекая за собой Буратино. Буратино прикрывал нос руками, боясь поранить им Мальвину. Мальвина же одной рукой прижимала его к себе, а другой – расстегивала лифчик.

– Буратино, Буратиночко, умоляю, – шептала она.

Буратино внезапно понял, что от него требуется. Он приподнялся на руках над обнажающейся Мальвиной и нежно стал тереться кончиком носа об ее соски.

Мальвина запрокинула голову назад, тяжело дышала, слегка вскрикивая и непроизвольно вытягивая изо рта сокращающийся и разжимающийся язык.

Буратино деликатно проделал носовое путешествие от груди до трусиков Мальвины, – в пупке остроумно задержался, – ловко поддел натянувшимся уже до предела носом трусики и откинул их прочь.

– А-а-ах! А-а-ах! – с потрясающей градацией повышала голос Мальвина, глядя на то, как голова Буратино склоняется и поднимается над ее лоном.

– Вы ga-ad'кий! Вы ga-ad'ки! Вы га-а! Вы-ы! В-в... – в недоумении слушал за окном Артемон эти непривычные, странно-радостные возгласы хозяйки...

Согласись, читатель, что такая непретенциозно-изящная литературная безделица закончит данную монографию куда лучшим образом, чем ежели бы я с тобой прошелся до самого конца кошмарного произведения, скрупулезно отмечая все gnus'ные блатные черточки gnus'ного нашего блатного героя...

5. «Доктор Фаустус!» сказал незнакомец. «Позвольте представиться. Я – книгоиздатель...»

Мы, знатоки Тома Манна (хотя Манн, разумеется, – крохотный писатель, создававший гигантские романы), могли бы назвать этого «незнакомца» Саулом Фительбергом (пожалуй, единственный колоритный персонаж в незаслуженно прославленном «Докторе Фаустусе»), если бы не полнейшая аморфность и амебность «Фительберга» нашего автора.

6. «Готично»...

Вероятно, автор пасквиля вспомнил свое мещанское доуэскэшное «падонковское» прошлое. Безмозглый (как все остальные термины безмозглой интернетовской секты «падонков») термин «готично» означал в свое время... Впрочем, что он означал – не суть важно, да это и наверняка была тотальнейшая, как водится, бессмыслица. Словцо это вместе с десятками других подобных появилось еще в начале века, и просуществовал сей топорный сленг аж до самого УСК. Что помешало презренному автору написать это слово в соответствии с т. н. «албанской» (bolvan'ской) орфографией («гатичьна» то бишь), остается никого не тревожащей загадкой.

8. «Отлично! Отлично!» воскликнул незнакомец.

Точно так же кричал во всеуслышание Жорж Дюруа, читая в кафе первую свою статью, опубликованную в газете «Французская жизнь». Жорж Дюруа – герой детского романчика французского журналистишки Ги де Мопассана (Монпанссанчика, Марципанчика) «Милый друг». Не удивляюсь нисколь, что пасквилянт эту dub'овую вещицу читал, – по его скудному, но претенциозному цитированию вообще вырисовывается довольно-таки бесколоритный портрет деревенского дурачка, возомнившего себя способным книгочеем. Пасквилявтор наш читал, в основном, всяких журналистов, что сказалось и на его слоге, и на неудивительной бессодержательности его urod'ца-творения. Изучение же книжонок о различных придурковато вымышленных авантюристах не могло, очевидно, не сказаться на моральном облике автора – человек он явно морально не обласканный.

I

Одна девочка сказала: «гвя».
Другая девочка сказала: «хфы».
Третья девочка сказала: «мбрю»
Даниил Хармс

Я – гений.

Нет, правда. Сегодня я в этом в очередной раз убедился.

Оленька, Машенька и Ирочка любезно согласились сотрудничать в моем новом продюсерском центре. Сам знаешь, всезнайка-читатель, после УСК милый наш (а впрочем, и надоевший до дурной одури) НИИ БАЦЦА расколошматили вместе со всеми прочими старокультурными учреждениями и многоэтажным нашим ненорматом (здесь есть какое-то досадное, не дающее такому любителю, знатоку и ценителю словесности, как я, покоя обстоятельство – получается, единственный случай официального признания ненормата (и причисления его к культурной традиции) произошел именно при УСК, когда его выстругали вместе со всей СК).

Некоторые «знатоки» (которых блатной герой бульварных романов навсегда утраченного прошлого Остап Бендер рекомендовал убивать) утверждают, что безмозглые роботы-цензоры негативно реагируют даже на сравнительно схожие с ненорматом словечки, такие, например, как «буй». Но это выдумки, я уверен; я ведь уже написал это слово и напишу еще раз – буй – и убежден, что все в порядке. Смотри, трусливый читатель: буй, буй (а ты рискнешь?), буй, буй. Буй. Буй! БУЙ!

Ты это читаешь, трусишка? Так, значит, все тик-так, чего ты испужался? Роботы – роботы и есть, но, суки, знают, что делают (может, еще и про самку собаки нельзя говорить, а?).

А вообще – шли бы эти роботы в буй. Вот ей-бую! Ах, вспоминаю те славные доуэскэшные времена, когда я мог расписывать свои бестселлерные полотна каким угодно количеством акварельного, масляного и гуашевого ненормата. И этот мой небрежный, но запоминающийся поцелуй гения (поцелуй-буй) выглядел не как удел озлобленного маргинала, но как вызывающее возгласы неподдельного восхищения баловство усталого философа, признанного мастера, не устающего щекотливо трепать сердца миллионной армады поклонников (и их сердца трепетали; особенно радостно было, когда трепетали нежные сердечки поклонниц, именно поклонниц (я – неисправимый натурал, король натуралов, и хватит об этом), когда я позволял себе щегольнуть ненорматом, раскованной постельной сценой, безжалостно циничным кровавым преступлением (все происходило в моем мозгу, невежественный читатель, самом незаурядном из всех мозгов) – о, на моих бестселлерах мир учился истинному мастерству словесности, познавал все ее могущество, преклонялся пред ее гением (предо мной то есть))...

А какие прелестно живые, ненатужно остроумные, неподдельно легкие интервью давал я по разным окололитературным, околоненормативным поводам (редкая журналистка по окончании беседы не молила меня глазами назначить ей свидание; совсем уж редкая могла уйти, не назначив-таки мне свидание самостоятельно; а ежели какая излишне робела, то это могло кончиться и печальным добровольным уходом из жизни, как это случилось с... но не будем о грустном).

– Почему вы используете в своих текстах *(гениальных текстах, дорогая, гениальных; я вижу, как ты хочешь это произнести; кого же стесняешься? меня? я с тобой соглашусь, детка, не бойся. – М.)* ненормативную лексику?

– Ах, милочка, ненормат так смешон, что, кажется, только я смог открыть миру его, мировые, подслеповатые глазки на всю смехотворность этого аппендикса словесности, аппендикса, однако, который невозможно удалить. Люди, употребляющие ненормат, смешны до безумия. Не смешон в случае употребления ненормата только лишь я, ибо сам смеюсь, ненормативничая, и ненормативничаю, смеясь.

– В ваших произведениях *(брось, крошка! что за сухой слог? шедевральных произведениях – ведь хочешь сказать; так и говори, никто не воспротивится. – М.)* встречаются довольно разнузданные порнографические сцены...

– Ах, милочка, разнузданность – не порок, коли дело идет о свадьбе, а не о похоронах; о дефлорации, а не о дефекации; о койке, а не о попойке... Иными словами, кого возмущает разнузданность? Только тех, кому она не грозит, – luzer'ов и frik'ов. А вот, например, тебя, baby, она бы не смутила, я уверен. Ну чего же ты попунцовела, брось! Если хочешь, я могу тебя разнуздать и обуздать... Вижу, ты зарделась, ладно, об этом позже... О чем я бишь?.. Ах, порнография. Порнография в литературе – такой же вздор, как в кинематографе, chérie, и если бы я занимался ею, мир бы вовсе не нашел, что я – величайший писатель всех времен и народов. Видишь ли, лапочка, я пишу эстетические картины, точными словесными мазками заставляю тайно-распутных цыпочек вроде тебя неожиданно оргазмировать над моими сочинениями; с похотливыми парнями сложнее – я не пишу для обезьянов мужского пола, но и они возбуждаются: им приходится лишь слегка помочь себе разрядиться, выплеснуть свои мелкие страстишки, разбуженные моими могучими биотоками, кои вложены в мои шедевры моими же талантами.

– Вы довольно садистически описываете *(садистически, но гениально; что же ты не договариваешь, трогательная работница пера и клавиатуры? – М.)* совершение кровавых преступлений...

– Ах, милочка, кровь – безусловная грязь; достаточно вспомнить, что именно она течет по жилам всех этих ублюдков-людей; но, согласись, что именно я поднял ценность этой невнятной жидкости на поистине эстетическую высоту. Кровь в моих драгоценных опусах брызжет как гейзер божественности, как фонтан ошарашивающей зрелищности (воплощаемой в жалких тридцати трех символах, не будем забывать об этом), неистово бурлит как водопад умиротворяющей благодати. Кровь – это жизнь, и только я смог создать у людишек такую иллюзию...

Я несколько отвлекся, но гению дозволено все. Продолжим.

Оленька, Машенька и Ирочка, короче говоря, разлюбезно согласились сотрудничать в моем новом продюсерском центре. Приятно иметь под боком эдаких красоточек, согласись, недотепа-читатель (согласись и подтяни слюну).

Стоило мне только гавкнуть в Интернете, что я соизволил решить спродюсировать музыкальный проект (я уже тогда был признанным гением; не верь, лопоухий читатель, тому, кто скажет, что меня прославила группа «Фауст и пацаны», – се ложь), как ко мне хлынули миллиарды компакт-дисков со всевозможными записями со всех возможных концов света. Моя армия ассистентов (сколько я накормил обездоленных безработных с помощью таких вот мелких нужд! – воистину я новый Иисус) должна была почистить горы этого хлама и оставить более-менее разумную горсточку. Прежде всего ассторожным ассистентам следовало избавить меня от «удовольствия» высматривать талантливых ребят в заграничной шелухе. Основные миллиарды посему с безжалостностью полетели в помойку. Из российских записей я приказал оставить только те, где был самый безупречнейший визуальный ряд (иные дураки посылали токмо музычку – гений не мыслит одной акустикой, а всеобъемлющими образами, недоумки).

А потом уж мы с девчатами (О. М. И., девчатОМИ) принялись просматривать сотню примерно отборнейшего молодо-музыкального зерна.

– Что за группа-то будет? – все спрашивала Оленька.

– Туфельку концепции будем шить по размеру ножки нашей предполагаемой сказочной Золушки, – загадочно отвечал я.

И мы смотрели в монитор (мой сказочный мониторище, шесть метров на шесть метров).

Прелестные обнаженные девушки прыгали на зеленой лужайке, поочередно играли на стоящем в углу лужайки фортепиано и пели волшебные серенады голосами сирен.

– Фи, – дернула плечиком Машенька.

– Дальше, – переключил я на следующую запись. – Я собираюсь творить высокое искусство, а не очередную потеху для онанистов с непременным выключением отвлекающего звука.

И мы смотрели дальше.

Из воды выходили тридцать мускулистых самцов (одетых, слава Богу, – в опостылевшие фраки), брали в руки инструменты – джентльменский набор для симфонического оркестра, – а затем выскакивал старикашка с палочкой и начинал дирижировать. Остроумие, видимо, в том, что смычковых и духовых на всех не хватило, поэтому некоторые обезьяны вынуждены были довольствоваться бас-гитарами и диджейскими пультами.

– Парниши, – мечтательно выдохнула Ирочка. Людоедка Ирочка с прелестной вагинальной дырочкой (да и анусная тоже ничего).

– Эклектика, – поморщился я. – Следующий.

И мы продолжали смотреть дальше.

Неотличимый от живого серый волк играл на трубе. Бабушка наяривала на барабанах. Охотники пытали какие ни попадя приспособления для звукоизвлечения. Грудастая Красная Шапочка визгливо пела о первостепенном.

– Что за группа-то в конце концов у нас будет? – устало зевнула Оленька.

Я переключил эту сказочку матушки Гусыни и раздраженно дернул плечами. Я сам уже устал от всех этих бездарей.

На экране тем временем – gnus'ная сцена в доисторическом каком-то сейшн-клубе. На gnus'ной сцене четверо простых и молодых ребят. Динозавровый рокапопс. В центре – ублюдочно смазливый, худощавый zadrot с черными кудряшками. Натужно басит и недужно рычит. Подельники скачут мартышками с гитарками под мышками.

– А вот и то, что надо, – удовлетворенно хмыкнул я.

– А теперь оцените, – повернулся я к девчатам. ОМИ с притворным рвением захлопали ресницами (и взлетели).

– Послушайте, пожалуйста, мои маленькие подружки, – поиграл раменами я, – сначала, наверное, текст?.. Да, текст, – я ж прежде всего литературный гений. Стало быть, текст первого хита новой великой группы (с названием – позже), текст под названием... – я замер в домашней заготовки паузе. – Никогда. Не разговаривайте. С неизвестными.

ОМИ затаили дыхания.

– Читаю, – выдохнул я шепотный ветерок блаженного предвкушения:

Никогда не разговаривайте с неизвестными

В час жаркого весеннего заката
(Давно же это было, давным-давно когда-то)
На Патриарших на неведомых прудах
Вдруг появились, появились, появились – ах! –
Два гражданина,
Два господина,
Два человека в широких штанинах.
Первый был не кто иной
(Кто же первый был такой?)
Первый был – скажу не в нос –
Михал Саныч Берлиоз!
А второй
(Да, второй),
А второй – его спутник нескромный –
Был, ребятушки, Ваня Бездомный!
И тут,
И тут
Какой-то фрукт!

(Какой-то фрукт!)
Какой-то фрукт из воздуха соткался
(Соткался, да, убейте хоть, соткался!)
Потом исчез
(Как скрылся в лес),
Но Берлиоза напугал-таки довольно,
А впрочем, я сейчас скажу: ребят, довольно!
Ведь мы же не об этом, который соткался,
А о том, который чуть позже к нашим друзьям прикопался
(Как клещ присосался!)
Да, на них он реально нарвался.
Он к ним подошел,
Шелестящий как шелк,
Он возле них остановился
(Типа как по какой-то традиции)
И говорит,
Им говорит:
«Здрасьте, мол, друзья!
А вот он и я!
Я тут услышал такую, blin, фразочку,
Я ее принял, простите, за помарочку.
Но вы тут сказали
(А вы, Иван, икали),
А вы, Михал Саныч, сказали,
Что Исуса типа никогда на свет не рожали!
Скажите пожалуйста, что вы себе навоображали!
Как же ж без Бога-то, а?
А?
Как же без родимого-то Боженька-а?
Ведь человек не может управлять,
Твою мать,
Он смертен, к чему лгать?
Он смертен, но это еще полбеды,
А он внезапно смертен, будь он из Рима иль из Караганды.
Я вам даже могу, Михал Саныч, сказать,
Какой сегодня смертью вам придется умирать.
Знаете, какой?
А вот такой-сякой –
Вам отрежут голову, милый-дорогой!
Знаете, кто?
Никакой не конь в пальто,
А советская девушка, а комсомолка,
Классная чувиха, оторва и метелка.
Аннушка купила уж подсолнечного масла –
Такая смерть выходит из пророческого пазла!
А Исус, имейте в виду, существовал,
Я вам об этом еще не рассказал?
Ну так слушайте: в белом плаще с кровавым подбоем...»
Ладно, в другой раз; это другая история.

ОМИ в смущении зарукоплескали. Они, бесспорно, были сконфужены очередным доказательством того, что с ними соседствует (а иногда – сожительствует) гений.

Я включил для них и звуковую дорожку. Классная музыка. Описывать словами бессмысленно (даже словами гения; вообще любопытная дилемма: может ли гений музыки и литературы описать средствами литературы собственную гениальную музыку?).

ОМИ поаплодировали снова. Grand merci, милые мои! – галантно раскланялся я.

– Теперь очередь за вами, – воскликнул я, желая расшевелить девчат, которые привыкли шевелиться, в основном, в кровати. – Помогите усталому гению придумать название для группы, – куртуазно слукавил я. На самом деле, конечно, передо мной в креативных делах все люди мира – просто букашки (даже, как это ни печально, мои ненаглядные ОМИ).

Они, ОМИ, вздохнули. Оленька зевнула. Машенька чихнула. Ирочка потянулась. Да, девочки явно не были расположены к креативной работе, не связанной с половым удовлетворением.

Девочки мешкали. Я недоумевал.

Ситуацию прояснила Оленька, самая из них незатейливая:

– В чем смысл песни-то?

Увы, забывчивый читатель, мои нежные кобылки столь же забывчивы, сколь и ты. Они, как и ты, забыли после треклятого УСК все на свете. Даже любимый роман нежных кобылок на протяжении сотни почти лет.

Напоминаю, никогда не бывший искушенным в литературе читатель, что произведение «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, журналиста и врача, жившего в 1920-30-х гг. в Москве, являлось одним из самых в мировой литературе доступным для широкого круга унылых филистеров. Оно даже обладало (как казалось когда-то тем унылым филистерам, которые по недоразумению занимались литературоведением) относительной художественной ценностью. Хотя история tup'а, скучна, минорна и невкусна.

Но оцени, неважный, конечно, оценщик-читатель, оцени мой ловкий ход демиурга – беспроигрышный ход – сыграть на том, что уже однозначно пользовалось бесподобным успехом. Сыграть и априори выиграть (как никто до этого не додумался при Старой Культуре, не понимаю).

Я объяснил ситуацию ОМИям. ОМИ покивываниями изобразили понимание.

– Название? – зловеще вопросил я.

– «Мастер и Маргарита», – выпалила прямолинейная Оленька.

– «Неизвестные», – скромно выдала утонченная Машенька (может, «Эрнсты Неизвестные»? тоже забавно).

– «Укус Исуса», – просвистела раздваивающимся язычком Ирочка («Искус Иисуса»? «Торс Христоса»?)

Не желая мучить моих юных дарований, я выдал свой непререкаемый вариант:

– «Фауст и пацаны», милейшие мои, не хотите ли?

Разумеется, мне тут же пришлось рассказывать и про гетевские mrakobes'ные стишата, и про топорный булгаковский эпиграф.

– Мне не нравится, – зловредно протянула Оленька.

– Как сказал Альцест, – блеснул я мольерознанием, – «ах, девушки, прелестные красавицы, вам бы перечить только да язвить».

– «Неизвестные» лучше, – заартачилась самолюбивая (иногда) Машенька.

– Как говаривал Альцест, – продолжил я экскурс в «Мизантропа», – «вы трогательно очень рассуждаете, но не упрямьтесь – здесь вам не постель».

– «Фауст» напоминает слово «фак ю», – поразила знанием английского Ирочка. Только ей могла прийти в голову такая аналогия.

– Как рассуждал, бывало, Альцест, – парировал я, – «ах, девочка, прелестная, желанная, такая грубость красоте не впрок».

– Ты, мягко говоря, надоел со своим Альцестом, – сказала злюка Ирочка. Злючка-сучка. Злюка-сексюка.

– Не обижайтесь, милые мо...

Но они обиделись. Дескать, ну и делай все сам. Да, таков уж видно удел всемогущего созидателя – ведь он никому не может доверить свою работу; не из жадности, а потому что просто некому.

Рыбки мои обиженно уплыли из золотого моего аквариума.

Все равно я гений.

Current mood: apathetic (пятетичненько так на душе)
Current music: Фауст и пацаны – «Никогда не разговаривайте с неизвестными»

2

Вигилия вторая

Зовите меня Вагнер. – Начнем вновь. – Обращение к почтенным и достохвальным. – Распутная жизнь и ужасающая смерть архиколдуна доктора Фауста. – Любезная помощь черного пуделя. – Се не «что», а «кто». – Усмешка в густых пшеничных усах. – Обыкновенный лошад. – Не ссы! – А hren'a ли?

Зовите меня Вагнер.

Меня, в общем говоря, так-таки и зовут – Вагнер.

Покорнейше простите, алмазный читатель, но я только сейчас вспомнил, что не представился. Что ж, это повод начать сию нижепоследующую поучительную историю именно со второй главы, бо первая глава все равно вышла излишней, поверхностной, ненужной и неудачной. А посему начнем как бы вроде как заново, внове...

Высокородные, высокоблагородные, высокоученые, благомудрые и высокомудрые, высокочтимые и глубокоуважаемые государи. Вы не найдете здесь сведений о распутной жизни и ужасающей смерти архиколдуна доктора Фауста, бо в распутную свою жизнь он меня не посвящал и не вовлекал, гордец и единоличник, да еще покамест и не умер. Обращаюсь поэтому к Вашим высокородиям с нижайшей просьбой не судить излишне сию бесполезную повесть бедного несчастного фамулуса. Не сомневаюсь в том, что Ваши высокородия, являясь добрыми христианами, благосклонно отнесутся к моему ходатайству и удовлетворят мою скромную просьбу. Остаюсь, призывая благословение Божие на Ваши головы, с подобающим почтением покорнейшим слугой и фамулусом Ваших высокородий. Почтенные, достохвальные и благородные мои читатели, особливо ко мне расположенные, любезные государи мои и друзья. Милость Божья с Вами, затем мой привет! Рад служить Вам, почтенные, достохвальные, благорасположенные, любезные государи мои и друзья. Посвящаю Вам, ненаглядным читателем моим, сию историю. Однако же, почтенные, достохвальные, благорасположенные, любезные государи мои и друзья, эту историю я посвятил Вам не потому, что Вы нуждаетесь в таком предостережении более других, ибо я, слава Богу, истинно верую, как в Бога, так и в особое усердие Ваше и преданность Господу, истинной вере и христианскому исповеданию. Я чувствую себя обязанным во всем решительно Вам угождать и служить всем, что только в моих силах, но так как на этот раз я ничего лучшего не имею и знаю, что Вы, почтенные и достохвальные, по милости Божьей и хлебом насущным и земными благами одарены и наделены в той мере, что не нуждаетесь для этого во мне, решился одарить Вас, почтенные и достохвальные, этой скромной книжицей, в особенности же потому, что, кажется мне, Вы, почтенные и достохвальные, об этой истории весьма любопытствуете. По этой причине примите благосклонно это скромное мое ярмарочное издание. Поручаю Вас, почтенные и достохвальные, вместе с Вашими чадами и домочадцами, милосердной защите и покровительству промысла Божьего.

А теперь – карусель.

На следующее утро задарма выспавшийся незнакомец зашел в нашу типографию, где мы с до-

ктором Фаустусом работали. Черный пудель – благородная собака доктора Фаустуса по прозвищу Артемон – любезно помогал нам в сложном, почти алхимическом процессе выпуска газеты.

Незнакомец вытаращил глаз.

«Се что?» наивно вымолвил он.

«Се не “что”, а “кто”», поправил доктор Фаустус. «Се наша благородная собака – черный пудель по прозванию Артемон».

«Ах, ну да, я слыхал», притворно успокоился незнакомец, «у вас есть собака и конь, которые, кажется, – бесы, ибо могут выполнять все, что угодно. Собачка сия иной раз оборачивается слугой (не правда ли?) и доставляет вам еду. А на коне вы способны перенестись за несколько мгновений в отдаленнейшее место».

«Вагнер», усмехнулся в густые пшеничные усы доктор Фаустус. «Проводи сего господина в конюшню и удостоверь его, что наш конь Впальтон – никакой не бес, а обыкновенный лошад».

Я с превеликим удовольствием проделал се.

Незнакомец вошел в конюшню. Конь Впальтон смирно стоял в стойле и задумчиво жевал сено.

«Ну что?» улыбнулся я, осознавая свое превосходство над этим хлыщом-деревенщиной. «Може, изволите оседлать сего благородного коня и совершить на нем за несколько мгновений увлекательное путешествие в отдаленнейшее место?»

Незнакомец покраснел и покачал головой.

На беду в конюшню вдруг вбежал благородная собака Артемон.

«А-а-а, кобелек наш!» воскликнул конь Впальтон. «Ты мне, сучара бацильная, когда шесть флоринов моих вернешь?»

«Ну ты это...» смущенно отозвался благородная собака Артемон. «Коняра поганая. Хватит ржать. Отдам, не ссы».

«Hren’a ли ты там протявкал?» приложил копыто к уху конь Впальтон. «Гони монету, сявка».

Я схватился за голову.

Но нас как всегда спасла прекрасная Гретхен. Она подошла сзади к мотающему на ус все происходящее незнакомцу, улыбнулась ему в спину, и ему пришлось повернуться.

«У нас гость», сказала умница Гретхен. «Что же вы стоите в конюшне, гость? *(прямо как конь Впальтон. – В.)* Пойдемте со мною. Я покажу вам наш прелестный мартовский сад и нашу садовницу прелестницу Марту».

Незнакомец естественнейшим образом забыл обо всем на свете (клюнул!) и пошел за Гретхен, как последняя неблагородная шавка *(сявка. – Вп.)*

Комментарии к «2»

Этот эпизод включает в себя аккуратно списанное предисловие Шписа к его Народной книге (списанное из совковой книги «Легенда о докторе Фаусте», как ты вряд ли помнишь, склерозный читатель) плюс дурную стилизацию под грубый немецкий шванк. К чему было дотошно копировать тяжеловесные словеса Шписа? Полагаю, ради контраста со второй половиной эпизода и псевдоэффектной фразой *«А теперь – карусель»*. Отвращение мое к этому пасквилю не устает расти, но истина дороже – я обязан разобрать этот продукт распада по костям, дабы невидимый-ненавидимый аноним-стариздатовец сложил все свои претенциозные косточки (к моим священным ногам).

9. Зовите меня Вагнер.

Первая фраза этого эпизода восходит к первой фразе паршиво-небрежного, безвкусно-несмешного (но с претензиями на легкую увеселительную потешку) романца американского журналиста и солдафона XX в. Курта Воннегута «Колыбель для кошки». Произведения Воннегута представляли собой мутные потоки нескончаемой неистовой отсебятины; впечатление было

такое, что каждый его роман написан за несколько дней (выплеснут на бумагу в состоянии лихорадочного бреда). Обращение к самым скверным источникам, которые наш плагиавтор успел бегло просмотреть перед УСК, поистине не поражает. Не поражает даже и та простая тенденция, что наш авторик не в силах сохранить и те жалкие крохи смысла, которые под лупой иногда можно было разглядеть у его кумиров. *«Можете звать меня Ионой»* – так начинается «Колыбель для кошки». Следующая фраза (как бы; как будто; она очень хочет создать хотя бы иллюзию этого) служит неловким оправданием первой – *«Меня всегда куда-то заносит»*. У нашего же квазивагнера нет и капли того трогательного старания, с которым писатели доуэскэшной культуры тщились очертить вокруг своих сочинений ореол разумности. Его glup'ые заимствования, а уж тем более вымученные предложения собственного изготовления, не оправдываются никак. Точно так же, как и выморочное воннегутство, нелепо подражание Серенусу Цейтблому (который тоже, кокетливый бюргер, представился не с самого начала своей повести).

10. Черный пудель – благородная собака доктора Фаустуса по прозвищу Артемон...

Очередной дерзкий намек на великую монографию «Буратино как главный блатарь детской советской литературы».

11. У вас есть собака и конь, которые, кажется, – бесы, ибо могут выполнять все, что угодно.

Эпизод с собакой и конем с невыносимо низкой язвительностью затрагивает еще одну мою нетленную монографию – «"Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского как пародия на "деревенскую прозу" и ортодоксальную советскую литературу». Пес и конь – довольно прозрачная аналогия к псу и коту. Сомневаюсь, что провокатор до моего величественного труда был знаком с этим памятником литературы прошлого века, написанным сценаристом елейных мультяшек Успенским (памятником дурным, пустым, скверным, нелепым; но все же памятным). Я скорее готов поверить в знание нашим авторчиком елейной многосерийной мультяшки «Shrek» (вышло серий, кажется, 60) – чисто американского tup'оумия, становящегося от выпуска к выпуску все tup'ей и похабней. В этом мутном эклектичном сериале фигурировали, в частности, кот и осел (грязно украденные у Успенского с переделкой пса в ишака ради маскировки). Осел в некоторых выпусках превращался в коня, что, как видно, и послужило пасквилянту для его вычурной маскировки (хотя всем и так понятно, зачем это делается, и в чью сторону пасквилянтская насмешка раздается). Пребезвкуснейшее окончание этого эпизода *(«...как последняя неблагородная шавка (сявка. – Вп.)»)* отсылает к знаменитой главе из Успенского, когда к письму дяди Федора прикладывают лапу и кот, и пес. Скобочной вставкой за подписью «Вп.» автор хотел создать неостроумный эффект того, что и его idiot'ский конь Впальтон накарябал копытом примечание.

Чтобы не быть голословным, приведу здесь и эту мою образцовую монографию, так как и она тоже после УСК не переиздавалась:

«Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского
как пародия на «деревенскую прозу» и ортодоксальную советскую литературу

Роман Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» появился в 1974 г., примерно в одно время с такими важными произведениями «деревенской прозы», как «Пастух и пастушка» (1971) Виктора Астафьева, «Прошлым летом в Чулимске» (1972) Александра Вампилова, «Пути-перепутья» (1973) Федора Абрамова, «Над светлой водой» (1973) Василия Белова, «Шопен, соната номер два» (1973) Евгения Носова, «Сандро из Чегема» (1973) Фазиля Искандера, «До третьих петухов» (1974) Василия Шукшина, «Живи и помни» (1974) Валентина Распутина... и с такими известными романами, повестями и пьесами другого типа, как «Пикник на обочине» (1972) Аркадия и Бориса Стругацких, «Поиски жанра» (1972) Василия Аксенова, «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972) Валентина Катаева, «Перед зеркалом» (1972) Вениамина Каверина, «Другая жизнь»

и «Нетерпение» (оба – 1973) Юрия Трифонова, «Момент истины» (1973) Владимира Богомолова, «Южноамериканский вариант» (1973) Сергея Залыгина, «Дождь в чужом городе» (1973) Даниила Гранина, «Дурь» (1973) Павла Нилина, «Старый Новый год» (1973) Михаила Рощина, «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) и «В списках не значился» (1974) Бориса Васильева, «Дожить до рассвета» (1974) Василя Быкова, «Покровские ворота» (1974) Леонида Зорина...

Хотя роман Успенского, безусловно, относится к «деревенской прозе» (т. к. включает в себя все присущие этому направлению черты: противостояние города и деревни с явным авторским предпочтением последней; чисто народные типы (обладатель кулацкой психологии Матроскин; прошукшинский чудик Шарик; язвительно-любопытный Печкин, отсылающий к образу Глеба Капустина); единение с природой (знаменитая сцена с Шариком и бобром); счастье трудовых сельскохозяйственных будней), он, этот роман, одновременно является пародией на «деревенскую прозу»; пародией, затрагивающей и другие ортодоксальные школы советской литературы.

Сам главный (и заглавный) герой – дядя Федор – является травестированным образом Федора Абрамова, этого своего рода «патриарха» «деревенской прозы».

Самостоятельность дяди Федора всячески подчеркивается на протяжении всего романа, и можно прийти к такому заключению, что этот персонаж воплощает в себе как черты писателя Федора Абрамова (имя; серьезность; самостоятельность – см. анекдот о Федоре Абрамове на дне рождения Веры Пановой в «Соло на ундервуде» (1980) Сергея Довлатова), так и черты главного героя абрамовской тетралогии «Пряслины» – Мишки Пряслина, который с юных лет стал главной опорой своей семьи и избы.

Рассмотрим роман именно в этом контексте, детально и поглавно.

Первая глава называется «Дядя Федор». Эта глава – некий зарисовочно-очерковый портрет главного героя. В ней же появляется второй главный герой – Матроскин, чей облик сознательно украшается Успенским всеми чертами героя-трикстера (или «читательского любимчика»).

Тут стоит сказать особо о героях-трикстерах (я предпочитаю называть их «живчиками» или «любимчиками»): самыми главными они не бывают почти никогда, но читатель с наибольшим интересом воспринимает именно те страницы, где таковой трикстер появляется. Профессиональные писатели превосходно понимают, что сделай они подобного «любимчика» главным героем, такого повышенного интереса к нему не будет, ибо гораздо легче выписать несколько сочных эпизодов и пару десятков отточенных острот, любовно вложенных в уста именно «любимчику», чем пытаться размножить таковые ударные штучки до размера романа, что, конечно же, практически невозможно.

Матроскин восходит к таким трикстерам русской литературы, как Фердыщенко, Стива Облонский, кот Бегемот, Остап Бендер (один из немногих протагонистов-«любимчиков»; первоначально, кстати, задумывался Ильей Ильфом и Евгением Петровым как второстепенный персонаж); в современной Успенскому литературе – к таким, как Цезарь из «Одного дня Ивана Денисовича» (1959) Александра Солженицына; Гога Герцев из «Царь-рыбы» (1972-1975) Виктора Астафьева, Сильва из «Старшего сына» (1967) Александра Вампилова (в киноверсии Сильву играл Михаил Боярский, прославившийся, подчеркну, ролью кота Матвея в «Новогодних приключениях Маши и Вити»)...

Но вернемся к началу нашего романа. Первая же глава сочетает в себе все элементы советской добротной беллетристики (с уклоном, как в развлечение, так и в идеологию): полезный практический совет: бутерброд «надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится»; дидактически-обывательское сетование на «наш век», актуальное в любом времени и месте, – «O tempora, o mores!»: «Сейчас без языка нельзя. Пропадешь сразу, или из тебя шапку сделают, или воротник, или просто коврик для ног»; мещанско-плоская утилитарная хохмочка в духе Зощенко (о постоянном ориентировании Успенского на Зощенко чуть позже): «– От этой картины на стене, – говорит мама, – очень большая польза. Она дырку на обоях загораживает».

Обязателен пародийно-идеологический экивок («фига в кармане»):

«Кот поел и весь день под диваном спал, как барин».

Презренный элемент прошлого – барина – Успенский хоть и загоняет под диван, но сопоставляет этот «чуждый нам» образ с милейшим Матроскиным, пуская скрытую умильную слезу по гедонистическим царско-барским временам.

В этой же главе вступает тема противостояния «художника» и «посредственности» (как в «Житейских воззрениях кота Мурра» («Lebensansichten des Katers Murr», 1820-1822) Эрнста Теодора Амадея Гофмана, где «легкая» «кошачья» линия смешивалась с «серьезной» антифилистерско-музыкантской линией). Олицетворением «художника» выступает папа, неистово фантазирующий по поводу выучки Матроскина на «сторожевого кота», а воплощение «посредственности» – это мама, не переносящая таких эстетически-грациозных животных, как кошки, и ценящая произведение искусства (картину на стене), только если оно имеет практическую ценность (ложный, типично советский подход, очень тонко высмеивающийся здесь Успенским).

Правда, папа – это травестированный художник, что-то вроде Леопольда Блума. Мы можем заподозрить, что папа – зоофил, ибо на минуту он замешкался, раздумывая, не предпочесть ли действительно маме кота? Но сила привычки берет свое – и папа остается приверженцем традиционных сексуальных отношений, указывая конформистским пальцем на маму.

Вторая глава называется «Деревня». Эпическое, всеохватывающее заглавие, не правда ли? Просто как «Война и мир» (1863-1869) Льва Толстого или «Жизнь» (Une Vie, 1883) Ги де Мопассана. Или – «Деревня» (1910) Ивана Бунина.

Но эта глава и вправду воплощает в себе все представления о деревне, какой она толкуется в «деревенской прозе».

Современный исследователь творчества Успенского Булочкин сравнивает главу «Деревня» с «Одиссеей» («Odysseia», ок. 750 до н. э.) Гомера. На наш взгляд, в таком уподоблении есть некоторое преувеличение, но «Деревня», как бы то ни было, дает для подобного сравнения повод.

Мы видим здесь и путешествие на автобусе из презренного города в премилую деревню; и описание чудной сельской природы («...Ветер дует такой теплый, и комаров нет...»)*; и старичка (типичного представителя деревни и неотъемлемого эпизодического персонажа всякого «деревенского» произведения – этакого столетнего сморчка, который при ближайшем рассмотрении оказывается бойким и очень современным); и появление Шарика – разгильдяя-неудачника, ищущего работенку* («– Возьмите меня к себе жить! – говорит. – Я буду вам дом охранять»)*; и поиски дома с перечислением всех идиллических удобств загородной жизни* («печка там теплая! На полкухни!»; «будка собачья – загляденье!»; «окна большие»; «крыша красная»; «сад с огородом»; «занавесочки на окнах»; «котелки разные на кухне»; «в сарае удочка»)...

Заканчивается «Одиссея»... простите, «Деревня» буколическим отдыхом в найденном доме:

«Потом они поели, радио послушали и спать легли. Очень им в этом доме понравилось».

Аркадия! Истинная Аркадия!

В третьей главе («Новые заботы») возникает ярчайшая реминисценция из Михаила Зощенко.

Вообще детские советские писатели часто пользовались зощенковским стилем, прекрасно осознавая его предельную доступность и перманентную комичность. Но, пожалуй, только Успенский достиг в подобной стилизации «зазощенковских высот» (по выражению Булочкина).

Прочтите, для примеру, следующий фрагмент из обозреваемой главы:

«– Уж больно ты у нас запущенный, – говорит дядя Федор. – Придется тебе отмыться как следует.

– Я бы рад, – отвечает пес, – только мне помощь нужна. Я один не могу. У меня мыло из зубов выскакивает. А без мыла что за мытье! Так, намокание!»

А теперь сравните этот отрывок с куском из рассказа «Баня» (1924) Михаила Зощенко:

«Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое ж мытье? Грех один».

Изящная цитата просто очевидна.

Забегая вперед, отметим еще одну очевидную параллель между романом Успенского и произведениями Зощенко.

В главе девятой («Ваш сын – дядя Фарик») дядя Федор начинает письмо к родителям следующими словами:

«Мои папа и мама!

Я живу хорошо. Просто замечательно».

Неподготовленный читатель, вероятно, не увидит в этих словах ничего, кроме стандартных тривиальностей, долженствующих реалистически воспроизвести стилистику бытовых писем.

Однако глубокомысленный, внимательный реципиент, несомненно, тотчас узнает в приведенных строках аллюзию на третий рассказ цикла «Рассказы о Ленине» (1940) Михаила Зощенко («Рассказ о том, как Ленин учился»), который начинается, между прочим, таким предложением:

«Ленин учился очень хорошо, даже замечательно».

Ну как, эффектно? Читайте Успенского внимательно, он не так прост, как глумливо хочет казаться.

Пародийная успенсковская цитатность, к тому же, Михаилом Зощенко не ограничивается. В тринадцатой главе (которая, между прочим, называется «Шарик меняет профессию» и игриво отсылает, таким образом, к известному фильму Леонида Гайдая) Успенский осмеливается покуситься на одну из самых святых и неприкосновенных фраз-лозунгов, вышитых на знаменах социалистического реализма. Имеется в виду следующая сентенция Антона Чехова из пьесы «Дядя Ваня» (1896):

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

И неважно, что сентенция эта давным-давно вырвана из контекста и что произносит ее сомнительный персонаж (докторишка Астров, который чуть раньше, кстати, изрекает и куда более умную мысль: «Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг»). *В конце концов все культовые для социалистического реализма цитаты грешат лицемернейшей переиначенностью. Важно то, что комедийное искажение таких цитат выглядело ужасным кощунством, и только редкий писатель* «из деревни Антисоветчино» *(Булочкин) мог позволить себе (итак, оцените!) такой вот насмешливый кульбит:*

«У такой собаки все должно быть прекрасно: и душа, и прическа, и кисточка!»

Именно так! Советский гражданин (коему с детства вдалбливают в голову чеховский афоризм) приравнивается к собаке. Аплодисменты ироничнейшему маэстро, с ловкостью фокусника дурачащему советскую цензуру!

Процесс же превращения мужлана Шарика в «гомосексуального щенка» (Булочкин), описанный в этой главе, видимо, используется Успенским с еще одной тайно-диссидентской целью: ввести наконец в советскую литературу полнокровных извращенцев, которыми Запад к тому времени уже объелся, а жители нашей страны до сих пор озадачивались, например, натыкаясь в «Двенадцати стульях» (1928) Ильи Ильфа и Евгения Петрова на такой эпизод:

«Мадемуазель Со́бак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Со́бак, несомненно, была культурной девушкой».

Разыгравшись, Успенский вводит в этой же главе и такой нарциссически-онанистический пассаж:

«Пудель из Шарика получился – хоть сейчас на выставку! Он даже сам себя в зеркале не узнал.

– Что это за штучка такая кудрявенькая? Не собака, а барышня. Так бы и укусил! – говорит Шарик».

В пятой главе («Первая покупка») начинается еще одна тема перверсии. Матроскин покупает корову и называет ее Муркой. Уже одно это служит яростной пародией на всех коров и их хозяев из «деревенской прозы».

И в «деревенской прозе», и в прозе деревенской жизни коровам не дают человеческих имен. Коровам дают коровьи имена: Буренка, Зорька, etc. Нетрудно вообразить себе, какой глум скрывается в том, что успенсковский кот называет свою корову кошачьим именем.

Представьте себе, что некий герой некой «деревенской прозы» (скажем, повести «Овес», или рассказа «Буерак, река и раки», или романа «Несолоно хлебавши», или эпопеи «Жизнь на сене»...) заводит себе корову. Зовут героя, предположим, Василич, а корову он называет, к примеру, Галиной. А если автор к тому же добавит, что Василич – извечный бобыль, мы сразу заподозрим неладное.

Понятно, что в те годы нечего было и мечтать о написании не только skot'оложской деревенской повестушки, но и повестушки с такими простыми слагаемыми, как корова с человеческим именем плюс холостой хозяин.

Но детскому писателю позволено все! – прекрасно знает Успенский. И, право же, чтобы мы прониклись его предерзкой насмешливостью, вовсе не обязательно было дополнять зоофильскую тему Мурки такими добавочными аккордами, как, например, в 14-й главе («Приезд профессора Виталия Семина»):

«Приходит дядя Федор однажды в дом и видит: стоит Матроскин перед зеркалом и усы красит. Дядя Федор спрашивает:

– Что это с тобой, кот? Влюбился ты, что ли?

Кот как засмеется:

– Вот еще! Стану я **глупостями заниматься!** *(выделено мною. – М.)»*

И действительно: зачем серьезному коту (читай: колхознику) такие глупости, как традиционный секс и связанные с ним непрактичные расходы? Для банальной физической потребности и корова завсегда сгодится...

На этой отвратительно тошнотворной ноте (и зачем я высасываю из пальца, будто из собственного члена, все эти gad'ости?) мне, прямо как Даниилу Хармсу в финале «Старухи» (1939), совершенно расхотелось заканчивать эту волшебную монографию. Очень жаль только, что не придется попотчевать вас больше перлами изумительного Булочкина.

12. Незнакомец естественнейшим образом забыл обо всем на свете (клюнул!)

Мерзкий экивок и на еще одну мою нетленно-велико-образцовую монографию – «Фильмы Леонида Гайдая как латентно-диссидентская официальная советская культура».

Фраза, безусловно, отсылает к бульварной совковой кинокомедии «Бриллиантовая рука», которую я подробно разбираю в своей монографии. Сначала персонаж этой кинокомедии Лелик произносит следующую реплику, обращаясь к персонажу Геше: «*Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете*». А потом и Геша, обращаясь к Сене, говорит: *«Если я не ошибаюсь, то здесь будет такой клев, что ты забудешь все на свете»*. Как видишь, подслеповатый читатель, неуклюжее цитирование налицо. Но мне, королю текстологии, это все – проще, чем всем (недаром я работал в НИИ БАЦЦА).

Опять-таки не хочется быть голословным, так что и эту монографию я целиком и полностью приведу прямо здесь и прямо сейчас (ведь и она тоже, как это ни парадоксально, после УСК не переиздавалась):

Фильмы Леонида Гайдая
как латентно-диссидентская официальная советская культура

Леонид Гайдай – настоящий феномен. Этот советский режиссер в течение десятилетия снял ряд великолепных, непревзойденных никем в мире кинокомедий. В период с 1965 по 1973 год из-под его камеры вышло пять абсолютных шедевров мирового кинематографа: «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»; «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; «Бриллиантовая рука»; «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Не все, однако, зрители внимательны к картинам Гайдая настолько, чтобы видеть в них второй, третий, четвертый и десятый смысловой план. Но следует помнить, что без многоплановости истинно выдающихся произведений искусства не бывает.

Мы остановимся лишь на одной из таких подтекстовых (подкадровых) областей гайдаевского

творчества. Речь идет о латентно-диссидентском наполнении каждой картины режиссера. Гайдай как образованнейший и прогрессивный человек своего времени не мог не сочувствовать антитоталитарным, антисоветским настроениям. Свою миссию он, видимо, видел в том, чтобы со всем талантом комедиографа украсить официальную культуру диссидентскими намеками и скрытыми насмешками над советской властью.

Разберем же наиболее известные работы Леонида Гайдая именно с этой точки зрения.

1. «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» («Напарник») (1965)

Киноновелла «Напарник» – это художественный результат «оттепельных» надежд интеллигенции. Нельзя не заметить бросающуюся в глаза аллегорию, на которой построена эта короткометражка: борьба Шурика-Хрущева и Верзилы-Сталина.

Роль Верзилы не случайно досталась добродушному Алексею Смирнову (хотя вначале ее планировали доверить угрюмому Михаилу Пуговкину). Внешнее обаяние Смирнова напоминает того симпатичного усача Сталина, который глядел на свой народ с портретов и киноэкранов.

Александр Демьяненко же воплощает собой этакого облагороженного интеллектом Никиту Сергеевича, который путем первоначальных уступок и закулисных манипуляций приходит-таки к развенчанию культа личности, олицетворением чего служит в фильме сцена с BDSM-поркой Верзилы.

Плоский и грубый юмор Верзилы отчетливо напоминает о несносном неостроумии г-на Сталина. В книге Бориса Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» (1930) читаем:

«Ничего остроумного Сталин никогда не говорит. За все годы работы с ним я только один раз слышал, как он пытался сострить. Это было так. Товстуха и я, мы стоим и разговариваем в кабинете Мехлиса – Каннера. Выходит из своего кабинета Сталин. Вид у него чрезвычайно важный и торжественный; к тому же он подымает палец правой руки. Мы умолкаем в ожидании чего-то очень важного. "Товстуха, – говорит Сталин, – у моей матери козел был – точь-в-точь как ты; только без пенсне ходил". После чего он поворачивается и уходит к себе в кабинет. Товстуха подобострастно хихикает».

Как тут не вспомнить dub'овые Верзилины хохмы из серии «Кто не работает, тот ест» *или его безвкусные пинки, достающиеся Шурику, когда тот в поте лица трудится на благо стройки (читай: Родины)!*

Восстановим же эту замечательную киноновеллу в памяти с самого начала и во всех подробностях.

«Если я встану, ты у меня ляжешь»; «У вас несчастные случаи на стройке были? Будут!»; «Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь» – *все эти фразы отдают самомнением, самодурством и маниакальностью Сталина, следствием которых явились губительные репрессии. Такой значительный художник, как Гайдай, разумеется, не мог не откликнуться на постыдное прошлое дерзким памфлетом.*

«А она что – дети или инвалиды?» – *в этой гнусно-софистической реплике так и слышится грузинский акцент усатого mrakobes'a.*

Вспомним сцену в автобусе. «А я готовлюсь стать отцом», – *произносит Верзила. «...Отцом народов», – заканчивает про себя понимающий зритель. Мы помним, что стройка в этой киноновелле суть сжатый в басню СССР. Коварные планы Сталина, как известно, зародились в его низколобой голове задолго до того, как он пришел к власти. Историческая продуманность «Напарника» восхитительна.*

Изумительная гайдаевская стилизация под фильмы о Великой Отечественной войне в одной из сцен погони тоже здесь не случайна. Известно, что Сталин в ВОВ либо отлеживался в Кремле, либо продолжал заниматься политическими устранениями. Хрущев, как и Шурик в «Напарнике», чудом выжил в обеих войнах – и в народной, и во «внутрицеховой». Здесь не место останавливаться на всем многообразии гайдаевского мира (глубина смыслов и кадров, ювелирная обработка каждой

реплики, удивительный монтаж и «клиповые» съемки под виртуозную зацепинскую музыку), но отметим, что режиссер строит большую часть сцен как минимум в двояком плане: в сатирически-историческом и в пародирующем клишированные жанры соцреализма.

Эпизод с одной туфлей, которую Шурик оставил Верзиле, когда украл у него одежду, дает понять, что Гайдай как истый диссидент хорошо был знаком с запрещенной в СССР литературой. Ибо в точно такой же ситуации оказался Годунов-Чердынцев в пятой главе романа Владимира Набокова «Дар» (1937):

«Облако забрало солнце, лес поплыл и постепенно потух. Федор Константинович направился в чащу, где оставил одежду. В ямке под кустом, всегда так услужливо укрывавшей ее, он теперь нашел только одну туфлю: все остальное – плед, рубашка, штаны, – исчезло. Есть рассказ о том, как пассажир, нечаянно выронивший из вагонного окна перчатку, немедленно выбросил вторую, чтобы по крайней мере у нашедшего оказалась пара. В данном случае похититель поступил наоборот: туфли, вероятно, ему не годились, да и резина на подошвах была в дырках, но, чтоб пошутить над своей жертвой, он пару разобщил. В туфле, кроме того, был оставлен клочок газеты с карандашной надписью: “Vielen Dank”».

Тема одной туфли продолжится и в «Кавказской пленнице» (см. ниже).

Финал «Напарника» – это, как уже сказано, едва завуалированный XX съезд КПСС. В романе Владимира Сорокина «Голубое сало» (1999) этот мотив преломляется в сцене полового акта Хрущева и Сталина, где активную роль доминанта играет Хрущев. Вне всякого сомнения, на создание этого эпизода писателя вдохновил гайдаевский фильм.

2. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

Фильм посвящен антисталинизму, поэтому действие разворачивается на Кавказе, родине Джугашвили. Помимо ехидного глумления над Сталиным (пародийный образ которого – Саахов), в кинокартине есть и масса других малополиткорректных замечаний (например, «Между прочим, в соседнем районе жених украл члена Партии»*).*

«Так выпьем же за кибернетику!» – *провозглашается в одном из тостов, вошедших в фильм. Гайдай не упускает возможности подчеркнуть преимущества своего времени – 1960-х – перед сталинским, когда исследователи столь важных областей науки, как кибернетика и генетика, преследовались и уничтожались.*

Демагогическая, скудно-банальная афористичность Саахова («Об этом думать никому не рано и никогда не поздно», «Мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью», «Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь») *напоминает о неустанном клонировании общих мест и прописных истин, которым занимались Ленин, Сталин и вся остальная революционная гоп-компания. Отвратительная похотливость Саахова напоминает, кроме того, и о Берия.*

«Иди, придурок», – *обращается Балбес к Трусу в сцене с потерянной денежной купюрой. Казалось бы, стандартная народная грубость. Но мы с Гайдаем уже знаем из самиздата весь лагерный быт и помним, что придурками на зоне называют зэков, обслуживающих место лишения свободы и не попадающих на общие работы. Трус – несомненный придурок в миниатюрно-уголовном мирке знаменитой троицы. Так, даже любимцам публики и бесхитростным будто бы клоунам Гайдай доверяет совсем не веселые реплики.*

Психиатрическая больница, куда помещают Шурика, – явная аллюзия на ГУЛАГ и предвосхищение семидесятнической расправы с диссидентами.

Возмездие Саахову (которого Сталин в оригинале так и не дождался) снято по всем законам хичкоковского триллера. Тщательная продуманность подобных сцен вызывает благоговение и заставляет искренне недоумевать при просмотре поверхностных картин позднего Гайдая, таких как «За спичками» (1980) или «Опасно для жизни!» (1985). Режиссер не устает подтрунивать над «высокими» киножанрами, как бы мстя за то, что в 1960 году ему пришлось снять заказной революционный лубок «Трижды воскресший». «Ошибки надо не признавать, – *патетически возвещает*

в этой сцене Нина. – Их надо смывать. Кровью». *Такую фразу мог бы сказать и Ленин в первые годы революции, и Сталин в годы своего глобально-домашнего террора, и бесчисленные высосанные из пальца герои прокоммунистических киноэпопей. Глум над банальщиной не столь скрыт в гайдаевских фильмах, как антитоталитарные настроения, но, к сожалению, и его иной зритель часто не распознает, видя в «Кавказской пленнице» и прочих шедеврах Леонида Иовича всего лишь эксцентрические безделушки без претензий.*

3. «Бриллиантовая рука» (1969)

Самый эклектичный фильм Гайдая, в котором так или иначе спародирована вся популярная культура 1960-х и ортодоксальное наследие советского прошлого. Мы же остановимся именно на диссидентских интенциях режиссера, которые и здесь с успехом не были замечены цензурой. Парадокс в том, что цензоры ловили Гайдая не на очевидных политических шутках, а на абсурдных (как аукнулись у Гайдая обэриуты, театр абсурда и зарождающийся именно тогда постмодернизм – эта тема, как говорится, еще ждет своего исследователя). Так, дичайшую в своей нелепости хохму, которую должна была произнести героиня Нонны Мордюковой: «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу», – забраковали, заподозрив в ней какой-то негожий пассаж в сторону еврейского вопроса. «Синагогу» посему заменили на тривиальную «любовницу». При этом совершенно антисоветские выпады сразу замечены не были. Табу на исполнение «Песни про зайцев» запоздало наложили только через несколько лет после успеха картины. Запрещать «Остров невезения» было бы, конечно, несусветной уж глупостью, ибо эта песенка стала визитной карточкой легендарного гиперкумира советского народа Андрея Миронова. Тем не менее, стоит лишь едва вслушаться в дербеневские строки этого шлягера – и ты поражаешься: как советская власть допускала наличие такой глумливейшей пародии на всю недолгую историю СССР? К сожалению, из изумительной реплики Лелика: «Как говорит наш дорогой шеф: "В нашем деле главное – этот самый социалистический реализм"» вырезали-таки слово «социалистический», превратив очередную тонкую шутку в предельно простенькую. Но не поддавшиеся цензуре экивоки в фильме все-таки остались, что мы сейчас и докажем.

В самом же начале картины возникает упоительный пример антибрежневской травестии – троекратный прощальный поцелуй Лелика и Геши. Намек на эту отвратительную, негигиеничную, полугомосексуальную привычку тогдашней номенклатуры просто бросается в глаза.

Все сцены с Милицанерами исполнены насмешливо-фальшивого подобострастия. Милицанеры – те низовые представители власти, издевка над которыми еще возможна в СССР (пусть и в такой приподнятой форме). Милицанеры в «Бриллиантовой руке» читают мысли (причем, чем старше Милицанер по званию, тем больше у него развит этот талант); произносят напыщенные нравоучения («Я думаю, Семен Семеныч, каждый человек способен на многое. Но к сожалению, не каждый знает, на что он способен»); *с легкостью создают собственного клона, если «так надо»; определяют марку духов, едва понюхав записку от Анны Сергеевны; обладают просто джеймсбондовскими гаджетами (рация в виде пачки сигарет); умеют готовить яичницу с той же деловитостью, как при ловле бандитов (не забыв облачиться в кухонный фартук, аки в форму), etc.*

Стоит упомянуть и достижения Гайдая в области пародийной стилизации. Поистине жуткая сцена с летающей рукой апеллирует к единственному на то время советскому фильму ужасов – «Вий» (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачева, где героя точно так же преследовал летающий гроб. Экшн-сцены (рыбалка, финальная погоня) фильма являлись чуть ли не беспрецедентным отечественным ответом на заезжее кино, такое как бешено популярный французский «Фантомас» («Fantomas», 1964) Андре Юнебеля. Сцена с идущим по воде мальчиком относится к излюбленному Гайдаем антицерковному юмору и решена совершенно в стилистике «Андрея Рублева» (1966) Андрея Тарковского. Со вкусом снят единственный, пожалуй, прецедент стриптиза в доперестроечном отечественном кино, особенно учитывая, что в качестве советской Софи Лорен нам преподносится страшноватая Светлана Светличная (максимум «эротического» шика, доступного жителю СССР).

С пространным эпизодом в ресторане «Плакучая ива» в картину вступает лагерная тематика. «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына в 1969 году был уже закончен, и Гайдай явно читал его к моменту съемок фильма (так же, несомненно, как и «Колымские рассказы» (1954-1973) Варлама Шаламова).

«Шеф дает нам возможность реабилитироваться», – *произносит Лелик в преамбуле к этому эпизоду, подтверждая, таким образом, догадки вдумчивых зрителей, что прототипом Шефа является Хрущев. На это указывают почти все сцены с участием Шефа: в самом начале фильма мы видим, как Шеф занимается сельским хозяйством; по ходу действия обнаруживается и то, насколько Шеф не похож на привычных бандитов (читай: советских вождей) – он прост, скромен, ездит всего-навсего на «Москвиче» и с легкостью предоставляет своим подопечным (читай: своему народу; между строк читай и между кадров видь: узникам сталинских лагерей) возможность реабилитации (читай: вкупе с амнистией).*

В этой же преамбуле с начертанием гротескного плана гротескной операции «Дичь» мы обнаруживаем блестящую противокоммунистическую суггестию (своего рода акустический «25-й кадр») в следующем диалоге:

Л е л и к. «Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами: “Сеня я жду тебя за столиком!” быстренько возвращаешься на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки, а дальше вопрос техники».

Г е ш а. «Лелик, я вот только боюсь, как его довести до **коммундиции** *(выделено мною. – М.)*, – он малопьющий!»

Бессмысленный, по сути, но какой-то имманентно язвительный каламбур «коммундиция», разумеется, не был бы пропущен цензорами, если бы они смотрели фильм внимательно и расслышали бы это якобы невольное искажение. В этом окказионализме («коммунизм» + «кондиция») есть что-то ужасно оскорбительное для коммунизма; возникает даже ассоциация со словом «муде» или «мудаки» (которыми Гайдай, безусловно, считал всех партийцев), двойное «м» только усиливает латентную грубоватость сочетания («мму-(н)-ди... ция»).

Антисталинские настроения всплывут с появлением Евгения Николаевича Лодыжинского и его будто бы абсурдного вопроса: «Ты зачем усы сбрил, дурик?» *Это явная отсылка к известному анекдоту о Сталине («Сбрить усы, а потом – расстрелять!»). Нет нужды говорить, что Юрий Никулин совсем не похож на Сталина и что усатый Никулин немыслим сам по себе. От вдумчивого зрителя не укроется эта очевидная параллель: «усы» и «Сталин» неразлучны так же, как «брови» и «Брежнев» (обратите внимание даже на аллитерацию: «с-с» в первой паре и «бр-бр» во второй).*

Прекрасно наивное замечание Лодыжинского: «Будете у нас на Колыме – милости просим!» *в комментариях не нуждается.*

К сожалению, после сцены в ресторане в фильме почти не остается диалогов, Гайдай увлекается экшном, и антикоммунистическое наполнение несколько распыляется в пространстве, чтобы в последующие годы вновь собраться в мощные диссидентские облака (в картинах «12 стульев» (1971) и «Иван Васильевич меняет профессию»).

4. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

«Иван Васильевич меняет профессию» – несомненно, лучший фильм Гайдая, а также лучший фильм советского (а возможно, и мирового) кинематографа.

И это при том, что особых предпосылок для такого грандиозного успеха, казалось бы, не было. Фильм снят по добротной, но не слишком выдающейся пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1935). В картине не занят ни один актер высочайшего класса. Юрий Яковлев – прекрасный артист, но в первый ряд гениальнейших советских актеров (Ролан Быков, Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский) он все же не входит. Леонид Куравлев, казалось бы, – далеко не Андрей Миронов.

Исполнители остальных ролей милы, но они явно второстепенные актеры (Михаил Пуговкин, Владимир Этуш, Сергей Филиппов, Александр Демьяненко, Наталья Селезнева). Исключение, пожалуй, составляет лишь Савелий Крамаров – всегда органичный, действительно выдающийся мастер. Однако в нашем кино он, к сожалению, занял место вечного исполнителя колоритных, но эпизодических ролей (данная картина – не исключение; никто так и не снял Крамарова в главной роли, а ведь одно это уже сделало бы из любого проекта шедевр).

Мы имеем дело, таким образом, с неслыханнейшим парадоксом: лучший фильм всех времен и народов снят по скромному и практически никому не известному произведению; в нем не задействовано ни одного титанического актера; он снят талантливым, но неровным (см. его позднейшие работы) режиссером. Тема эта увлекательна сама по себе, однако сегодня мы лишь разбираем те непременные для Гайдая диссидентские интенции, в обилии вкрапленные и в эту кинокартину.

Начнем с того, что режиссер вставляет в картину упоминания о таких советских реалиях, о которых не принято говорить официально. Но такие реалии имеются, и у цензуры нет повода придираться к их воплощению на экране. В фильме звучат запрещенные песни Владимира Высоцкого и Юрия Никулина (записи которых, при всей запрещенности, имелись у каждого владельца магнитофона); открыто говорится, что купить стоящую вещь возможно только у спекулянта (при этом всецело положительному Шурику невольно приходится дурачить idiot'ского Милицанера). Милицанеры, ко всему, настолько подлы, что поступают как последние грабители: стучат, а сами прячутся за дверью. Короче говоря, Гайдай чуть ли не открытым текстом говорит: в этой стране жить нельзя.

Заканчивая тему Милицанеров, следует вспомнить классическую для Гайдая поддевку презренной милиции. Апофеозом милицанерского унижения в этой картине стала чисто гайдаевская (у Булгакова ее не было) реплика Шпака: «Собака с милицией обещала прийти».

Под Иваном Грозным, несомненно, подразумевается Сталин (известный месседж 1930-х: говорим «Иван IV» и «Петр I» – подразумеваем Грозного и Великого Иосифа Первого). Это имел в виду еще Булгаков. В образ Бунши же Гайдай вложил современный смысл: маразматичный управдом – это, естественно, Брежнев.

Конечно, гайдаевские диалоги от булгаковских почти не отличаются. Но 1970-е годы волей-неволей вносят свои коррективы в диалоги 1930-х. Такие имбецильные реплики Бунши, как «Это приятель Антона Семеновича Шпака» *или* «Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь!» *у Булгакова свидетельствуют лишь об управдомском tup'оумии. У Гайдая же они свидетельствуют прежде всего о брежневском tup'оумии с его несносными оговорками (он мог начать выступление словом «Господа!» вместо «Товарищи!» и много еще чего мог). Подробнее на эту тему смотрите рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Менар, автор "Дон Кихота"» («Pierre Menard, autor del Quijote», 1939), который Гайдай, безусловно, читал.*

Обратите внимание на серьезнейшую режиссерскую правку некоторых моментов булгаковской пьесы. Так, в пьесе отдать шведам Кемскую волость запросто соглашался именно Милославский. Гайдаю же важно показать, что в СССР даже вор заботится о государственных интересах больше, нежели вожди. В чудовищной легкомысленности Бунши («Да пусть забирают на здоровье!»*) нетрудно увидеть намек на еще одного верховодящего деятеля – деревенского дурачка Хрущева, подарившего Украине Крым.*

Как всегда, Гайдай потешается над самым святым (не обязательно религиозным). В частности, пошлейший кинорежиссер Якин одной из своих пассий говорит на прощание следующее:

«Жди меня, и я вернусь».

Этой фразой Гайдай убивает сразу двух совковых зайцев: ловко травестирует навязшую в зубах пропаганду ВОВ и поддевает известного литературного карьериста Константина Симонова. Вместо фронтового пафоса и выспреннего любовного томления журналиста Кости (точнее, Кирюши) – похотливая циничность напыщенного и трусливого филистера Якина. Кажется, эта пародийная цитата – одна из самых жестоких в советском кинематографе. Давайте представим себе, как бы в полном виде выглядело стихотворение «Жди меня» (1941) в интерпретации достославного сукина сына Якина. Например, вот как:

Жди меня, и я вернусь.
Кинорежиссера!
Полетим мы в Гагры. Грусть
Оставишь для другого.
Жди меня, и я вернусь,
И желай добра
Всем, кто знает наизусть
Роль свою, ха-ха!
Жди меня, и я вернусь,
Всем царям назло.
А не ждешь меня –
Катись! В кино не повезло.
Не понять не ждавшим мя,
Что я за талант!
Профессио́н де фуа,
Я – роскошный франт!

Люблю заканчивать романы и монографии стихами. Спасибо за внимание, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir, короче говоря, ciao!

13. ...прекрасная Гретхен...

А вот этого я мерзавцу-пасквилянцу никогда не прощу. Пришла пора, преуспевший в филистерстве читатель, узнать тебе, насколько я благороден, отзывчив и любвеобилен (даром что мизантроп). Ведь меня, если честно, совершенно не заботит стариздатовская моська, набрасывающаяся на меня – слона – со своей смешной писклявостью и игрушечными зубками. Затеял-то я сие разоблачение мудацкой книжки мудака вовсе ведь не ради себя. Ради (сейчас впервые священное имя произнесу; затаи дыхание и упади на колени, сявка-читатель) М... М... Прям-м-м не м-м-могу... МАРГАРИТЫ МОЕЙ!!!!!!

Как смел презренный автор своим паскудным слогом прекрасную Ритулю здесь упомянуть?! Нет, это не прощается. Такое не прощается. Я должен буду автору всю голову свернуть. Марго моя любимая, неистово желанная, прелестненькая Риточка... я просто не могу!.. Подлец ведь этот авторчик, подлец ведь этот gnus'ненький. Но знай, Ритусик, знай же – его я накажу! Я уничтожу автора его же gad'ким пасквилем, я автора как gad'ину ногою растопчу. И ты, моя нежнейшая, и ты, моя роскошная, гордиться будешь мною всегда, всегда, всегда!..

II

Гордыня

Я вроде Овидиевой блохи, я могу забираться в любые местечки к женщине: то, как парик, я облегаю ее чело, то, как веер с перьями, я целую ее губы – истинная правда! Чего только я не делаю!

Марло. «Трагическая история доктора Фауста» (перевод Н. Амосовой)

Doctor Marianus
Возвеститель почитания богоматери
(в высочайшей чистейшей келье)
Слабых женщин скользок путь,

Где найти спасенье?
Как самим им разомкнуть
Цепи искушенья?
Как не поскользнуться им
На дороге вязкой?
Нежный взгляд неотразим,
Манят лесть и ласка
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Бледна – сравнится с ней жасмина только ветка;
Черна до ужаса – прелестная брюнетка;
Худа – так никого нет легче и стройней;
Толста – величие осанки видно в ней;
Мала, как карлица, – то маленькое чудо;
Громадина – судьбы премилая причуда;
Неряха, женских чар и вкуса лишена –
Небрежной прелести красавица полна;
Будь хитрой – редкий ум, будь дурой – ангел кроткий;
Будь нестерпимою болтливою трещоткой –
Дар красноречия; молчи как пень всегда –
Стыдлива, и скромна, и девственно горда
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

В е д ь м а
(приплясывая)
Я просто обворожена,
Вас видя, душка-сатана!
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Я – влюбленный.

Да, бесчувственный читатель, это так. И богам случается влюбляться.

Рассказываю в подробностях (ты ведь любишь подробности, заядлый дрочун).

Первый сингл группы «Фауст и пацаны» под названием «Никогда не разговаривайте с неизвестными», как ты, читатель-фанат, превосходно знаешь, произвел колоссальный фурор. Группе тут же предложили масштабное стадионное выступление в столице, и мне с моими подопечными пришлось остановиться в первом столичном отеле (за ними глаз да глаз нужен – пьяницы, наркоманы, извращенцы, дебоширы; рок-н-ролльные милашки, одним словом).

Мой личный номер в моем личном отеле. Ночь. Почиваю (тсс, божество спит).

Отчетливо злокозненный стук в дверь.

Я злой, как армада авангардных адовых чертей, бросаюсь к двери. А там...

Ах, читатель, ты ж обыватель, что толку рассказывать тебе о красоте, тем более о вечной женственности?..

Поначалу (там еще, внизу, когда я мотался с этими провинциалами по матушке-столице) я даже не удостоил ее своим гениальным взглядом. Девчушка как девчушка. Провинциальная шлюшка. Что еще ожидать от грязного оборвыша из глубинки (твоего теперь dermo'вого кумира, читатель-придурков-обожатель).

Но вот теперь... Она стоит... Здесь... Во всей своей ненаглядности... Меня как пронзило... Как

я раньше... Не заметил... Это ж просто... Невообразимо... И она до сих пор... Ни разу... Не удостоилась... Моей божественной ласки... Не познала мою... Исполинскую мужскую силу... Силу Геракла... И Зевса... Как это... Возможно...

– Здрасьте, – сказала она. – Можно к вам?

– Тебе можно все, – уверенно ответил я, первый раз в жизни нисколько не покривив душой, произнося эту эффектную фразу.

Она вошла. Вплыла, разинувший рот читатель. Впорхнула. Озарив мой номер сиянием. Сиянием почти равным моему собственному.

Я надавил на выключатель, дабы увидеть наконец эту красу во всей ее красе. Увидеть взором прозревшего.

Щелк! Вспышка. Ее резкое – «Не надо!» Щелк! И снова. Сумерки.

Но я успел разглядеть ее несравненные, увы, заплаканные глаза.

Да, бессердечный читатель, – она плакала. Как? Кто посмел? Кого деструктировать со всей возможной жестокостью?.. Пустые вопросы. Я знал виновника, и не мог его раздавить, ибо контракт уже подписан.

Я пробурчал что-то невнятно-утешительное (но наверняка гениальное).

Тогда прекрасное создание не выдержало этой чрезмерно затянувшейся, несоприкасаемой со мной паузы (это в моем-то присутствии!) и кинулось в мои объятья. Всхлипывая и орошая мою грудь пронзительными слезами, она пыталась что-то объяснить. Не надо! К чему? Все ясно, как то, что я гений. Грязные животные... Пьянка... Богиня, по недоразумению затесавшаяся в ряды плебса... Я... Мой располагающий облик... Все плохое позади... Богиня отыскала своего Бога...

Я гладил ее пристрастно-страстными ладонями по спине. Опускаясь все ниже. На ней была короткая плиссированная юбочка. Я проскользнул с хвостика-копчика под эту юбочку и одновременно – под трусики. Божественные ягодицы перекатывались под моими дланями как яблочки на сказочных блюдечках, отутюживались мною как нежнейший шелк. Слегка проникнуть внутрь? Проверить, насколько она распалена? Нет, рано. Но тут моя королева совершила неожиданный шажок в пропасть того, чего я ранее остерегался. Она с легкостью прокралась самыми шаловливыми в мире ручками под мои пижамные штаны, добившись таким образом очаровательной синхронности с гением. И тут же зашла так далеко, что любые ОМИ на ее месте немедленно полетели бы в окно. А именно – зашла в меня. Своим когтистым пальчиком. В анус. Глубоко. «Без мыла лезет, егоза», – мелькнуло в голове.

Она как будто прочитала мои мысли.

– Ничего, что я без любриканта? – прошептала садистической флейтой и резко повернула пальчик как-то так, что я издал невольный стон и еле удержался, чтоб не осквернить преждевременным излиянием страсти свою пижаму и ее животик.

Самое смешное, что я все еще не смел ответить ей тем же и поглаживал ее задик эльфийски-осторожными прикосновениями. Она приподнялась и лизнула меня в глаз. Я сделал шаг вперед и уронил ее на кровать. Она со свирепостью тигрицы надавила на мою голову руками и отпихнула меня к своим ножкам. Я с удовольствием протерся лицом об ее тело.

– Начни снизу, – приказала она.

Черт его знает, что со мной случилось, но с этой крошкой я был готов на какую угодно случку. Я аккуратно обмакнул в свои уста каждый ее пальчик на ноге, поочередно. Провел языком по левой подошве, отчего она захихикала и двинула мне пяткой в нос. Далее решил сфорсировать. Метеором вонзил свое лицо между ее ног. С ловкостью наученной собаки содрал зубами трусики, не повредив их. Припал к горячему лону. Изобразил пылесос. Девочка одобрительно барабанила пятками по моей спине и не смела пискнуть – настолько, видно, велико было удовольствие. Секунд шестьдесят – и она уже взвилась дугой. Хорошо, что схватилась за спинку кровати, иначе я бы слетел долу...

– Теперь любое твое желание, – выдохнула она, остывая.

Тогда я выпалил совсем уж фантастическую для меня фразу:

– Укуси меня в простату!

– Я обойдусь без членовредительства, – усмехнулась она.

Взлетела ласточкой, опрокинув меня навзничь. Безжалостно стянула штаны вместе с трусами. Обхватила пружинистыми губами самое острие моего копья и заклацала ими с безудержностью террористки. Я, к несчастью, очень быстро разрядился. Она поползла к изголовью. Заглянула мне в глаза. Облизнула осквернённые губы.

– Как жаль, милая, – предупредительно заметил я, – что я не могу тебя сейчас поцеловать.

– Ах да, ты ведь тоже... – смутилась она. – Пойдем-ка почистим зубы на сон грядущий.

Мы пронырнули в ванную. Воспользовались одной щеткой. Вульгарнейшим образом измазались пастой.

– В душ? – кивнула она на змеевидного монстра, возвышающегося над бассейноподобной посудиной.

– Чуть позже, – схватил я ее на руки. – Суррогату – час, традициям – время.

Откинул скверно смявшееся одеяло. Бросил ее на белоснежные простыни. Она безупречной вертикалью вытянула ноги к потолку (идеальный ход конем). Я вскочил в эту сидячую позицию, создав геометрическую симметрию (упавшая на правый бок буква V). Закончили так же симметрично. Упал, вдавив ее как в песок. Еще задыхаясь, мы присосались ртами друг к другу так истово, будто хотели один другого пожрать.

Она не выдержала первая и со звуком вантуза отклеилась от меня.

– Отдохнем, выпьем чего-нибудь, – попыталась вскочить она на ноги.

– Куда ты, девочка? – задержал я ее, схватив свободной рукой волшебный пульт управления со столика.

Легкое нажатие клавиши – и с потолка к кровати плавно слетает платформа чудо-бара с напитками, конфектами, компьютером и книжной полкой.

Я налил ей джину.

– Какой канал смотришь? – возложил я персты на клавиатуру.

– Давай лучше книжечки почитаем, – хихикнула она.

Ты тоже словесница, моя прелесть? Как мило.

– Здесь ерунда, – махнул я рукой. – Не знаю как ты, а я от сексоцентризма не в восторге. Эта область – прерогатива практики, а не теории.

– И вправду, – согласилась она. – Они такие глупые, все эти книжки. И от этого смешные иногда.

Она схватила брошюру «Загадки». Нью-фольклор, дешевый фальшивый бред. Отголоски СК не устают раздражать меня своей изуродованностью.

– Два конца, два кольца, а посередине гвоздик, – пропела она хрустальным голоском.

– Не знаю, – улыбнулся я. Мне хотелось просто смотреть на нее.

– Две парочки трахаются на дощатом полу, а между ними выпирает неудачно вбитый гвоздь, – засмеялась она, читая эту idiot'скую отгадку.

Это остроумно, неостроумный читатель? Ведь это пишется для тебя. Гвозди бы делать из авторов такой ереси.

– Не лает, не кусает, а в дом не пускает, – продолжала она.

Я равнодушно промычал: дескать, мне все равно.

– Женщина в период месячных, – продиктовала она, назидательно смотря на меня.

– Неудачно притянуто, – заметил я. – Ведь на самом деле еще как лает и кусает. Хотя «дом» – это любопытный эвфемизм.

– Без рук, без топора построена изба, – и, уже не задерживаясь, ответ: – Живот беременной женщины.

Чем дальше, тем площе.

– Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня.

Ну это и так ясно. Интересно, как там написали ответ. Я лениво спросил:

– Что это?

– Эрегированный член.

Какая педантичность – эрегированный. «Не трогайте меня» – так, по сути, должен предупреждать еще неэрегированный член.

– Бусы хрустальные по траве рассыпаны. Это «секреция кончившей женщины на лобке».

Я так и думал.

– Жидко, а не вода, бело, а не снег.

Я не вытерпел и, презрительно схватившись за книжонку двумя пальцами, отшвырнул ее прочь.

Конфетка дожевала конфекту и прильнула ко мне.

– Как тебя зовут, милая? – пил своими глазами ее глаза.

– Маргарита, – не моргая, отвечала она.

Я попытался всосать в себя ее ладошку. Она жестоко залезла мне в пупок самым заостренным ногтем.

Я ласково, губасто-зубасто теребил ее грудь... Она выдергивала волоски на моей... Я слизнул капельку пота с ее гладкой, как навощенный, пол подмышки... Она забралась язычком мне в ухо, соскоблила оттуда кусочек акустики... Я, приподняв ее за руки, прижал к себе и вошел в нее... Она толкнула меня на спину...

(Ты подрочил, читатель? Хочу сообщить тебе, что это была последняя эротическая сцена в этой книге (будет еще небольшой эпизод в комментарии 56, но там – всего лишь миниатюрная литературная цитата).

Но я имею в виду консервативные гетеросексуальные сцены. А ты у нас вроде как фанатик перверсий. Что ж, тогда для тебя все не так плохо – гомосексуализм, некрофилия и зоофилия ждут тебя (и твоего бегства к унитазу) на последующих страницах.)

Еще через пару часов нас выбросило в мертвецкий сон. Я успел осознать, что она слиплась с моим боком и закинула на меня ногу.

Утром я проснулся один. Такой финал тоже был у меня впервые, как и все, происшедшее этой ночью.

В номере Маргаритиного gnus'ного бывшего ее, разумеется, тоже не было.

– У него, ротозея-фронтмена, и узнаю телефончик, – расслабился я.

И сел писать текст второго сингла. Вот он:

Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем
(Все так и было – это шуток кроме)
Шаркающей кавалерийской походкой
(Прыгучей, неистовой, клоунской, легкой)
Ранним утром четырнадцатого числа
(Право, нет труднее стихов ремесла)
Весеннего месяца нисана
(Нирвана, чуваки; это не песня, а нирвана!)
В крытую колоннаду между двумя крыльями дворца
(Это чьего же дворца? Какого ж молодца?)
Ирода Великого
(Злодея превеликого)
Вышел прокуратор Иудеи
(Почти прокурор, твою мать, а это хуже гонореи!)
Понтий Пилат,
Chudila и хват.
К нему привели обвиняемого

(Давай, обвиняемый, со всей силы в ухо дай ему!)
«Имя?» – сказал мудила-прокуратор.
«Иешуа», – сказал парень (дайте ему адвоката!)
«Ты тут, ишак Иешуа, про истину базарил,
Я на тебя ваще смотрю удивленными глазами!
Какая на fig истина, че за govno?
(Яду мне, яду, и больше ничего!)»
«Истина, Понтий дорогой, не понтуйся,
Истина в том, что у тебя почти контузия,
Голова болит, топор или яд
Как средства мерещатся тебе, кровожадный gad,
Сучка-собачка твоя где-то ходит,
Боль твоя, сука, никак не проходит,
Но мученья щас кончатся, голова пройдет –
Это для меня как не fig делать... Ну вот!»
«Ой, спасибо, парень, голова прошла,
Но ты про власть говорил нехорошие слова,
А потому тебе – смертный приговор,
Увести его! Сюда, дневной дозор!»
Паренька увели – такая mura,
Было около десяти часов утра.

Current mood: ecstatic (и, кстати, такое у меня не впервые)
Current music: Валерий Леонтьев – «Маргарита» (ненаглядное ретро, вспоминаю и трепещу)

3

Вигилия третья

На время украденный мной документ. – О ужасный документ... – Продайте мне душу. – Недостойный сын великой разоренной Германии. – Черт! – Продайте же душу, милый, милый... – Какого беса вы оперируете мою душеньку без наркоза? – Поставьте автограф. Кровью, bitte. – Сойдет ли бедолага с ума? – Избави нас от лукаваго.

С тяжелым чувством берусь я за перо, переписывая на время украденный мной документ доктора Фаустуса. О ужасный документ, проливающий свет на ужасную тайну ужасного (как оказалось) незнакомца.

Итак, я переписываю; боюсь, что и без отдаленных взрывов, сотрясающих мою келью, у меня не раз задрожит рука и расползутся буквы:

«Он вошел и сел напротив.
Я вопросительно приподнял на него глаза.
“Я беден”, – начал гость. – “Не очень честен. Падший ангел, в общем”.
“Что вам угодно, сударь?” – вопросил я.
Он. “О, вы пустили меня переночевать; я так вам благодарен; это придало мне сил на продолжение борьбы с вами, своего рода искушения...”
Я. “Издать книгу за моим именем о моем выдуманном невежами общении с дьяволом? Увольте и оставьте”.
Он. “Выдуманном невежами? Ха-ха! Говорящая собака, летающий конь, рабски обожающий вас фамулус, самой небывалой красоты в мире любовница, любимая работа... Достаточно, не так ли? Достаточно для того, чтобы...”

Я. “Как вас зовут, любезнейший?”

Он. “Мефистофель. Ни о чем не говорит?”

Я. “Нет, никогда не слыхал”.

Он (ласково). “Продайте мне душу”.

Я. “Вы сумасшедший?”

Он. “Напротив, я так здоров, что сам удивляюсь”.

Я. “Сегодня вы не останетесь у меня ночевать”.

Он. “В таком случае я добавлю: так же, как и Гретхен”.

Я. “Что, простите?”

Он. “Гретхен, Гретхен. Как вы с ней познакомились, господин Фауст?”

Я. “Какое это имеет значение? Что вам наконец угодно?”

Он. “Ах вы, недостойный сын великой разоренной Германии. Вы даже не удосужились обсудить судьбу возлюбленной с ее ближайшими родичами...”

Я (скрежеща зубами). “Ах, это вы! Чертов братец!..”

Он. “Или брат черта, или просто черт. Продайте мне душу, милый. И Гретхен останется с вами до самой кончины – вашей или ее, не все ли равно? в любом случае вас не покинет приятное чувство, что вы взяли от жизни все, что могли”.

Я (хохоча). “Я слыхал, что вы безумны, но чтобы настолько...”

Он. “Тот, кому от природы дано якшаться с искусителем, всегда не в ладу с людскими чувствами, его всегда подмывает смеяться, когда другие плачут, и плакать, когда они смеются”.

Я. “Разве вы плачете, безумец? Какого беса вы оперируете всеми этими бессмысленными противоречиями?”

Он. “Без дураков, выбирайте: Гретхен или ваша душа?”

Я. “Гретхен и есть моя душа... Ну ладно, каковы ваши условия?”

Он (протягивая изжеванный лист со своими каракулями). “Распишитесь здесь. Кровью, Сатаны ради”.

Я. “Вашему сумасшествию я потакать не намерен. Только из любви к Гретхен я не упрячу вас прямо сейчас в лечебницу”.

Он (вставая). “Вы сделали свой выбор”.

Я (указывая рукой на дверь). “Прочь из моего дома”.

Он вышел, противно кланяясь. Что заставило меня тут же записать весь этот разговор? Что меня так встревожило в беседе с безобидным полоумным? Почему внезапные мрачные мысли одолели меня? Где Гретхен? Я должен видеть Гретхен...»

Только что я водворил сей документ на то место, где он лежал. Бедный доктор Фаустус, а ведь он еще не знает, что случилось с Гретхен! Как мне сообщить ему об этом? Бедняга может сойти с ума, он склонен к подобному...

Лучше помолимся прежде.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Аминь.

Аминь.

Аминь.

Аминь.

Аминь.

Комментарии к «3»

Этот gnus'ный эпизодец представляет собой коктейль из бесед Ивана Карамазова с чертом, Ивана Карамазова со Смердяковым, Адриана Леверкюна с чертом и Адриана Леверкюна с Саулом Фительбергом (откуда наш мерзавтор все это знает? странный эффект Стариздата?).

Вообще-то знание убогой литературы несет сомнительную пользу интеллекту, что мы и видим по нашему дурачкавтору. Писатели, к коим он апеллирует, – по-прежнему смехотворны. Федя Достоевский – чрезвычайно переоцененный автор сентиментальных и готических романов XIX в. Про Манна же – см. выше (комментарий 5).

14. Итак, я переписываю; боюсь, что и без отдаленных взрывов, сотрясающих мою келью, у меня не раз задрожит рука и расползутся буквы.

Этой фразой (дословно) предваряется и перепись леверкюновского «документа», сделанная Цейтбломом. Центонизм нашего пасквилиста жалок до gad'ливости – он, по-видимому, даже не понял, что «отдаленные взрывы», пугающие Серенуса, – это Вторая мировая, и перенести их (пусть даже в качестве цитаты, намекающей на псевдоэрудированность) в XVII век – верх недорослизма.

15. *Я.* "Вы сумасшедший?"
***Он.* "Напротив, я так здоров, что сам удивляюсь".**

Точно такой же ответ на точно такой же вопрос дал министр-администратор в пьесе компилятора-инфантила Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Что хотел сказать этой вздорной отсылкой наш idiot'ик? Кажется, я, провидец, знаю – он тривиально перепутал Шварца с другим впавшим в детство борзописцем, «творившим» примерно в то же время, – Николаем Носовым. Очередной паршивый намек квазивсезнающего авторчика очевиден: именно Носову посвящена еще одна моя незабвенная монография (о Шварце я написать как-то не удосужился; сия безбожная ошибка с головой выдает убожество автора даже и в компромативных делах). Монографию «Рассказы Николая Носова как травестия социалистического реализма и советской действительности» привожу здесь в назидание потомкам (и она ведь еще не переиздана):

Рассказы Николая Носова
как травестия социалистического реализма и советской действительности

Основные рассказы Николая Носова написаны в 1930-50-х гг., т. е. в период расцвета сталинского тоталитаризма и засилья советского лубка в искусстве – фальшивых, лицемерных опусов социалистического реализма.

Николай Носов, подобно многим писателям-контрам, ушел в детскую литературу, дабы под ее прикрытием неистово насмехаться над кошмарной мазней прочих советских литераторов и над кошмарной действительностью окончательно себя дискредитировавшей Родины.

Разберем же некоторые произведения Носова, в которых таковой подтекст наиболее очевиден.

1. «Дружок»

Рассказ «Дружок» одновременно пародирует натужные шпионские повести, где выводили на чистую воду вредителей, и выступает с латентной апологией Троцкого, являющегося прототипом щенка Дружка из данного произведения.

Напомню сюжет: два мальчика перевозят в чемодане щенка – тайно, поскольку с собаками в поезде ехать нельзя.

Сразу обратите внимание на гениальную двуплановость рассказа Носова. Сознательные читатели-ортодоксы увлекутся привычным для них шпионским сюжетом и будут воображать себе, что

это доблестные советские разведчики транспортируют из загнивающего Запада некое секретное оружие. Тайно несогласные с советской властью читатели же напротив – увлекутся детальной разработкой проекта возвращения в СССР Троцкого, дабы он взошел на престол вместо навязшего в зубах и погрязшего в трупах Сталина.

В эпизоде, когда главный герой и Мишка читают стихи и поют песни, чтобы пассажиры не услышали скулящего Дружка, мы видим откровенную издевку над фарисейскими советскими песнями, которые просто-таки невозможно исполнять искренне, а только из-под палки; в любой момент периода правления Сталина распевание подобных песенок выглядело трагедийно неуместным.

А в 1940 году, как мы знаем, с последней надеждой советской интеллигенции – Троцким, случилось несчастье. Вот как рефлексирует по этому поводу герой Носова:

«Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать Дружка, но Мишка часто вспоминал о нем:

– Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает Дружка? *(намек на Сталина, убийцу Дружка. – М.)* А может быть, Дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо!»

Но Мишке суждено было узнать, что его дружок Троцкий так-таки погиб, не от голода, но от бандитско-сталинского ледоруба.

Правда, рассказ кончается по-иному, иначе параллель была бы слишком очевидна и Носова могли привлечь к ответственности. В «Дружке» дружок Лев Давидович найден, поэтому данный рассказ можно считать сентиментальной утопией, «альтернативной историей» для инакомыслящих.

2. «Тук-тук-тук»

«Тук-тук-тук» – это пародия на роман о социалистическом строительстве и вместе с этим – яркий глум над ублюдочной системой доносов и лагерей. «Стук-стук-стук, я – твой друг» – вот какая аналогия приходит в голову при взгляде на одно название, не правда ли?

Напомню вкратце сюжет: три друга приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда со специальным заданием: украсить помещение к приезду ребят. Чувствуете тонкую травестию? – рассказчик, Мишка и Костя – это просто доблестные энтузиасты, мчащиеся на социалистическую стройку с патологическим прямо-таки рвением.

Но самый смак рассказа начинается, когда трое друзей ложатся спать. Возникают детские переживания и страхи, за которыми нетрудно разглядеть переживания и страхи всякого советского гражданина той поры.

«После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревкой за ручку привязал.

– Чтоб не забрались разбойники, – говорит *(читай: чтоб энкавэдэшники не сразу взломали дверь. – М.)*.

– Не бойся, – говорим мы, – никто не заберется *(ах, какая глупая самонадеянность! – М.)*

– Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть *(Мишка явно дает фору своим tup'оватым, нерасторопным друзьям; такой не только в пионерлагере, но и в лагере для заключенных не пропадет: чувствуете, кстати, эту неприкрытую параллель между двумя видами лагерей? – М.)*.

Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли, на всякий случай, и стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтоб удобнее было разговаривать.

Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит:

– Ты, видно, хочешь, чтоб разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались. Ну ладно, ложись.

Пустили его в середину. Но он все равно, должно быть, боялся: взял в кухне топор и сунул его себе под подушку».

Мишка – явно тот самый герой, о котором так мечтал и страдал Солженицын: он хочет сопротивляться проклятым оперативникам!

В реальной жизни, как мы, не без помощи Солженицына, знаем, прецеденты сопротивления

арестовывающим были ничтожно редки. Но Носов пишет детские рассказы, а следовательно: они у него всегда – маленькие утопии, грустные мечты. Черты национального характера, тем не менее, отчетливы и даже выпуклы:

«Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я, а когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про Кощея Бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтоб попугать Мишку, принялся по стене стучать и говорить, что это черти стучат *(голубые канты, дескать, пришли, открывайте! – М.)* Мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтоб он перестал».

Все так: для русского человека и жизнь в тоталитарном обществе – своего рода игра, в ней есть определенный азарт, острые ощущения; можно собираться на кухне и травить подсудные анекдоты либо потушить свет и смотреть в окно: подъедет ли, мол, черный воронок? а если подъедет, то за кем? за мной или за соседом?..

Знаменательный диалог происходит, когда ребятам показалось, что стучат в дверь (на самом деле, согласно утопическим законам носовской прозы, это всего лишь вороны клевали на крыше рябину):

«– Выйти, – говорит Костя, – да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать!

– Еще нам, – говорю, – накостыляют. Вдруг их там человек двадцать! *(правильно, их всегда много, и они всегда при оружии. – М.)*

– А может, это и не люди!

– А кто же?

– Черти какие-нибудь».

Конечно, нелюди! Под верховным предводительством хромого непарнокопытного Люцифера-Сталина! И имя им – Легион!..

Рассказ заканчивается хорошо: черный воронок так и не приезжает. Но – еще не вечер! Об этом недвусмысленно заявляет концовка рассказа:

«С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей трусами».

А от трусости до вредительства и измены один шаг. Ох, напишут еще на главного героя и Костю донос, точно напишут! Что там в заглавии-то у нас? Да, «Стук-стук-стук»...

3. «Про Гену»

«Про Гену» – вдохновенная пародия на произведения о социалистическом соревновании, написанная, причем, глумливым слогом Зощенко. Обратите внимание на такие, например, пассажи в самом начале рассказа:

«Гена был, в общем, хороший мальчик. Ничего себе паренек. Как говорится, не хуже других детишек. <...>

А учился Гена ничего себе. Как говорится, не хуже других. В общем, неважно учился».

И таким тоном, заметьте, говорится не о пошлом мещанине, доставшемся революции в наследство от царского режима, а о доблестном юном пионере, потенциальном стахановце.

Правда, очень быстро по ходу произведения выясняется, что Гена – скорее антистахановец. Напоминаю сюжет: Гена отправляется собирать с одноклассниками металлический лом, но вместо этого катается с горки на санках. Так проходит день за днем, и Гена не только не собрал ни килограмма лома, но и вконец запустил учебу.

Неправдоподобные цифры из простахановских передовиц издевательски обыгрываются здесь в теме Гениного вранья отцу:

«– А много ты собрал лому? – спросил Гену папа.

– Сорок три килограмма, – не задумываясь, соврал Гена.

– Молодец! – похвалил папа и стал высчитывать, сколько это будет пудов».

Гена глумится над всем самым святым, что есть у советского пролетария:

«За ужином Гена ел с большим аппетитом. Глядя на него, папа и мама радовались. Им всегда почему-то казалось, что Гена ест мало и от этого может похудеть и заболеть. Увидев, как он уписывает за обе щеки гречневую кашу, отец потрепал его рукой по голове и, засмеявшись, сказал:

– Поработаешь до поту, так и поешь в охоту! Не так ли, сынок?

– Конечно, так, – согласился Гена».

В этом рассказе – только яростное измывательство над стахановцами, политических намеков нет: ни про Троцкого, ни про ГУЛАГ. Тем проще и безобиднее он кажется, но некоторые другие рассказы Носова читать поистине жутко.

Взять хотя бы рассказ конца 1930-х гг. «Огурцы». Там маленький мальчик срывает с колхозного огорода несколько огурцов, а вусмерть перепугавшаяся мама отправляет его обратно, чтобы он вернул все овощи страшному дедушке с ружьем (аналогия с добровольными признаниями в антисоветской деятельности налицо).

Другие рассказы Николая Носова вы, я надеюсь, оцените теперь и без меня. Особенно рекомендую следующие произведения: «Огородники» (пародия на «Поднятую целину» (1932) Михаила Шолохова); «Фантазеры» (о том, каково приходится в советской России наследникам модернизма); «Саша» (о том, что в СССР даже дети больше всего на свете боятся Милицанеров) и т. д.

Приятного вам, как говорится, деконструктивного чтения. Но помните, что Николая Носова, как и «Архипелаг ГУЛАГ», не рекомендуется читать на ночь.

16. Гретхен, Гретхен...

Стиснув зубы, промолчу. Я буду выше (хотя это и без того очевидно; я выше всех на свете) подонка и не разражусь сквернейшей бранью на его моськины наскоки на святыню.

III

Ах, гибель мне грозит!
Со мной все кончено, я предан, я убит!
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Chorus mysticus
Мистический хор
Здесь – заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

О небо! Где предел жестокости людской?
Встречался ль кто еще со злобою такой?
Как? К ней я прихожу, взволнован и встревожен,
И я же виноват! И я же уничтожен!
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Форкиада
Как раздирает уши резкость трубная,
Вселяется в мужчину ревность грубая,

Долбя о том, чем обладал он некогда
И что невозвратимо им утрачено
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Иду, сударыня, но тотчас возвращусь
И правды я от вас любой ценой добьюсь!
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Ф о р к и а д а
Стара и все же не стареет истина,
Что красота не совместима с совестью
И что у них дороги в жизни разные
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Ах, разделите же со мною возмущенье!
При всей моей любви не нахожу прощенья
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

О, извращенная натура человеческая! Холодность нас воспламеняет, а пылкость охлаждает
Луис Велес де Гевара. «Хромой Бес»
(перевод Е. Лысенко)

Или осмелитесь без всякого стесненья
Вы этому найти подобье извиненья?
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Я – неуловимый мститель.

В моей незаурядней шей из жизней возникла новая величественная цель: твой кумир, идолопоклонник-читатель, грязный фронтмен великой группы «Фауст и пацаны» очень скоро будет уничтожен и раздавлен. Так что не обессудь, читатель-фанатель.

Виной всему – катастрофический телефонный разговор с царицей бескрайних полей моего сознания, маниакальной Маргаритой.

– Маргариточка, куда же ты пропала?

– Ой, это ты?

– Ну конечно же. Сам. Чувствуешь, какую честь тебе оказываю?

– Хм, да... Очень рада.

– Еще бы! Я повторюсь: куда же ты пропала?

– Извини, но мы тогда совершили глупость.

– Разумеется, «заниматься глупостями» – это прелестный эвфемизм, Риточка, но к чему ты клонишь?

– К тому, что это не повторится.

– Хо-хо! Не повторяется такое никогда? А я убежден, что мы еще и не так выложимся.

– Ты, кажется, не понимаешь – я была не в себе, и все это...

– Ты была расстроена, но ведь я как добрый доктор Оргазмит рассеял твою расстроенность божественным ветерком.

– Черт, неужели ты не хочешь понять?..

– Что понять, Ритусик? Я пойму все что угодно.

– Прежде всего, я тебе не рейтузик.

– Как скажешь, Ритуша. Шутка затянулась, нет?

– Никто не шутит, уважаемый. Очнись! Это была gnus'ная выходка gnus'ной девчонки. Извиняюсь, если от этого тебе станет легче. Я понапрасну все это проделала.

– «Понапрасну проделала» – какой слог...

– Да, да, я – скудоумная провинциалка. Что тебе вообще от меня, дуры, нужно?

– Твой гнев ввергает меня в величайшее недоумение, Маргуша... Снова этот ублюдок? Давай я разорву его в клочья вместе с контрактом. Отберу славу и деньги, отправлю назад в Бобруйск – это мне раз плюнуть.

– Ни в коем случае! Господи, что я натворила?!

– Милая Марго, скажи наконец, в чем дело?

– Ффф! Я виновата, виновата, виновата перед тобой, и все такое... Но... Я люблю Гену, и он – единственный для меня человек... А с тобой... Это... Минутное... Замешательство, помешательство, назови как хочешь... Я немного больная на голову, Гена тебе не говорил?

Какой удар, лишенный потрясений, живущий растительной жизнью читатель! Признаться, только такой же бессмертный Бог как я не умер бы в ту же секунду от шока. Заметь себе, хилый читатель, я даже не повредился в рассудке и запросто описываю этот кошмар на потребу тебе и всей остальной поганой публике.

Вообрази себе (хотя куда тебе! ведь ты лишен этого мощного источника, из коего пьют только истинные художники), как я был взбешен, уязвлен и огорчен! Но не имеющая измеримых границ любовь моя (запасы которой в мощном сердце короля мира поистине неисчерпаемы) заставила меня сдержать в себе всю ярость (а ведь я был готов сжать gad'кий шарик под названием Земля в кулак и растереть в порошок!) и продолжить беседу с умопомрачительной, в уме помрачившейся дивой в лучших традициях дипломатической индифферентности.

– Ты... любишь... этого... mrakobes'a... сволочь, ублюдка, недоноска, жертву аборта, выродка, отродье, гниду, мразь, тварь, педераста, idiot'a, вшу, dermo'вую skot'ину, паскуду, gad'ину, loh'a, сявку, извращенца, опущенца, лишенца, zadrot'a, членососа, жополиза, govno'еда, спермохлеба, gondon'a, амебу, urod'a, frik'a, luzer'a, daun'a, козляру???

– ПРЕ-КРА-ТИ СЕЙ-ЧАС ЖЕ!!!

Мне показалось, что я услышал нервный топот ее ног. Ее восхитительных ножек, которые я совсем недавно вылизывал с тщательностью фанатичной посудомойки.

Но я все еще не мог до конца прийти в себя.

– Ты... сказала... что... л-любишь... Г-г-г... (я был не в состоянии произнести это имя; я до сих пор не в состоянии; то, что я написал его несколькими строками выше стоило мне прегромадных усилий). Г-г-г... Govno ты это, значит, любишь?!

– Да, я люблю это govno, и можешь оставить меня с моим govno'м в покое.

– Ты пришла тогда ко мне в прелестных, но вызвавших мой справедливый гнев слезах. Мне казалось, я спас тебя. Освободил.

– Нет, нет... – шептала она. Я отчетливо представлял себе, как она судорожно мотает своей пленительной головкой из стороны в сторону. О великая Маргарита, ты слишком хороша для этого pozor'ного мира! У тебя колоссальные проблемы с головушкой, ибо ты по чудовищной несправедливости далеко не сразу попала в мой сказочный дворец, а навсегда была искалечена жизнью вдалеке от меня и моей всепобеждающей любви.

– Ты плакала, – упорствовал я. – Со мной перестала плакать. Приди ко мне, и перестанешь навсегда.

– Я плакала, потому что я дура. Капризная, слабонервная kretin'ка. К тому же сучка, изменница, стерва и шваль. Я всегда плачу. Всегда огорчаю Гену. Пора исправляться.

– Вовсе нет, – в ошеломлении пробурчал я.

–Да-а-а, – плаксиво протянула она.

От волнения я начал говорить словами Альцеста (перевод обожаемой Танечки Щепкиной-Куперник всегда со мной, в моей божественной памятливой голове).

– Так душу унижать и подло и бесчестно, отнюдь с достоинством душевным несовместно. Случись бы мне, на грех так поступить когда... Да я б повесился сейчас же со стыда!

– Вот я, наверно, скоро и повешусь.

– Огонь моей любви – в то верю я глубо́ко – очистит душу Вам от накипи порока.

– Ой, сомневаюсь.

– Сударыня! Ваш нрав мне душу истерзал, Вы мучите меня подобным обращеньем.

– Я уже сказала: извини!

– Дурацкий смех его и тоненький фальцет – затронуть сердце Вам нашли они секрет?

– Сердцу типа не прикажешь.

– О, если б сердце мне из Ваших вырвать рук, избавить бы его от нестерпимых мук.

– Да забирай на здоровье – мне твое сердце как-то без надобности.

– Мой презирают гнев и с дерзкой похвальбой смеются над моей последнею мольбой! Однако все-таки у сердца нет забвенья, нет силы разорвать постыдной цепи звенья, вооружить себя я не имею сил презреньем к той, кого так сильно полюбил!

– Да постарайся уж вооружить. Уверена, у тебя легко получится.

– И слишком хорошо Вы пользуетесь тем, что окончательно при Вас рассудок нем. Так прекратите же скорей мои страданья, скорее для себя найдите оправданья.

– Вот еще! Не собираюсь я ниче находить!

– О, притворитесь же, что любите немного! Я притворюсь тогда, что верю в Вас, как в Бога!

– Так, мне это надоело. Кажется, я сейчас выключу телефон.

– Чтоб Ваша красота моею лишь была, я, право, иногда готов желать Вам зла: чтоб никому кругом любви Вы не внушали; чтоб жили в бедности, в унынии, в печали...

– Вот уж спасибо. Я и так Геночке моему не шибкую любовь внушаю, а тут ты еще готов постараться...

– Чтоб я один, один своей безмерной властью исправил суд небес, один привел Вас к счастью, чтоб с гордой радостью мог убедиться я, что все, что есть у Вас, дала любовь моя!

– Какой-то нарциссический эгоцентризм, а?

– Прощайте навсегда! Как тягостную ношу с восторгом наконец я ваши цепи сброшу!

– Вот и чудно – гудбай! И одна громадная просьба: не звони мне больше, пожалуйста. Покапока!

– Маргари...

Ужас сгустился вокруг моего трона. Мир стал погружаться во мрак по моему равнодушному повелению. Тысячи метеоритов направил я своей всесильной дланью к нашей жалкой планете, чтобы разнести ее вдребезги...

Но – стоп. Спокойствие. Только спокойствие. Собранность и рассудительность украшают богов. Разберемся как следует. Апокалипсис отложим на самый уж черный день. Пока все еще не так плохо. В конце концов, шесть секунд назад я еще с ней разговаривал...

Я понял: это испытание. Испытание, достойное только самой титанической личности и подсильное только самому всемогущему разуму.

Кажется, последнюю реплику Альцеста я припомнил совсем некстати. «Прощайте навсегда...» – да, это не совсем удачно получилось. Будто в бреду (и боги бредят).

О, Сатана! Прыгнуть бы со скалы, разбежавшись! Чтоб – вот я был, и чтоб – а вот меня не стало! И когда об этом вдруг узнает Ма... Тогда, может, хоть поймет, КОГО ОНА ПОТЕРЯЛА!!!!!!

Да, восхитительные приемчики гения здесь никуда не годятся. Как, Бог возьми, использовать

молчание, если с тобой просто не хотят разговаривать?! Если тебе запретили даже звонить, а не то, что видеть и трахать?!?!

Ей-дьяволу, прыгну со скалы!.. Впрочем, нет. Будет очень жаль, если великий человек умрет.

Но мне срочно надо было как-то сублимировать свою вскипевшую силищу.

И я создал текст к третьему суперхиту группы «Фауст и пацаны»:

Седьмое доказательство

Берлиоз сказал: «Интересно плетете,
Такое не привидится и в наркотическом полете».
Но профессор тут сказал без всякого стесненья:
«Но я там был, мед-пиво пил, и ты, чувак, поверь мне!»
Берлиоз подумал: «Это точно псих,
Надо соглашаться с ним, пока он не сник».
И сказал он профессору (стегать-колотить!):
«Профессор, а вы где собираетесь жить?»
Профессор был совсем, совсем не дурак:
«А в твоей, говорит, квартире, понял, мудак?»
Берлиоз говорит: «Посидите с Ванюшей»,
А сам в психушку побежал, подлец какой, слушай!
Профессор напоследок слегка протестует:
«Вы только уж поверьте, что дьявол существует.
И на это есть доказательство седьмое,
Самое, самое, самое крутое!»
Берлиоз как птица подлетел к турникету,
Совершенно не заметив красного свету.
Поскользнулся наш loh на подсолнечном масле,
Помните, дети: дороги опасны!
Трамвай накрыл Берлиоза на fig –
Этот chudachok создал большой трафик,
На откос на булыжный бросило предмет:
Это была отрезанная bashka Берлиоза, привет!

А теперь – страшная месть.

Current mood: moody (да, весьма мудацкое)
Current music: Иосиф Кобзон – «Погоня»

4

Вигилия четвертая

Проклятый картофель! – Этот самый, этот самый, этот самый... – Порочная грешная. – Обернулась, улыбнулась. – Волков бояться – в лес не ходить. – Инквизиция! Инквизиция! – Осквернение Господа нашего. – Сжечь бы его на костре! – Зуд страстей. – Сука и кобель.

Как же мне так-таки сообщить доктору Фаустусу о том ужасном, что произошло с прекрасной Гретхен?

Ведь я спрятался в саду, ведь я спрятался в кустах, и я видел, видел, видел, видел, видел, видел – ах!

Видел, как Гретхен нюхала маргаритку, как вдруг подошел к ней этот самый, этот самый, этот самый Мефостофиль. Вот ведь проклятый картофель!

Подошел сзади – и хвать ее сзади за – –

А эта порочная грешная Гретхен обернулась, улыбнулась.

«Право, я не могу уйти с вами!» сказала негодница.

«Да отчего же?» насупился Мефостофиль.

«Ах, я боюсь», закатила глаза порочница. «А ежели я токмо что и изведаю с вами, что горя».

«Бояться горя – счастия не знать», пробурчал картофель. «Не видала в жизни горя? – полюби меня».

«Ах, да я и так уже...» взломила руки греховница. «И так ужо вас взлюбила».

«Так побежим со мной же, девушка», осклабился gnus Мефостофиль.

Меня охватило желание крикнуть что есть мочи: «Инквизиция! Инквизиция!» Но я побоялся спугнуть мерзкого картофеля.

«Я не могу», стыдливо отводила глаза греховодница.

«Что, докторишку жалко?» сказал Мефостофиль.

«Ах, нет», сказала грех-Гретхен. «Но он такой-сякой...»

«Что ж делать», сказал картофель. «Уж такой chudila».

«Ага», кивнула Гретхен. «Токмо в дверь войдет – и началося: буравит своими острыми глазенками, насмехается, хитроумничает, ни во что никого не ставит. Че такое любовь, он ваще как бы не знает, gad'ина такая. Шут гороховый! Я даже молиться при нем не желаю, боясь осквернить Господа нашего произношением священных слов, когда рядом это отродье».

«О чуткость ангельских догадок!» сказал Мефостофиль. «Так ты знаешь, что он – адская шлюшка?»

«Да, знаю», сказала шлюшка. «Сжечь бы его хотелося. На костре бы».

«А у меня позыв другой», сказал картофель. «Какой-то зуд страстей угарных».

«Угарно!» обрадовалась шлюшка.

«Бежим со мною навсегда», схватил ее за руку Мефостофиль.

И они убежали навсегда, суки. Сука и кобель то бишь.

Разнесчастный доктор Фаустус!..

Комментарии к «4»

Эпизодец представляет собой угодничающий фарс, несусветное лжеутешение Богу (мне). Очевидно, что gnus'ная gnus'явка-автор – очередной мой свихнувшийся фанат, «мстящий» вместе со мной презренному «Фаусту». Как бы то ни было, эти подлизывания мне претят: лезть в личную жизнь создателя Вселенной – большая ошибка и неосмотрительность. Продолжаю с вездесущей легкостью ногтем левого мизинца давить жалкие претензии автора на смешную сопричастность ко мне и к моей образцовой жизни протовеликомученика.

18. Ведь я спрятался в саду, ведь я спрятался в кустах, и я видел, видел, видел, видел, видел, видел – ах!

Gnus'ные, pozor'ные вирши.

19. Видел, как Гретхен нюхала маргаритку...

Пасквилянтик, кажется, считает, что убивает сразу двух жирно-элитных зайцев: во-первых, очередной намек на святейшую из святынь и легендарнейшую из легенд (но никакая паскудная игра слов не затронет честь моей королевы; моя защита стальным колпаком накрывает ее от подобных нападок; и даже такое простое оружие, как мое элементарное равнодушие к подобным экивокам, наносит ослоумцу сокрушительный удар), а во-вторых, намек на еще одну уникальную мою монографию.

Это была одна из гениальнейших моих выдумок, и если автор знает даже об этом, не получившем широкой огласки эпизоде моей творческой биографии, он поистине – большущий мой почитатель. Речь идет о начатой (но из-за УСК неожиданно потерявшей всякий смысл) мною книге «Все шедевры мировой литературы в пересказе для самых маленьких». Успел я пересказать малышам только двух любимейших моих авторов – Баркова и Жана де Берга. Эти две главы незаконченной книги были опубликованы в детских изданиях – одна в газете «Веселая литературочка», другая – в журнале «Напыжик». Инфантильный автор с удовольствием, надо полагать, читал в свое время «Напыжика», с помощью которого и состряпал очередную свою скудоумную реминисценцию. Комментируемая фраза, конечно же, восходит к знаменитой сцене романа де Берга «Образ» – сцене в саду, которую я подробно переработал для детишек. Ну и – долой голословие! Вспомним и этот мой непереиздававшийся литературоведческий шедевр:

Все шедевры мировой литературы в пересказе для самых маленьких

Иван Барков
Стихотворные сочинения (1750-1760-е гг.)

Дорогой дружок, когда тебе будет исполняться лет где-нибудь уже 16, попроси у папочки или у мамочки, чтобы тебе подарили на твой славный шестнадцатый день рождения книжечку стихов великого русского поэта Ивана Семеновича Баркова.

Хотя я, дорогой дружок, подозреваю, что ты и до 16 лет очень даже можешь заинтересоваться этим поэтом и самостоятельно поискать его стишки в Интернете.

Вот тут-то и начинается небольшая проблемка. Видишь ли, малыш, Иван Семенович Барков – это, конечно, первый великий русский поэт, но написал он очень мало: взрослые дяденьки-филологи аж животики надрывают от смеха, когда узнают, насколько мало этот прославленный Иван Семенович написал.

Дело в том, что Иван Семенович придумал совершенно новый способ как стишки писать. И ему сразу, конечно, все вокруг начали подражать: мол, мы тоже хотим по-новому стишки писать, а не по-старому.

И поэтому сегодня Ивану Семеновичу Баркову всякие невежественные дурачки приписывают чуть ли не все стишки, написанные открытым им способом. Тогда как это, дружок, ну совершенно неправильно.

Так что ты лучше попроси у папочки и мамочки, чтоб тебе подарили серьезную книжечку стишков Ивана Семеновича Баркова, где будут только такие стишки, насчет которых более или менее можно поверить, что их именно Барков писал, а не еще кто-то там.

Если ты, дружочек, будешь читать именно такие серьезные книжечки, то ты тогда, может, и филологом станешь, а это очень славная профессия. Филологи, дружок, – это такие дяденьки и тетеньки, которые изучают слова, которыми ты, деточка, и все люди вокруг разговаривают, а также такие слова, из которых составляются разные книжечки вроде той, которую ты сейчас читаешь.

Я, кстати, то есть писатель, который написал вот эту книжечку, которую ты сейчас читаешь, – филолог как раз и есть. Видишь, какая это интересная профессия. Филологи могут почти все, что им угодно делать. Даже детские книжечки писать.

Но вернемся, дружок, с тобой к Ивану Семеновичу Баркову. Ты, дружочек, уже должен был проходить в школе другого великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. И уж точно ты читал сказочки этого замечательного писателя. А вот Иван Семенович Барков жил еще раньше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому если твоя учительница будет говорить, что первый великий русский поэт – это Александр Сергеевич Пушкин, то ты ей не верь. Первый был Иван Семенович Барков. Так и знай.

Тебе, дружочек, еще рано читать стишки Ивана Семеновича Баркова. И даже не потому, что Иван Семенович немного нехорошие словечки употребляет в своих стишках, которые маленьким ребятишкам вроде тебя еще, конечно, рановато знать. Но рано тебе читать стишки Ивана Семеновича Баркова прежде всего потому, что он писал очень по-старинному. Если тебе сейчас дать любой стишок Ивана Семеновича, так ты его просто не поймешь ни капельки.

Поэтому я тебе чуть-чуть расскажу сейчас про некоторые стишки Ивана Семеновича, а ты потом, когда уж вырастешь, сам их и прочитаешь, договорились? И тогда-то ты их уже поймешь, и они тебе наверняка понравятся.

1. «Приапу» (ода)

Первый стишок Ивана Семеновича Баркова, о котором я тебе расскажу, называется «Приапу». Это, дружочек, ода. Ода, малыш, – это такой стишочек, который кого-нибудь, что называется, превозносит. То есть стишочек, который кого-нибудь расхваливает: мол, какой у нас этот дяденька, кому ода посвящается, хороший да пригожий. А если ода тетеньку имеет в виду, то и про тетеньку там будет так же говориться. И оды обычно так и называются – Ода там тому-то или Ода там этому-то. Ты даже, малыш, сам можешь попробовать как-нибудь оду написать. Например, когда у твоего папочки или у твоей мамочки случится вдруг день рождения, ты возьми, да и напиши стишок. Так как папочку и мамочку ты очень любишь, ты обязательно похвалишь их в этом стишке. И назвать такой стишок можно очень просто – например, «Моей мамочке». Или наоборот – «Моему папочке». Он, конечно, у тебя ребяческим получится, такой стишок, детским. Но папочке или мамочке все равно будет очень приятно, в этом можешь не сомневаться.

А вот оду «Приапу» Иван Семенович Барков написал, когда он уже был взрослым. И она у него очень хорошей получилась, взрослой и поэтической. Правда, он ее не папочке своему, конечно, посвятил и не мамочке там никакой... Он ее посвятил Приапу.

Ты, конечно, дружок, сейчас, спросишь: «А кто такой этот Приап?» А я тебе отвечу. Приап, деточка, – это был такой бог. Конечно, его не было, никаких богов не существует и не существовало никогда. Но Приапа вместе с другими богами выдумали древние люди, которые были очень неграмотные, боялись всех явлений природы, вот и насочиняли себе богов, чтобы не так страшно было. Но про богов этих древними людьми придуманы разные сказки и рассказы. И поэтому про таких богов говорят, что они, мол, были. В сказках они действительно вроде как были, вот поэтому так и говорят.

Так вот: Приап, деточка, – это был такой сказочный бог, который у древних людей отвечал за то, чтобы у них, мол, появлялись детишки. Смешно, конечно, подумать сегодня, но древние люди всерьез думали, что если б не этот бог, то у них и детишек бы никогда не появлялось.

Вот Иван Семенович Барков этого бога в шутку, так сказать, и расхваливает в своем стишке.

В этом стишке рассказывается о том, как приходит к Приапу один дедушка. И рассказывает Приапу этот дедушка о своей жизни. О том, что помогать людям, чтоб у них появлялись детишки, дедушка начал еще в детстве. И не только людям, а еще зверям и птицам. Но дедушке и этого показалось недостаточно. Тогда он решил сойти в ад и теням умерших людей тоже помочь, чтоб у них, мол, и на том свете детишки продолжали появляться.

Ад, дружок, – это тоже одна из сказок, которые древние люди придумывали себе в облегчение. Чтоб не так страшно было жить, древние люди себе придумали, что все старенькие дедушки и бабушки, когда умирают, не исчезают, мол, а попадают в ад. И якобы живут в этом аду в виде теней. Это все, конечно, неправда. Но ода Ивана Семеновича Баркова – это вроде как сказка. Поэтому мы, дружок, с тобой сделаем вид, что все это существует – и ад, и Приап. На время, конечно, сделаем вид, только пока читаем эту сказку.

Дедушка, значит, рассказывает Приапу о том, как спустился он в ад. Там дедушка с успехом помог всем теням умерших людей с появлением у них детишек. Но в аду дедушке пришлось пережить

столько всего страшного, что он даже потерял свой дар помогать людям с появлением детишек. Вот этот дедушка и пришел к Приапу, который появлением детишек, так сказать, заведует, чтобы Приап вернул дедушке его замечательный талант. И Приап, конечно же, с радостью помогает дедушке в этом.

Вот о чем, собственно, эта ода и рассказывает.

2. «Дурносов и Фарнос» (трагедия)

А другое сочинение в стишках Ивана Семеновича Баркова, о котором я тебе, дружок, расскажу, называется «Дурносов и Фарнос». Это уже не ода, а самая настоящая трагедия.

Трагедия, дружок, – это такой вид книжек, где написана история, которую надо в театре показывать. Был в театре когда-нибудь? Если был, должен был заметить, что там показывают разные истории. А истории эти для театра тоже пишут писатели. То есть почти те же люди, которые пишут стишки и рассказы. Такие истории для театра называются пьесами.

А трагедия – это такой вид пьес, где происходит что-то очень грустное и печальное. И заканчивается все в такого рода историях обычно очень плохо.

Самая знаменитая трагедия в мире – это, чтоб ты знал, дружок, трагедия «Гамлет» английского писателя Уильяма Шекспира. Если твоя школьная учительница по литературе – не дурочка, то ты обязательно будешь с ней как-нибудь проходить эту самую знаменитую трагедию.

Ну а если твоя школьная учительница по литературе – дурочка, которая считает, что первым великим русским поэтом был Александр Сергеевич Пушкин, а вовсе не Иван Семенович Барков, то тогда, конечно, никакого «Гамлета», малыш, тебе с ней проходить не придется.

Но зато теперь ты будешь знать, что у русского писателя Ивана Семеновича Баркова тоже есть замечательная трагедия. О ней я тебе сейчас и расскажу.

В этой трагедии есть несколько главных героев. Прежде всего, это Миликриса. Миликриса – это молодая тетенька. Следующий герой – это Дурносов. Дурносов – это дяденька, который любит Миликрису. Любит – ну то есть он хочет на ней жениться и завести с ней детишек, как когда-то сделали твои папочка и мамочка, благодаря чему ты, дружочек, собственно говоря, на свет и появился.

Еще один герой – это Фарнос. Фарнос – это довольно-таки противный дяденька. Он тоже любит Миликрису, да вот только она его ну ни капельки не любит. Потому что она любит Дурносова. У них взаимная любовь, что называется.

И еще один герой – это Долгомуд. Долгомуд – это папочка Миликрисы, который хочет, чтобы Миликриса вышла замуж именно за Фарноса. Потому что Фарнос, видите ли, – приятель этого Долгомуда.

Вот из-за всего этого вся трагедия у этих героев и получается.

В трагедии, да будет тебе известно, дружок, самое главное – это всегда самый конец. Там происходят всякие страшненькие кошмарики. А до этого в трагедиях, в основном, болтовня и, ты бы, наверное, даже сказал, скукотища.

Поэтому и про «Дурносова и Фарноса» я тебе, дружочек, самый конец расскажу. Если знаешь конец трагедии, значит знаешь и всю трагедию целиком. Это, дружок, закон, можно сказать, трагедии.

Так вот, в конце Фарнос дал Дурносову какое-то лекарство, и Дурносов из-за этого лекарства заболел в самый важный момент. То есть в тот, дружок, момент, когда говорил Миликрисе, как он ее любит и обожает. Ты, дружочек, вдумайся только, какая трагедия! Миликриса уже готова была согласиться стать женой Дурносова, чтобы они вместе стали заводить себе детишек, как Дурносов внезапно заболел. И Миликриса от испуга даже подумала, что Дурносов настолько важным образом заболел, что у него никаких сил не будет детишек заводить или еще там чего-то.

И в этот же самый, дружок, момент появляется Долгомуд и говорит Миликрисе что-то вроде: «Ну как? Пойдешь, мол, дочка моя, за друга моего Фарноса замуж?» И Миликриса, испугавшись вообще без мужа остаться, отвечает: «Да, мол, папочка. Пойду. Оставьте беспокоиться».

Ты думаешь, дружок, это все? Трагедия, считаешь, уже состоялась? Так вот нет! Этого, знаешь ли, недостаточно еще для самой настоящей трагедии.

Поэтому в этот же самый момент Долгомуду и Миликрисе сообщают, что Фарнос немножко умер. Его одна лошадка как-то сильно уж лягнула. Фарнос всего лишь хотел ей помочь, чтоб у ней детишки появились, жеребята. Но лошадка же дурочка, она не понимает ничего. Испугалась чего-то – возьми да лягни Фарноса. Вот он, дружок, и умер, к сожалению. Нехороший он дяденька был, Фарнос этот, а все-таки жалко его.

Вот только теперь трагедия может оканчиваться, когда уж точно все хуже некуда получилось. В этом месте она как раз и оканчивается.

3. «Коза и бес» (басня)

Последний стишок Ивана Семеновича Баркова, о котором я тебе расскажу, дружочек, – это стишочек «Коза и бес». Правда, про этот именно стишочек никак не известно, Иван Семенович Барков ли его написал или другой кто. Если насчет оды «Приапу» и трагедии «Дурносов и Фарнос» ученые-филологи подумали-подумали, да и решили считать, что эти сочинения именно Иван Семенович Барков написал, то насчет стишка «Коза и бес» они ничего такого не решили. Неизвестно, говорят, кто его написал. Может, Иван Семенович Барков, а может, и нет.

Но мы с тобой, дружок, поговорим об этом стишке так, как будто его все-таки Иван Семенович Барков написал. Но ты просто знай, что в этом случае ничего доподлинно неизвестно, вот и все.

«Коза и бес», дружочек, – это басня. Басни, дружок, – это такие стишки или даже не обязательно стишки, а какие-нибудь там, например, рассказы, где рассказываются разные поучительные истории из жизни зверюшек. Но зверюшки в этих историях – только для того, чтоб интересней было. На самом деле мы должны понимать, что за этими зверюшками скрываются как бы настоящие люди. И вот про них-то в баснях и рассказывается. Про то, какие люди бывают нехорошие или наоборот – хорошие.

Ты, дружочек, наверняка уже читал басни еще одного великого русского писателя – Ивана Андреевича Крылова. Иван Андреевич Крылов написал такие басни, как «Ворона и лисица», «Мартышка и очки», «Слон и Моська», «Кот и повар» и так далее.

А вот Иван Семенович Барков, значит, написал басню «Коза и бес». Хотя, может быть, и не он написал, о чем мы уже договорились с тобой помнить, дружок.

Лично я не помню у Ивана Андреевича Крылова ни одной басни, где были бы коза и бес. Даже по отдельности таких персонажей у Ивана Андреевича Крылова вроде бы нету – ни козы, ни беса. Есть, правда, у Ивана Андреевича Крылова басенка «Дикие Козы», но она как-то совсем не похожа на басенку «Коза и бес» Ивана Семеновича Баркова, который, может быть, ее и не писал.

В басне «Коза и бес» одна коза заходит как-то в лес. И встретился козе в этом лесу бес. Бес, дружочек, – это такое вымышленное существо из сказок. Его еще называют чертом. Ты его, дружок, не пугайся, беса этого. Ты помни всегда, что он только в сказках существует. А в жизни его, стало быть, ну ни за что нельзя встретить. Потому как он придуманный герой, а не такой, который в жизни бывает.

И вот этот выдуманный бес подходит в этой басне к козе. К козочке. Подходит, значит, к ней и решает сделать так, чтобы у козы детишки появились. А козочка не хочет от бесика такой помощи. И кричит нечеловеческим, дружок, голосом. Не человеческим, дружочек, а козьим. «Ме» то есть, «ме», – вот так эта козочка, значит, кричит.

И тут сбегаются из лесу все звери и решают по ошибочке, что козочке надо помочь, чтоб у ней детишки появились. Они ж, дурачки, не понимают козьего языка, вот и поняли все неправильно. Среди этих зверюшек, дружок, были волк, заяц, медведь, а также – не удивляйся, дружочек, – Зосима-старец и все монахи. То есть Зосима-старец и все монахи вроде как тоже зверюшками в этой басенке оказались.

Вот такая вот странненькая, но забавненькая басеночка.

На этом, дружочек, пока все с Иваном Семеновичем Барковым. Не забудь теперь вернуться к Ивану Семеновичу Баркову, когда вырастешь. Это великий российский поэт. И не знать его некультурно. А ты, дружок, будешь очень культурным человеком, я просто уверен. И обязательно все стишки Ивана Семеновича Баркова прочитаешь. Вот пока что, дружочек, и все, что я намерен был по этому поводу тебе рассказать.

Жан де Берг
«Образ» («L'Image», 1956)

А эту книжечку, дружок, ты сможешь прочитать уже где-нибудь в 17 лет. Она жутко интересная и совсем коротенькая – всего только 10 главок. Сейчас я тебе расскажу, о чем в этой книжечке рассказывается.

Первая главка называется «Вечер у N». Речь там идет вот о чем.

Один дяденька встретил одним прекрасным вечером одну прекрасную тетеньку, с которой был когда-то знаком. С тетенькой была более молодая тетенька (для твоего удобства, дружок, мы назовем ее «девушечка», ты не против?) Это была ее подружка.

Тетенька познакомила дяденьку с девушечкой. Девушечка очень понравилась дяденьке.

Но, знаешь ли, дружок, нашему дяденьке, скажу тебе по секрету, давно уже гораздо больше нравилась тетенька. Гораздо больше – в смысле, гораздо больше всех прочих тетенек и даже больше этой хорошей девушечки (давай-ка для удобства будем теперь писать слова «дяденька», «тетенька» и «девушечка» с больших букв – так, как будто это имена: «Дяденька», «Тетенька» и «Девушечка». Ты, дружочек, конечно, понимаешь, что обычно эти слова нельзя писать с больших букв, так как это никакие вовсе не имена. Но мы на сегодня притворимся, что это имена, хорошо? Просто так нам удобней будет).

– У моей подружки (Девушечки) очень красивые глазки, – сказала Тетенька, обращаясь к Дяденьке. Она аккуратно приподняла Девушечку за подбородочек, и Дяденька смог убедиться, что глазки у Девушечки и вправду очень-очень красивенькие.

После того, как Дяденька убедился, какие красивые у Девушечки глазки, Тетенька предложила завтра встретиться всем в одном садике. И все дружно с этим согласились.

Вторая главочка называется «Розы в Багатель». Там вот о чем.

Трое друзей пришли в красивенький садик, где росли прекрасненькие розочки.

Трое друзей (то есть Дяденька, Тетенька и Девушечка, а это были именно они), взявшись за руки, весело и вприпрыжку бегали по садику, разговаривали и смеялись.

Вдруг Тетенька предложила Девушечке:

– Послушай, Девушечка, дорогая моя подружечка. Почему бы тебе не сорвать эту очень красивенькую розочку?

И Тетенька показала пальчиком на действительно очень и очень красивый красный цветочек, который носит название – розочка (а есть еще и такое имя, дружок, – Розочка, но так как мы сейчас говорим о цветочке, а не о девочке, у которой могло бы быть такое имечко, то, как ты понимаешь, писать словечко «розочка» мы будем с маленькой буковки).

Девушечка радостно кивнула, подошла к розочке, но вдруг сказала:

– Но ведь здесь запрещается рвать розочки. Это ведь общественный садик, а не наш собственный.

Но хитрая Тетенька сказала:

– Э, да ведь это пустяки, дело житейское. Вот смотри-ка – по клумбам тоже запрещается ходить, а ты, Девушечка, уже стоишь на клумбе.

– Ой, и правда, – захихикала Девушечка.

– Так что можешь рвать, – сказала хитрая Тетенька. – Правила-то уже все равно нарушены.

И тогда Девушечка аккуратно сорвала розочку.

Друзья продолжили весело гулять по садику, но Дяденьке вдруг что-то пришло в голову:

– Послушайте, мои подружечки, – сказал он. – Не лучше ли будет выбросить эту розочку в кустики, а то на выходе нас может увидеть с этой розочкой сторож?

– Ой, ну что ты, Дяденька, – всплеснула ручками Тетенька. – Эта розочка такая красивенькая. Жалко будет выбросить такой красивый цветочек. Давай-ка, Девушечка, подумаем, куда мы сможем спрятать цветочек, который ты сорвала, – сказала Тетенька, обращаясь к Девушечке. – Почему бы тебе не поднять юбочку и не спрятать розочку там, под юбочкой?

Девушечка хихикнула и кивнула:

– Ну, давайте попробуем, – сказала она и приподняла юбочку.

Тетенька помогла Девушечке вставить розочку между пояском, который Девушечка обвязывала вокруг животика, и самим животиком. Но Тетенька нечаянно уколола Девушечку шипиком розочки в животик.

– Ой, какая ты неаккуратная, всегда у тебя так, – захныкала Девушечка.

– Ой, прости меня, пожалуйста, – сказала Тетенька.

Тут Тетенька увидела, что по ноге Девушечки катится капелька крови.

– Ой, – сказала Тетенька. – Ведь сейчас эта капелька крови испортит твой белый носочек.

И пока красная капелька крови еще не скатилась к белому носочку, Тетенька быстренько опустилась на коленки и слизнула языком эту капельку.

– Спасибо, – сказала Девушечка, вытирая слезы и снова уже улыбаясь.

Третья главочка называется «Чаепитие и его последствия».

В этой главке друзья пошли пить чай. Они долго сидели за столиком и с удовольствием уплетали булочки с вареньем, запивая их вкусненьким чаем. Особенно много чаю выпила Девушечка.

А потом друзья снова отправились в садик.

Вдруг Девушечка прошептала Тетеньке что-то на ухо.

Тогда Тетенька сказала Дяденьке подождать их, пока они сбегают в кустики. Дяденька кивнул, отвернулся и стал ждать своих подружечек.

Четвертая главочка называется «Фальстарт».

В этой главочке говорится о том, как через недельку Дяденька встретил Девушечку в книжном магазинчике, где она покупала какую-то интересную, по-видимому, книжечку.

– Приветик, – сказал ей Дяденька.

А надо сказать тебе, дружок, что Девушечка была очень скромной тетенькой. И если Тетеньку можно было назвать подружкой Дяденьки, то Девушечка никак не могла бы назвать себя подружкой Дяденьки. Ведь они виделись всего один раз. Поэтому Девушечке не очень понравилось, что Дяденька так уж весело крикнул ей на весь магазин: «Приветик!»

Поэтому Девушечка быстро убежала из магазина. А Дяденька смутился. Скажу тебе по секрету, дружок (хотя я тебе на это уже, кажется, намекал), что Дяденька был влюблен в Тетеньку. Влюблен – ну то есть он хотел пожениться на Тетеньке и завести с ней детишечек. Точно так же, как сделали когда-то твои папочка и мамочка.

А смутился он потому, что испугался, что Девушечка расскажет Тетеньке про то, как он ей, Девушечке, обрадовался, встретив ее в магазине, и Тетенька вполне может подумать так:

«Ах, он ей обрадовался! Ну так пускай на ней и поженится! Я-то думала, он в меня влюбился, а он, может, в Девушечку влюбился! Да я с ним даже дружить теперь перестану из-за этого!»

Испугавшись, чтобы Тетенька не успела так подумать, Дяденька пришел домой и сразу позвонил Тетеньке.

Но Тетенька, как ни в чем не бывало, сказала Дяденьке:

– А, приветик, Дяденька. Приходи ко мне. Я покажу тебе свои новенькие фотографии.

А надо тебе сказать, дружочек, что Тетенька работала фотографом. То есть она фотографировала фотоаппаратом буквально почти все на свете.

И Дяденька с удовольствием пошел к Тетеньке посмотреть, что она там еще такое нафотографировала.

Пятая главочка называется «Фотографии».

В этой главке Дяденька рассматривает фотографии Тетеньки, которые Тетенька сама сфотографировала и теперь Дяденьке показывает.

На фотографиях, к удивлению Дяденьки, была сфотографирована Девушечка.

Шестая главочка называется «Искупительная жертва».

После того, как Дяденька и Тетенька полюбовались на фотографии с изображением Девушечки, Тетенька вдруг сказала:

– Ты, Дяденька, недавно встретил Девушечку в одном магазинчике, да?

– Да, – сказал Дяденька. И добавил: – Девушечка со мной даже не поздоровалась.

– Ну ничего себе, – нахмурила брови Тетенька.

Тут пришла Девушечка.

– Эй, Девушечка, – сказала ей Тетенька. – Ты почему это недавно в одном магазинчике даже не поздоровалась с Дяденькой?

– Ой, извини, Дяденька, – сказала Девушечка.

Все было улажено.

Вот и все, что происходит в этой главке. Видишь ли, дружок, я вынужден опускать кое-какие подробности, так как ты еще маленький и все равно ровным счетом ничегошеньки из этих подробностей не поймешь. Я ведь, дружочек, стараюсь для того, чтобы моя книжечка осталась у тебя в памяти и чтобы ты вспомнил о ней, когда станешь взрослеником, и прочитал все эти шедеврики уже целиком и полностью.

Седьмая главочка называется «Примерочная».

В этой главке говорится о том, как Тетенька однажды куда-то спешила и попросила Дяденьку сходить с ее подружечкой Девушечкой в магазин, где продавалась всякая одежда. Дяденька был очень отзывчивым человеком и согласился.

И вот они с Девушечкой пришли в магазинчик, где продавалась всякая одежда.

И Дяденька, как ты видишь, дружок, оказался столь отзывчивым человеком, что все это время, пока они были в этом магазинчике, сопровождал Девушечку и ни разу не пожаловался, что они слишком долго ходят или что выбирать себе одежду можно бы и побыстрей. Видишь, дружочек, как поступают вежливые взрослые дяденьки. А хочешь ли ты быть взрослым, дружок? Если хочешь, так и веди себя как взрослый. И когда ты со своей мамочкой пойдешь по магазинчикам, и тебе вдруг покажется, что твоя мамочка слишком уж придирчиво выбирает себе одежду, то ты не хныкай и не спрашивай, скоро ли домой, а вспомни, как ведут себя в таких ситуациях настоящие взрослые дяденьки.

Восьмая главочка называется «В ванной комнате».

В этой главке рассказывается о том, как Дяденька пришел к Тетеньке, а Девушечка в это время мылась у Тетеньки в ванной.

Вот пока что и все, дружок, об этой главке. Пока ты не подрастешь, это все.

Девятая главочка называется «Спальня в готическом стиле».

В этой главке Тетенька показывает Дяденьке красивую комнатку, где она спит, а Девушечка в это время дурачится (как дурачится, узнаешь в свое время, дорогой дружок).

Десятая главочка называется «Все решается само собой».

В этой главке Тетенька сама уже приходит к Дяденьке домой и говорит, что хочет, чтобы они завели с ним ребеночка. Тогда Дяденька и Тетенька ложатся спать в одну кроватку. И Тетенька, между прочим, сознается Дяденьке, что любит его.

Вот на этом эта прекрасная книжечка и заканчивается.

А о том, зачем дяденькам и тетенькам ложиться спать в одну кроватку, когда они хотят завести ребеночка, ты, дружочек, узнай из какой-нибудь другой детской книжки: есть, знаешь ли, такие детские книжечки, где об этом очень-очень подробненько рассказывается. Будь здоров, дружочек.

20. ...этот самый Мефостофиль. Вот ведь проклятый картофель!..

21. ...пробурчал картофель...

22. ...gnus Мефостофиль...

24. ...побоялся спугнуть мерзкого картофеля...
25. ...сказал картофель...
Не смешно, дурак.

26. А эта порочная грешная Гретхен...
28. ...негодница...
29. ...порочница...
40. ...греховница...
41. ...греховодница...
42. ...грех-Гретхен...
44. ...шлюшка...
45. И они убежали навсегда, суки. Сука и кобель то бишь.
Даже комментировать не собираюсь, грязная пасквильная тварь.

46. Подошел сзади – и хвать ее сзади за – –
Glup'ое заимствование из glup'ого романа Лоренса Стерна, английского журналиста и святоши XVIII в., «Сентиментальное путешествие». Что это за «за – –», простите? Idiot-автор обладает потрясающей способностью к обнаружению в бездарном прошлом самых бездарных idiot'ов-авторов.

48. Не видала в жизни горя? – полюби меня.
Еще одна скверная цитата из сквернейшего источника – песни Гарика Сукачева, советского и постсоветского шансонье, исполнителя отвратной дворовой и блатной музыки (CD «Ночной полет», 2002, трек 10). Сукачева в одно время затмила другая серость – Шнуров, чьи единственные удобоваримые строки, ты, постыдно все забывающий читатель, можешь найти в начале этого моего шедевра.

Так как в детстве я увлекался всяческим безвкусно-неумелым ретро, вычислить источник цитатки не составило труда – автор наш, в отличие от меня, неустанно развивающегося и беспрестанно совершенствующего свое тончайшее чувство вкуса, явно слушал Сукачева и Шнурова до самого УСК. Pozor автору-быдлу!

49. Меня охватило желание крикнуть что есть мочи: «Инквизиция! Инквизиция!»
Ну прямо как: «Милиция! Милиция!» Не сомневаюсь в симпатиях заискивающего автора к оборотням-Милицанерам, несмотря на его причастность к смешно-оппозиционнному Стариздату.

50. ...уж такой chudila...
51. ...gad'ина такая. Шут гороховый!
52. ...отродье...
54. ...адская шлюшка...
Я и сам прекрасно знаю всю цену лидера великой группы «Фауст и пацаны», так что нечего тут подлизываться.

IV

Ф а у с т
Так ведомы и вам, как людям, муки?
М е ф и с т о ф е л ь
Такие же, как в душах у людей
Марло. «Трагическая история доктора Фауста» (перевод Н. Амосовой)

М е ф и с т о ф е л ь
Вот отчего всегда так жалко вас,
Несчастные влюбленные! Отказ
Вам не урок. Вы рады без ответа
Смотреть, свернувши шею, вслед предмету
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Все то, что вижу я, глаза мне раздражает.
Впадаю в мрачность я и ощущаю гнет,
Лишь посмотрю кругом, как род людской живет!
Везде предательство, измена, плутни, льстивость,
Повсюду gnus'ная царит несправедливость.
Я в бешенстве, нет сил мне справиться с собой,
И вызвать я б хотел весь род людской на бой!
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

З а б о т а
И колеблется tup'ица,
Думая, на что решиться.
У него на полдороге
Могут подкоситься ноги.
Положенье все серьезней,
Он повсюду видит козни.
Злой, пришибленный, кургузый,
Он себе и всем в обузу
И живет наполовину,
Полутруп, полуруина.
За ничтожность, за блужданья,
За безволье, за шатанье,
За сомненья, за смешенье
Полусна и полубденья
Он достоин без пощады
Уготованного ада
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

– Твои слова меня успокоили, – сказал дон Клеофас, – а то я прямо с ума сходил от ревности.

– Знаю, каков этот недуг, недаром его сравнивают с муками ада, – сказал Бес

Луис Велес де Гевара. «Хромой Бес»
(перевод Е. Лысенко)

Я – великий страдалец.
Я – воплощенное страдание.
Я – совокупные страдания всех людишек мира.
Я – новый Иисус.

Мне несусветно больно. Как сжить со свету больного фронтмена?

Впрочем, это как раз не проблема. Кошмар ситуации в другом – мне предпочли больного ублюдка. Предпочла больная же, конечно, но где, где, где моя всеисцеляющая сила, коя одним щелчком всемогущих пальцев, должна, по идее, поднимать на вновь выросшие ноги безногих и вообще воскрешать мертвецов?!

Задавшись этим вопросом, я от буйства черно-фиолетовых красок в моей всемудрейшей голове забылся, и мне стало видеться, как я после жесточайшей мести фронтмену слегка рассчитаюсь и со сладкой Маргаритонькой.

Она, естественно, не сегодня завтра приползет на прелестных коленях. Я нежно и прощающе подыму ее.

– Все позабыто, принцесса, – скажу я. И вопьюсь кровожадными губами в дрожащий ротик.

Забудемся на ночь-другую

Но потом я отыграюсь (так, игривым царапучим котенком; легкой злопамятной подлостью, которая не чужда была и громовержцу Зевесу).

– Как он в постели? – спрошу ненароком я, когда казалось бы воцарится уже полнейший и вечный Эдем.

– Кто? – вздрогнет она (не пугайся так, цыпочка; это будет моя последняя грубая шалость; после этого шалости будут исключительно нежнейшими).

– Фффр, – нарочито пробурчу я с превеликим намеком.

– Что ты? – совсем уже испугается она.

Я. Ничего. Давай-ка поведай.

Она. Здесь не о чем ведать.

Я. Ха-ха! Я почти верю. Так он совсем... хи-хи, бессилен? Совершенно?

Она (замнется). Ну... мне как-то не хотелось бы об этом...

Я. Брось, перестань – здесь все свои. Весь свой. Насколько он был никудышен?

Она (пытаясь меня поцеловать). Давай-ка лучше...

Я (безжалостно отстраняя ее). Нет, постой. Ты мне прежде расскажешь. Я понимаю – ты лжелюбила его, но от твоей болезни, с моей Божьей помощью, не осталось и следа, так что – чего теперь жалеть этого горемыку?

Она. У нас просто ничего не было.

Я. Так я, насквозь все и всех видящий, и поверил. Признайся, у него просто ничего не получилось, так ведь?

Она (стыдливо, отводя глаза.) Ну да... Как-то вот так... Такие дела...

Я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Доктор Импотентус.

Она (умоляюще). Перестань.

Я. В одной рецензии написали: «это музыка, в которой чувствуются настоящие яйца». И не поняли, дураки, что яйца-то – сугубо продюсерские. А фронтмен – категорически безъяйцовый.

Она. Я прошу тебя.

Я. То-то он так великолепно пищит. Настоящий евнух.

Она. Ну не надо.

Я. А ты не пыталась его как-то возбудить... что-то в нем разбудить?

Она. Все, оставим это.

Я. Нет уж, давай покончим с этим. Что ты предпринимала, бедняжка?

Она. Ну-у... Он сам попросил однажды сделать ему...

Я. Что же?

Она. Он назвал это «фаустинг».

Я (с возмущением). Каков извращенец!

Она. Я всунула в него руку по локоть. Он радостно кричал. Но его переду это не помогло. Хотя он уверял, что испытал оргазм.

Я (обсасывая ее пальчики). Надеюсь, ты с тех пор много раз мыла руки?

Она. Я вдруг захотела испытать то, что… испытал тогда он. Войди в меня сзади, пожалуйста. Куда захочешь. По счастью, уж тебе-то нет надобности пользоваться руками.

Я. С удовольствием, моя крошка. Давай-ка – на пол и на колени…

Но что-то я увлекся. Безусловно, все так и будет, но бездейственно ждать – не в моих энергичных правилах. Чтобы расколдовать свихнувшуюся царевну, надо прежде убить дракона. Тем паче, что это и не дракон вовсе, а так – дракоша, ящерка, змееныш…

Действовать начну завтра же.

Но покамест я не начал, я все же не мог успокоиться. Хотелось лезть на стену (как это делается? впиваясь когтями в обои, вгрызаясь зубами в штукатурку?) Хотелось разнести все вокруг (но – еще раз стоп! я ведь могу не рассчитать, и уничтожить весь свет, а это коснется и Маргуси).

Из головы не лезли эти слова сумасшедшей: «Я люблю его… Я люблю его…» Почему меня, собственно, задевает невменяемый бред? Он исходит из самых обворожительных в мире уст и порожден коротким замыканием в самой чарующей на свете головке, но ведь это еще не повод.

«Я люблю его» – это бред, Марго. Ты хотела сказать: «Я люблю – Тебя! Обожаю. Боготворю. Кончаю от одного твоего взгляда».

Вот что ты хотела сказать.

Но не сказала.

Ничего, пока что я кое-что скажу.

А именно –

Марго, я люблю тебя. Я люблю тебя, Ритонька. Маргусик, ты моя единственная. Я люблю тебя. Обожаю. Боготворю. Мой неистовый друг-великан разбухает до беспредела от любой мысли о тебе. А думаю я о тебе круглосуточно.

Я люблю тебя. Люблю. Люблю.

Люблю тебя.

Люблю.

Люблю.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАРГАРИТА!!!!!!

Люблю.

Люблю.

Люблю.

Я люблю

Админ, размножай это слово, покуда не наступит рассвет.

Ошеломленный, не ведавший настоящей любви читатель! Знаешь, что я сейчас сделал? Обратился в главную спам-службу Интернета, и очень скоро на твой жалкий электронный ящик, как и на жалкие электронные ящики всего мира, придет такое письмо:

Я ЛЮБЛЮ МАРГАРИТУ!!!!!!

А теперь – сублимация:

Погоня

Бездомный подбежал к зловещему профессору,
А тот сидит еще с каким-то агрессором
(Тем клетчатым, в натуре, гражданином,
Который Берлиозу тогда привиделся, skot'ина).

Иван сделал попытку ухватить негодяев,
Но негодяи от него реально побежали,
И еще с ними возник какой-то, сука, кот,
Огромная котяра, жирнющий obormot.
Паскудный кот залез – без балды! – прямо в трамвай
(Такая маза-фака, айн, цвай, драй!)
Клетчатый слинял,
Профессор пропал –
Иван Бездомный всех бандитов, разиня, просрал.
Он по ошибке в какую-то квартиру ворвался
И на бабу голую в ванне нарвался.
Баба намыливала свои голые сиськи
(Они были огромные, соски торчали как сосиски).
Баба возбужденная на Ваню страстно посмотрела,
Но его сейчас как-то не тянуло на тело.
Ваня выбежал из дома, адрес записал
И дальше за профессором в погоню поскакал.
Затем Иван совсем уж с катушек на hren слетел
И в Москву-реку окунулся – охерел!
Потом пошел в одних кальсонах с корабля на бал –
В «Дом Грибоедова» (ах, какой скандал!)
Как было дело в Грибоедове – в следующий раз,
А сейчас запомните: я – Геннадий – pidaras!

Умытый фанат-читатель! Ты не мог не оценить этот первый сокрушительный удар по твоему govno'кумиру в последней строке хита, которым ты со дня на день начнешь наслаждаться. То ли еще будет...

Current mood: morose (морозное)
Current music: Александр Серов – «Я люблю тебя до слез»

5

Вигилия пятая

Хочешь закурить? – Хочешь, я тебе принесу вон ту вон штуку? – Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное? – Ну, хочешь пить? У меня вот тут есть чай с коньяком. – Нет. – Нет. – Нет. – Нет. – Нет. – Нет.

Доктор Фаустус, как и ожидалось, меланхолично слег в постель, узнав об исчезновении Гретхен. Я был весьма расстроен возникшею болезнию доктора Фаустуса и подошел к его постели, дабы его утешить.

И произошел меж нами такой разговор.

«Хочешь закурить?» спросил я доктора Фаустуса.

«Нет», ответил мне доктор Фаустус.

«Хочешь, я тебе принесу вон ту штуку?» спросил я доктора Фаустуса.

«Нет», ответил мне доктор Фаустус.

«Хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?» спросил я доктора Фаустуса.

«Нет», ответил мне доктор Фаустус.

«Хочешь пить? У меня вот тут есть чай с коньяком», спросил я доктора Фаустуса.

«Нет», ответил мне доктор Фаустус.

«Хочешь признаться в том, что это ты виноват в том, что ушла Гретхен?»

«Нет».

«Хочешь приняться за чернокнижие?»

«Нет».

«Хочешь заклясть дьявола?»

«Нет».

«Хочешь подписать договор с чертом?»

«Нет».

«Хочешь выпустить кровь в тигель, поставить тигель на горячие уголья и расписаться?»

«Нет».

«Хочешь, чтоб тебе явился дьявол?»

«Нет».

«Хочешь, чтоб появились у тебя в комнате лев и дракон и стали биться друг с другом?»

«Нет».

«Хочешь увидеть большую старую обезьяну?»

«Нет».

«Хочешь, чтобы приятно заиграли инструменты – сперва орган, потом фисгармония, потом арфы, лютни, скрипки, литавры, флейты, гобой, трубы и другие, каждый в шесть голосов?»

«Нет».

«Хочешь жить свинской и эпикурейской жизнью?»

«Нет».

«Хочешь вступить в брак и жениться?»

«Нет».

«Хочешь, я буду каждую ночь и каждый день приводить тебе в постель любую женщину, какую ты увидишь в этом городе или где еще, если ты пожелаешь ее по воле своей для блуда?»

«Нет».

«Хочешь предаться мерзкому и ужасному блуду с дьяволом?»

«Нет».

«Хочешь, я дам тебе большую книгу о всевозможном волшебстве и нигромантии?»

«Нет».

«Хочешь заняться астрологией?»

«Нет».

«Хочешь узнать, как Бог создал мир?»

«Нет».

«Хочешь узнать, как впервые был создан человек?»

«Нет».

«Хочешь, к тебе явятся все адские духи в своем подлинном образе и среди них шестеро самых главных?»

«Нет».

«Хочешь узнать, кто создал насекомых?»

«Нет».

«Хочешь совершить путешествие в ад?»

«Нет».

«Хочешь путешествовать по звездам?»

«Нет».

«Хочешь путешествовать в знаменитые города и земли?»

«Нет».

«Хочешь узнать про духов, которые мучают людей?»

«Нет».

«Хочешь узнать о падающих на землю звездах?»

«Нет».

«Хочешь наколдовать одному рыцарю оленьи рога?»

«Нет».

«Хочешь сожрать у одного крестьянина воз сена вместе с телегой и лошадью?»

«Нет».

«Хочешь перенести шестерых благородных графов по их желанию по воздуху в Мюнхен, на свадьбу сына баварского герцога?»

«Нет».

«Хочешь занять у одного еврея деньги и дать ему в залог свою ногу, которую сам отпилишь себе на глазах у еврея?»

«Нет».

«Хочешь продать шесть свиней, каждую за шесть флоринов?»

«Нет».

«Хочешь волшебством воздвигнуть большой замок на одной вершине?»

«Нет».

«Хочешь спуститься со своими студентами в погреб епископа Зальцбургского?»

«Нет».

«Хочешь, в комнату войдет старая обезьяна и станет отплясывать разные красивые танцы?»

«Нет».

«Хочешь вызвать заклинаниями Елену?»

«Нет».

«Хочешь проделать одну манипуляцию, от которой у некоего крестьянина взлетят на воздух шесть колес его телеги?»

«Нет».

«Хочешь призвать к себе шесть дьявольских суккубов и с ними со всеми совокупляться, и чтоб каждый из них являлся тебе в другом женском образе, такой красы, что нельзя сказать?»

«Нет».

«Хочешь, у тебя поселится Елена Греческая?»

«Нет».

«Хочешь побеседовать со своим слугой о завещании?»

«Нет».

«Хочешь назначить своего слугу Вагнера своим наследником?»

«Нет».

«Хочешь посокрушаться и повздыхать о своем дьявольском житье?»

«Нет».

«Хочешь пожаловаться на то, что ты должен умереть в свои цветущие дни и молодые годы?»

«Нет».

«Хочешь пожаловаться на преисподнюю и ее несказанные муки и терзания?»

«Нет».

«Хочешь без сна посидеть в кресле за книгою на откидной подставке?»

«Нет».

«Хочешь полежать на цветущем лугу?»

«Нет».

«Хочешь полежать без движения на старой прадедовской кровати?»

«Нет».

«Хочешь полетать на облаке?»

«Нет».

«Хочешь прогуляться по саду?»

«Нет».

Тогда я наконец сдался и в отчаянии отошел от постели доктора Фаустуса.

Комментарии к «5»

Сей тошнотворненький эпизод-катехизис вновь слеплен из отвратительных ситуаций из Народной книги, а также из не менее gnus'ного стихотворного переложения типично немецкого пошляка Гете. Возникает подозрение, что мудак-автор полностью не читал и эти беспрецедентно убожеские экземпляры из кунсткамеры Старой Культуры. Кажется, он просто переписал для вопросов своего несообразного Вагнера названия глав из шписовских побасенок и ремарки из гетевских бредней, которые бесславный, еще в юности помаразматевший фриц почему-то обозвал «трагедией». Ну и все это замешано на так называемом Данииле Хармсе, совершенно непонятно кем и за что прославленном шизофренике.

55. И произошел меж нами такой разговор...

Несколько переиначенная фраза из романа «Голод» норвежского журналиста и фашиста Кнута Гамсуна, которую этот самый, этот самый Хармс поставил эпиграфом к кошмарно-несуразной повестушке «Старуха», самому крупному (экий мелочник!) своему произведению (у Хармса фраза звучит так: «*...И происходит между ними следующий разговор*»). А романишко «Голод» – отвратно-абсурдное автобиографическое произведение про ничтожного голодающего журналиста (такого же, каким, по-видимому, является наш аноним; его симпатии к скверным представителям второй древнейшей просто очевидны).

56. «Хочешь закурить?» спросил я доктора Фаустуса...

Первые четыре вопроса-ответа украдены из «случая» (так г-н Ювачев величал свои «автоматические письма») Хармса под названием «Охотники». В чем смысл этой паршивой аллюзии мудавтора? Не знаешь, прикидывающийся idiot'ом (а может, и на самом деле им являющийся) читатель? Странно, странно, что якобы не знаешь... Да ведь это же намек на мою любимую писательницу XXI в., судак ты эдакий, – Ольгу Фарш.

Вот зачем здесь и Хармс. Ты, бульварный читатель, разумеется, никогда в жизни (до этой книги) не читал истинную авангардную литературу. Придется поэтому разъяснить тебе, в чем величие Ольги Фарш, возможно, второго после меня литератора этого столетия (тысячелетия?)

Антиутопия Ольги Фарш «Хармсдания» (2042) рассказывает о жутком тоталитарном будущем. Идол и кумир страны Хармсдании – стариннейший, века назад почивший писатель Хармс. Повсюду в этой стране висят плакаты: «Не вынимай из головы шар!»; «Все писатели, художники, композиторы и химики – govno!»; «Бейте людей по морде – это так приятно!»; «Помни: кавео, или камни внутрь опасно!»; «Пейте уксус, господа!»; «Женщина – это станок любви!»; «Все хорошие бабы – толстозады!»; «Хо-ля-ля!»; «Хэ-лэ-лэ!»; «Дети, старухи и покойники – это отвратительно!»; Морозов, Угрозов и Запоров пришли к Ивану Петровичу Лундапундову!»; «Машкин убил Кошкина!»

Все население этой страны было разделено на немногочисленных наделенных безграничной властью – Машкиных – и основную ущемляемую массу народа – Кошкиных.

Главным преступником считался еще более давно почивший поэт Пушкин. Пушкин у Фарш – это оруэлловский Голдстейн и сталинский Троцкий.

Главный герой – первоклассник по имени Даниил (всем детям давали такое имя, чтоб хоть отчасти облегчить их существование) как-то написал на стене: «Я помню чудное мгновенье» (видно, услышал от каких-то злостных, скрывающихся пушкинистов).

За это (а главным образом за то, что первоклассник был ребенком) над Даниилом совершили казнь – отправили его в дом к безумным, вываливающимся из окна старухам...

Жуткая книга, производящая сильнейшее, неизгладимое впечатление.

Однако прославилась Ольга Фарш еще раньше – в 2037 г., выпустив биографию пустого, легкомысленного, не оставившего никакого следа в истории литературы журналиста и поэта (пове-

сы, считавшего себя поэтом) XIX в. Александра Пушкина. Называлась эта биография «Жизнь Пушкина».

Ольга Фарш признавалась в одном интервью, что не имела не малейшего представления о действительной жизни этого поэтишки (а кто его имел, тем более в XXI веке?), поэтому ее книгу надо воспринимать как прекрасный художественный роман и не искать в нем черты убогого жанра «нон-фикшн».

Надо сказать, своей книгой Ольга Фарш полностью доказала свое абсолютное (и абсолютно, действительно, справедливое) незнание жизни Пушкина.

Вот характерный пример из первой части («Детство Пушкина»):

«В лицее Пушкин часто прижимал к стене одноклассниц. У одноклассниц была очень пикантная форма: коротенькие платьица с коротенькими рукавами.

И вот Пушкин прижал к стенке очередную симпатичную одноклассницу. Он залез ей руками под юбочку и стал щипать ее ягодицы. Девочке показалось, что ей больно, и она попыталась вырваться, но тут же она вдруг поняла, что ей эта процедура скорее нравится. Тогда она даже для удобства склонила голову на плечо Пушкина.

Пушкин увлекся и все истовей и истовей щипал девочкины ягодицы, все более и более при этом тормоша их из стороны в сторону и слегка даже проникая в углубление между ними своими изящно отточенными, по тогдашней лицейской моде, ногтями.

Девочка совершенно от такой приятности забылась и вцепилась зубами Пушкину в шею. Теперь по-настоящему больно стало уже Пушкину, но ему-то как раз причинения боли от девочек и хотелось, поэтому он был доволен.

В это время по коридору шел директор лицея Жуковский. От изумления он застыл на месте, в метре от Пушкина и девочки. Девочка в это время как раз испытывала первый в своей жизни оргазм, и отреагировала она на это значительное событие своей жизни следующим образом:

Прокусила Пушкину шею. Вырвала зубами кусочек кожи из пушкинской шеи. В последней агонии разрядки выплюнула этот кусочек куда-то вверх.

Кусочек пушкинской кожи плюхнулся на лысину Жуковского. Это стало как бы неким знаком преемственности поэтических традиций – от одного поэта к другому.

Шрам на шее Пушкина сохранился на всю его недолгую жизнь.

А Жуковский именно в тот день произнес свою легендарную фразу:

– Ученик превзошел учителя!

А вот девочка наша в истории не осталась. Обидно, ведь она-то как раз вела себя в этой ситуации всех незаурядней. Извечная женская дискриминация, черт ее возьми!»

(...)

58. «Хочешь жить свинской и эпикурейской жизнью?»

Выражение взято из проповеди еще одного шизофреника-галлюциониста (на этот раз – немецкого, жившего в XVI в.) – Мартина Лютера, реакционного влиятельного священничка, чьи idiot'ские положения о религии пропитали дрянную Народную книгу о докторе Фаусте (а потом и дрянную трагедию Гете, а потом и дурной роман Булгакова).

См. также строку из «Посланий» (1, 4) кошмарного и никчемного журналиста и поэтишки Квинта Горация Флакка, жившего в Риме в I в. до н. э.: «Свинья из стада Эпикура» («Epicuri de grege porcus»; а впрочем, долой иные языки, кроме русского! – они отвратны, и заниматься ими – удел жалких ремесленников-переводчиков).

59. «Хочешь предаться мерзкому и ужасному блуду с дьяволом?»

Грязный намек на грязные намеки, сделанные как-то одним грязным изданьицем.

Грязный читатель! В отличие от тебя и твоего паршивца-кумира из «Фауста и пацанов», аз есмь великий, неоспоримый, не имеющий аналогов в своей мужественности и натуральности,

вековечный, первейший и тысячепроцентнейший гетеросексуал! Я – главный гетеросексуал планеты, и это так же верно, как то, что я – самый гигантский сексуальный гигант Вселенной.

Никогда, никогда, никогда я не

стану pidaras'ом,

как пел ретропевец, слегка занимавший меня в детстве, Шнуров (CD «Пираты XXI века», 2002, трек 03).

Поняли, pidor'ы?

60. «Хочешь вызвать заклинаниями Елену?»

Glup'ый и неуместный намек на Леночку. При чем тут заклинания?

V

М е ф и с т о ф е л ь
Ведь эта glup'ость до того жалка,
Что даже потерпевшего не жалко!
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Мне страшен вкус плохой, манерность наших дней;
У дедов много он был лучше, хоть грубей
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

М е ф и с т о ф е л ь
(ручкой веника бьет посуду)
И мы содом
Произведем –
И поделом!
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Нет! Мы должны карать безжалостной рукой
Всю gnus'ность светской лжи и пустоты такой
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Ф а у с т
Нет, неприемлем этот шаг.
М е ф и с т о ф е л ь
Подумайте, какой святоша!
Доныне, господин хороший,
Ты ложных не давал присяг?
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Я – плохиш.

Я – плохишейший из плохишей.

Сегодня утром я проснулся в преприятнейшем настроении, предвкушая стремительный каскад неистового журналистского глумления; предполагаемые заголовки празднично-фейерверочными вспышками освещали мой мозгучий мозг («Лидер группы “Фауст и пацаны” выбрал очень оригинальный способ для просвещения публики относительно своей секс-ориентации»; «Гомосексуализм как болезнь богемы: и в среде настоящих “пацанов” встречаются напыщенные геи»; «Фауст-педерауст»).

Я в нетерпении-предвкушении-априорном-глумлении стал щелкать каналами Теленета.

На одном канале показывали вполне никакущий клипец. Некий мэн шел по городу и под безвкусное бум-бум-пиликанье говорил (а отнюдь не пел, как, например, в моей великой группе; нет, просто tup'ейшим образом читал, с псевдовыражением) примерно такие слова: «Я – плохой. Меня можно ненавидеть. Судите сами: я злой, завистливый, жадный, я никого не люблю, я всем делаю сплошные пакости, я презираю этих gnus'ных людишек этого gnus'ного мира. И ОНА меня ненавидит, я просто уверен в этом... Да, я – плохой. Меня можно убить... Меня следовало бы убить за то, что я настолько плохой...»

«Удачно, – подумал я. – Это же просто про меня сказано. Ну совершенно обо мне. Мило, мило... Надо будет подумать над каким-нибудь подобным проектом...»

На другом канале шла квазиисторическая программа о Старой Культуре с ублюдочными актеришками, изображающими сцены из якобы сто лет назад снятых фильмов. Все это подавалось с лженаучным пафосом, но историческая подоплека никуда не годилась (черт возьми, как быстро все позабыли азбучные истины из дореформенных школьных учебников после долбаного УСК!).

Слащавая дикторша вещает за кадром: «Вот так выглядела типичная сцена из советского военного фильма до 1953 года».

На экране – черно-белый интерьер жалкой больничной обстановки (которая была бы черно-белой даже в цветном фильме; ох уж мне, эстету с тончайшим вкусом, все эти доморощенные стилизации). Радостная, бравая и плоскогрудая медсестра входит в палату к двум изрешеченно-оптимистичным фронтовикам с лубковым русским подносом. На подносе – три стакана и фляжка (какая дурость!) До издевки улыбчивая медсестренка гаркает-каркает: «С праздничком, бойцы! С первомайским днем труда!» Полутруповые фронтовики карикатурно оживают; облизываясь, потирают загипсованные ладошки. Когда у каждого присутствующего в руке оказывается полный стакан, один из образцовых бойцов (самый израненный, но и самый бойкий) гаркает-каркает следующее: «Ну, братцы, за дорогого нашего товарища Сталина!» Троекратно-дружное «Ура!» и дружно-залпочное опрокидывание стаканов.

Сахарный голосок невидимки продолжает: «А вот как выглядела типичная сцена из советского военного фильма после XX съезда КПСС, когда культ Сталина был разоблачен».

На экране повторяется все, что мы только что видели (жалкий комикс). Только реплику о Сталине произносит уже другой участник тошнотворного спектакля – этакий gad'остный интеллигентик, тыловая крыса, случайно заползшая к лечащимся красноармейцам. Когда добряки-фронтовики оросили и его противно-стерильный кубок, ключевую фразу пропищал именно он (полувопросительно): «Предлагаю... за здоровье Иосифа Виссарионовича!?..» Неловкая пауза. Всеобщее замешательство. Во мраке тишины раздается четкий, укоризненный голос самого израненного и самого бойкого: «Э-э-э!» Все неодобрительно покачивают головами.

Следующая кнопка. Милицанерский триллер про доблестных уэскэшников. Сюжет прост и плоск. Я уразумел его за минуту. Некий мерзкий стариздатовец по неосторожности дает почитать неблагонадежному (стук-патриоту!) знакомому одну из тех мерзких кустарных книжонок, которые пытаются реанимировать эту мерзкую Старую Культуру. Однако у стук-патриота есть милый (отстук-непатриот) брательник, который предупреждает симпатичного антагониста-стариздатовца, отважно и глупо «сохраняющего» СК. Схема прямо водевильная: только стук-патриот – за дверь, с доносом для Милицанеров, как милый отстук – следом за ним, с предостережением для стариздатовца. Стариздатовец, натурально, пускается в бега, но у негодяя есть любовь (разобязательная love line, куда ж без нее!) Негодяю через десятки рук передают послания от возлюб-

ленной, а та будто нарочно пишет так, чтоб он совсем потерял голову. Он, собственно, и теряет – рвется к ней на устарелом поезде. Храбреца гложут предчувствия: он сходит за две станции и добирается на попутных машинках, превращаясь в героя классического для прошлого века road movie. Конечно, он добирается; естественно, у него дома уже засада. А затем, конечно, естественно (как говаривал блистательный косноязычник Зощенко), он... вовсе еще не попадается уэскэшникам (кино только началось; впрочем, ты, книгочитатель и кинопожиратель, безусловно, ходил в 3D-киношку на это govno; может быть, даже два раза). А затем, хотел я дорассказать, – унылая цитата из «Pulp Fiction» (хотя уже и там это была цитата; я вырос на ретро, помни, футуристически-безмозглый читатель): стариздатовец застает в своем сортире уэскэшника (а когда тебя застают в сортире, это всегда невыгодно только тебе). А потом, в предвкушении разинувший рот, на детективах воспитанный читатель, потом... я вырубил чертов Теленет ко всем Мефистофелям!

Что они – с ума посходили, халтурщики-Теленетчики?! Громоподобная новость: вчера! уже вчера, а они еще не проснулись! в ротацию вышел новый суперхит «Фауста и пацанов» с восхитительно-шокирующей последней строкой, а эти выродки крутят убогие кинокомедии!..

Поглощатель-читатель! Тебя озадачивает моя труднодоступная в ее гениальности манера изложения? Да, я сосредотачиваюсь на пустяках, ничем это не обосновывая; выдумываю и на ходу сочиняю свои никогда не существовавшие монографии; неуемно кокетничаю точкой с запятой (а также скобками и проч.)ими персональными стилистическими изысками и странностями...

Glup'ыш, ты ждал от гения слюнявого разжевывания, к которому привык? Ты жаждешь выписанных портретов Маргариты и Геннадия; ты не представляешь, как выглядит первая, и на этих страницах еще ни разу полноценно не возник второй.

Тебе до смерти надоели упоминания о моей гениальности и твоей tup'ости (выгодный контраст для меня; а до простых смертных вроде тебя непреходящему гению дела, естественно, нет).

Ты хочешь не этих гэгов и хохмочек, а более свойственной романам (обычным романам, подчеркну; обычным – не выдающимся) обстоятельности и тяжеловесности. Психологичности и философичности. Последовательности и продуманности...

Я понимаю тебя, жалкое, едва грамотное создание. Да, понимаю. Это быдлу никогда не понять художника: художник же примитивное быдло видит насквозь, как биолог – амебу и инфузорию-туфельку в микроскопе.

Но неужели ты думаешь, что я под тебя прогнусь, примитив ты этакий?

Нет, дурашка, не прогнусь. И читай дальше, что есть (и будешь читать, несмотря на то, что я предупреждаю: никакое из твоих желаний и ожиданий не оправдается).

Я не позволю себе осквернить образ Маргариточки, нарисовав его (пусть и своими всемогущими красками) для твоих похотливых мыслишек.

Упоминать поганого фронтмена я буду только тогда, когда сочту это нужным (а не когда этого требуют tup'ые читатели и так называемые законы прозы), и только тогда, когда это упоминание будет выставлять в выгодном свете меня (согласись, приунывший читатель, что негоже тебе видеть выдающуюся личность и гения... скажем, в туалете или когда он хотя бы чуточку не на высоте).

Я по-прежнему ни на йоту не задумаюсь о традициях, а тем паче – о тебе.

Я по-прежнему – великий мизантроп, и для такого паршивца, как ты, никакого поганого исключения делать не буду.

Впрочем, вытри слезы, плакса. Ты помнишь, я обещал кое-что пикантное для тебя, рукоблудишка. Педерастия, некрофилия и зоофилия, а, помнишь? Боги все же не снисходят до того, чтобы лгать своей пастве, – если уж что обещано, то это исполнится.

Так что продолжай ковылять по ослепительной дороге моего ослепительного романа (и ни в коем случае не делай перерыва сейчас – ведь сцена с одной из обещанных перверсий вот-вот захлестнет твой чего ни попадя жаждущий разум).

Кажется, я – единственный в ЖЖ юзер (читай между строк: величайший из юзеров), еще не высказавшийся о сексоцентризме. Что ж, это удел великих: плевать на злобу дня, на сиюминутное, преходящее, паскудно настоящее; что тому, кто останется в веках, такой насекомский мизер, как смена политического режима или очередная мировая война!.. Единственное, чего недостает всякому бесспорному истинному гению (а таковых в мировой истории не наберется, может, и с десяток), – это власть над прошлым; но прошлое так незначительно, мелко и коротко в сравнении с бесконечным будущим, что, право же, грех гению пенять на то, что младенчество мира еще не застало его, уникума, гиганта мысли и секса...

Однако же не забывай, пугливый забывчик, что самому себе гений никаких границ поставить не может; нет-нет, да и наступит шикарной галошей в обывательскую лужу (все специально, злорадный дружок, не ликуй: гений даже в лужу падает осознанно; но тебе этого не понять) или снизойдет до пошлости и публицистики. Гений может все – пойми это и не завидуй.

Вот и я, несмотря на всю свою самоочевидную непреходящесть, сбормочу пару ленивых (и оттого – особенно бесценных) слов о вульгарных приметах вульгарного дня сегодняшнего...

Ну да, сексоцентризм (перечитай-ка, ретроспективно-ретроградный читатель, мою главу, освещающую освященную мною Маргариточку, и обрати-ка, склерозник, внимание на ту восхитительную фразу, кою я в потоке свойственной мне вдохновенной импровизации небрежно выплюнул, не разжевав; дескать, тому, кто блестящей всех блистает в практике, теория только набивает оскомину; перечитал? вспомнил? вот то-то и оно-то – гений даже самого себя предвосхищает).

Ну да, короче говоря, сексоцентризм. Нормально для такого магистра, маэстро, мессира и мессии этого дела, как я. Но уныло как религия. Если б в небезызвестной стране в искусно-искусственно подзабываемом XX в. победили не марксисты, а фрейдисты, лучше бы небезызвестной стране все равно не стало. Сегодня они, неофрейдисты, отморозившие себе все истоки, строго говоря, у нас и победили.

И что мы наблюдаем? Впрочем, мне, гению, все эти наблюдения до лампочки али даже до солнца (если не сбиваться с патетически-аристократичного тона), а вот тебя, гоняющийся за передовыми теориями и ересями читатель, они наверняка занимают. Если хочешь (а ты, хочундрочун, хочешь), объясню. Итак, что же ты, дурачок, наблюдаешь? Ты видишь, что, как при всяком тоталитарном режиме, есть определенные достижения в области светлой идеологии (здесь – шесть баллов, впервые за всю историю) и светлом спокойствии, основанном на светлом страхе. Но ты видишь также, что эта прекраснейшая из всех идей – как это всегда и бывает, слишком неподъемна и непосильна для большинства (которое в умственном, нравственном и прочих отношениях – несомненное меньшинство) твоих унылых сограждан (а скорей всего, и для тебя самого).

Бахвальство половыми органами и состязания по половой мощи (при всем праздничном и вечном, что, казалось бы, имманентно (а не импотентно) присуще подобным явлениям) не могут не вызывать gad'ливое отторжение здорового обывателя (тем более – сверхздорового феномена), если половые органы смехотворны, а вместо мощи – тотальная немощь.

В каком-то смысле сексоцентризм даже ужасен. Он открыл миру глаза на то, что этот самый мир – жалок, gad'ок, мелок и по сути все-таки импотентен. В основе основ, в извечном и первичном царит, как оказывается, самая прискорбная деградация. Когда все интимное прятали в себе, за пазухой, в сейфах и кладовых, о мировом половом бессилии никто и не подозревал; каждый полагал, что либо у него самого все с этим хорошо либо если уж у самого не хорошо, то у всех-то все в порядке.

Но теперь ты видишь, бессильный и безграмотный во всех (в т. ч. в сексуальном) отношениях читатель, что ничего, как ни прескверно, ничегошеньки-то не хорошо.

Повальный тотальный сексуальный ликбез привел к тому, что человек (и до того-то не внушающий самому себе надежд на свой счет) понял, что он и в этом, личном, интимном, предельно телесном, но почти внутреннем (опять же – *когда-то*), – ниже всякой критики (даже той, которая позволяет себе делать вид, что сомневается в моей всегениальности). Увы, икающе-увыкающий

читатель, ты понял, что талант в области секса – такая же редкость, как талант в области искусства. Отсюда и вся твоя оппозиция, смешная и нелепая (какой оппозиция всегда и бывает).

Кто-то еще удивляется, при чем здесь УСК и беспрецедентно суровое табу на ненормат. Как раз с этим все яснее ясного неба. Особенно с ненорматом: какая власть позволит приземлять главные государственные символы до уровня самых низко-низменно-народных и глумливых словесных эквивалентов?

В общем, даже не возникай, выскочка-читатель. Забудь слово «буй» с крестом вместо первой буквы. И смотри свою порнографическую гимнастику...

Все эти шоу, безусловно, омерзительны. Если бы гения можно было оскорбить, они бы меня оскорбили. Еще один побочный эффект сексоцентризма: педерасты (хотя они еще в старину), некрофилы и зоофилы рванули из половых щелей со страшной силой (о ужас! их гораздо, гораздо больше, чем мы когда-то наивно думали!)

Даже ты, tugodum'ейший из читателей, уже заметил, что в УК (на этот раз – не в УСК) остались единственные две милые сексуальные статьи (и совершенно правильные). Да, шалун, насильничать и педофильничать нехорошо. Забавно только, что в нашей ублюдочно-безвкусно проэротизированной Новой Культуре эти две темы – традиционные для Старой Культуры (в отличие от некрофилов и зоофилов) – приравнялись, видимо, к осуществлению подобной gnus'и на практике (притворная вера в тождество искусства и жизни – еще одна характерная черточка всякой тоталитарщины). То есть «Лолита» Набокова (если б ты, еслибыдакабышный читатель, ее когда-нибудь читал, стыдливо засмеялся бы от ее целомудренности) сейчас категорически недопустима (приятно, что хоть одно произведение прошлого поганые деятели НК не переиначат-перепачкают для своих меркантильных нужд). А какая-нибудь «Санькина любовь» Сорокина прогремела бы на ура...

Плутишка-читатель! Ты уже начинаешь притворяться, что клюешь носом? Что ты якобы устал от моих отступлений (я отступаю, но с кутузовским знанием дела). Ты помнишь, что я обещал тебе gnus'ную сценку для твоих gnus'ных нужд! Я обманул тебя, разиня (ты помнишь? – гению можно все и всех). Но я не соврал (оцени этот мой оксюморон – обманул, но не соврал; кто еще из гениев блеснул бы подобным?) Пакость-сцена будет. Но тебя она не особо вдохновит. Ведь ты уже прекрасно видел эту сцену буквально вчера, в твоем любимом омерзительном, квазисексительном шоу.

Я подобрал с пола ублюдочные трусы недоноска-фронтмена и швырнул их ему в морду.

– Собирайся, идолишко миллионов. Шоу не ждет.

Он вскочил, перепуганная обезьяна.

Да, читатик, вот я и явил его тебе – держи (а я тщательно буду мыть руки после этой главы).

– Я так и не спросил, – мычал он удивительно бесцветным голосом (daun из daun'ов, когда не поет; а по выражению лица – всегда), – не спросил, че это вы вставили в последнюю песню какую-то tup'ую фразу?

– Прости, ты сказал: tup'ую? Значит, твой продюсер и благодетель – tup?

– Я не то имел в виду. Там была... такая... неправда про меня... что я, мол, гей...

– А что – нет?

– Да нет так-то.

– Ох, прости, малыш. Я не знал.

– Вы уж поаккуратней в следующий раз. А то все и взаправду решат, что я голубой, – он стыдливо захихикал, мудила.

– Вообще-то это продюсерский ход, мой glup'ый Фауст, – мрачно добавил я. – Ты забываешь, что все это шоу-биз. Он требует жертв.

– Но послушайте, – он остановился, tormoz такой, не дозастегнув рубашку. – Меня это как-то не устраивает. Я ведь никакой не...

– Тебя не устраивает, – перебил я, – что? Ну-ка, что именно тебя не устраивает? Швыряться деньгами, жить как Бог, то есть почти как я? Это тебя не устраивает?

– Да нет, – tup'o потупил взор. – Это-то, конечно, устраивает.

– Так вот все это, – умело приподнял я голос на октаву, – происходит благодаря моим гениальным продюсерским измышлениям. Бестолочь, выход последнего сингла не привнес бы ничего нового, ничего не дал бы тебе. О тебе уже начали бы забывать. А так – снова говорят, и все больше и больше. Вот и все, и... Помолчи... И сейчас мы поедем на самое популярное шоу в этой ненормальной стране, а именно – «Секс со звездой»...

– Я не пойду на это мерзкое шоу, – взвился козлом. – Тем более – самое популярное не оно, а «Кондом-22».

– На «Gondon'a» мы тоже пойдем, не переживай, – проскрежетал я. – Но сегодня – на «Секс». Не заставляй меня прибегать к уловкам мошенника Бендера, толкающего Воробьянинова на прошение подаяния.

Он молча и злобно застегнул последнюю пуговицу и посеменил к выходу, теряя семя (которого у него нет). Я нарочно прибегнул к idiot'ской реминисценции – когда idiot не понимает, о чем я говорю, он беспрекословно подчиняется: как и все дураки, он ненавидит, когда ему намекают на его idiot'ство.

– У нас в гостях, – завопил приторный pedik-ведущий в фиолетовых лосинах, накрахмаленных локонах и в жабо из сахарной ваты, – лидер группы «Фауст и пацаны – вокалист Геннадий!..

Вспыхнул красный: движение (ведущего) остановлено; аплодисменты, пожалуйста.

Публика совершила синхронный всплеск. Симметрично рассаженные умельцы подвыли.

– ...и его продюсер, – скромно добавил ведущий, с опаской (небезосновательной) косясь на меня.

Красный свет не зажегся; публике не дали поприветствовать истинного любимца.

– А теперь – нуте-с, – с места в карьер осклабился ведущий, посматривая в зрителей, – кто же сегодня из пришедших тот счастливчик, что познает звезду?

Выражался он, конечно, как истый новокультуровец, безграмотно донельзя.

– Не забывайте, – верещал-взвывал он, – что, как мы знаем из последнего, сегодня вышедшего, боевика «Фауста и пацанов», наш Геннадий... э-э-э, любит мужиков!

Поэт, твою мать.

– Мужички, ау! – пискнул ведущий, фиглярски приставляя ладонь к напомаженному рту лошади.

– Да я не то чтобы... – начал было мой протеже (чью «же» кто-нибудь с минуты на минуту потревожит, ха-ха!).

Я изловчился и по-pedik'овски ущипнул его за ягодицу. Камера захватила только его дерг и радостно обернувшегося ведущего.

– А-а, – распахнул зубастую шкатулку ведущий-педущий. – Геночке уже не терпится? Так кто ж у нас смелый? – вновь воззвал к залу.

– Например, я, – робко приподняла лапку некая толстая барышня.

Фронтмен обрадованно приоткрыл рот, но ведущий пресек эту гетеросексуальную попытку.

– Э, нет, девочка, садитесь, – волевым движением усадил толстушку. – К тому же, странно как-то. Сдается мне, именно вы – та удачница, что в шестьдесят девятой позе ублажали в прошлом году Аленушку Матерую. Стыдитесь же, сударыня, будьте моногамной: либо парни, либо девчата, либо... так сказать, зверята...

Девушка покрылась красным светом аплодисментского прожектора. Захлопали – не ей, «остроумию» ведущего.

Ведущий слизнул клочок помады с губешки:

– Мальчики! Пареньки! Боровички, скажем так!.. Я взываю-таки к вам. Але, гей-гараж!

Нехотя, одновременно привстали двое, тут же раздосадованно уставившись друг на друга.

– Ку-ку, ребятки! – похлопал себя по щечкам ведущий, привлекая внимание. – Вы нашли друг друга, я безумно счастлив за вас. Но взаимоотделкой вы займетесь у себя дома – это никому неинтересно. Сейчас – решайте-ка, кто из вас все ж таки наиболее, я извиняюсь, смелый?

Фронтмен от напряжения выдрал у себя клок волос.

Парочка привставших гомоклоунов годилась для цирка или комедийного сериала. Тощий долговяз-botan в очочках и жирный бритоголовый увалень в кокетливой майке. Фронтмен мой молился, верно, на очкарика. Я с надеждой посмотрел на мастеровитого ведущего.

– Как разрешить эту дилемму? – театрально ударил себя по сердцу ведущий. – Не меряться же силой, это как-то... по-мужски, что ли, простите за выражение. Может, померитесь членами?.. Или, как мы знаем из учебников, размер имеет лишь эстетическое значение?..

– Пусть выберет... – вякнул было худосочный pidor.

– Пусть всегда будут яйца! – зычно моргнул на очкарика ведущий. – Мы не на выборах, господа. Здесь не выбирают, а вбирают. Не усаживают, а насаживают. Здесь вам не Старая Культура... Пусть скажет свое ласковое словечко здоровяк!

Жирдяй, морщась, почесал фаллообразную черепушку.

– Да давайте я пойду, – сказал он. Просто и незатейливо.

– Премилое решение! – просиял ведущий.

Под подкрасниваюшиеся аплодисменты глыба, подпрыгивая, покатилась к нам.

Вьющиеся волосы фронтмена встали дыбом. Он стал похож на инопланетянина...

Мерзопакостно закусивший губу читатель! Ты доволен? Как бы то ни было, я думаю – довольно. Вчера это транслировали по экрану. Не будем обсасывать подробности на сто рядов (ведь ты не хуже тех ста рядов зрительного зала узрел этот подробный отсос). Мой изумительный слог, несомненно, представил бы эту омерзительную похабщину в свете высокого искусства. Но мне, последнему великому натуралу Вселенной, претит педерастия (некрофилию я с легкостью освещу поподробнее). А ты, фанат фанатичного извpата, насладись пока завтрашним хитом «Фауста и пацанов». Представь, как это будет петь твой идол-pidor, и спи спокойно:

Было дело в Грибоедове

Дело было, чуваки, в Грибоедова –
Прям посреди шикарного обедова.
Двенадцать литераторов (ну прям, blin, апостолов) –
Не то чтоб без цели, не то чтоб так просто, blin,
А просто Берлиоз им заседанье здесь назначил,
Но профессор, как вы помните, им все переиначил.
А тут еще, слушайте, прямо к ресторану
Стал подходить тот самый, кого зовут Иваном.
Он огонечком издали как-то притворился,
А люди hren'ели: че там за светильце?
Но тут подошел к ним со свечкой Иван,
И все типа обрадовались, что не самообман.
И Иван сказал тут им несколько развязно:
«Это что такое здесь? Кушаете мясо?»
Кто-то тут сказал: «Делириум че-то там ...мор!
Белая горячка. В натуре, перебор».
А Иван продолжал нести всякую fig'ню:
«Мишу Берлиоза убили, ню и ню!»
«Как это убили?» – Ивану в ответ.
«А вот так – убили. Убили – и привет!»

«Ну не fig'а себе какие творятся дела!
Мишу замочили! Замочили – fig'а !
Кто его убил? Какой такой gondon?»
«Иностранный консультант, профессор и шпион!
Фамилия его начинается на "Ме"...
Ой, простите, перепутал – не на "Ме", а на "Ве"!»
«Че-то ты гонишь», – сказал один деятель,
И Иван ему выписал шикарного пендаля.
Ну тут на Ивана все, натурально, налетели –
Били, колотили, ваще охерели!
Словом, был gad'кий, gnus'ный, соблазнительный, свинский скандал,
Прям такой, как на шоу «Секс со звездой» с моим участием; помните, а?

Current mood: gloom (глумливо как никогда)
Current music: Алиса Фрейндлих – «Песенка Голубого щенка»

6

Вигилия шестая

Древо зеленеет, солнышко блестит. – Кому из нас можно верить. – Море, море. – Аромат женской груди. – Кто виноват в том, что ушла Гретхен. – Ты непременно напиши письмо! – Какой он удивительный доктор – этот доктор Фаустус!.. – С улыбкой заснул. – Кто вовсе не сердится на своего милого доктора Фаустуса. – Когда доктор Фаустус был маленький...

«Помчимся же за Гретхен! Помчимся за ней!» кричал мне в бреду доктор Фаустус.

«Нет, нет», говорил ему я. «Вам нельзя сейчас вставать!»

«Она же любила меня», зарыдал вдруг доктор Фаустус.

«Теория, мой друг, суха», отвечал я. «Но зеленеет жизни древо».

«Постой, постой», доктор Фаустус вдруг что-то понял и привстал. «Так это ты – Мефостофиль?»

Я вынужден был сказать, что я.

«Только не Мефостофиль», сказал я. «А Мефистофель».

«Так это ты?» сказал доктор Фаустус, схватившись за голову.

Я вынужден был повторить, что я.

«Ты притворялся», сказал доктор Фаустус. «Gnus'ный же ты какой обманщик».

«Все мы кругом обманщики», сказал я. «Никому из нас нельзя верить».

Тогда доктор Фаустус сказал так:

«Ах тот ужасный поток кипящий внизу Ах и море море алое как огонь и роскошные закаты и фиговые деревья в садах да и все причудливые улочки и розовые желтые голубые домики аллеи маргариток и жасмин герань кактусы и она была девушкой и Горным цветком да когда она приколола в волосы маргаритку да и как я целовал ее и она подумала не все ли равно я или другой и тогда она сказала мне глазами чтоб я снова спросил да и тогда я спросил ее не хочет ли она да сказать да мой горный цветок и сначала она обвила меня руками да и привлекла к себе так что я почувствовал ее груди их аромат да и сердце у меня колотилось безумно и да она сказала да я хочу Да».

Доктор Фаустус горько заплакал.

Я спросил:

«О чем ты плачешь?»

И доктор Фаустус, всхлипывая, сказал:

«Вагнер, я обманул тебя. Я сказал тебе утром, когда ушла Гретхен, что это не я виноват в том, что ушла Гретхен, а это я виноват в том, что ушла Гретхен».

Я стал утешать доктора Фаустуса. Я сказал:

«Ну это ничего! Не плачь! Я напишу Гретхен письмо. И она, наверно, тебя простит».

Доктор Фаустус, всхлипывая, сказал:

«Ты непременно напиши письмо Гретхен! Напиши, что это я виноват».

Я стал снова утешать доктора Фаустуса. И тогда доктор Фаустус успокоился и заснул.

Целуя и закрывая одеялом доктора Фаустуса, я подумал: «Какой он удивительный доктор – этот доктор Фаустус – он весь день помнил об этой истории и весь день огорчался, что случайно сказал неправду! Но теперь, когда он признался – ему стало легко, и вот он даже с улыбкой заснул».

На другой день я написал Гретхен письмо. И вскоре Гретхен ответила, что она вовсе не сердится на своего милого доктора Фаустуса и снова ждет его к себе в гости.

Когда доктор Фаустус был маленький, он почти ничего не боялся...

Впрочем, это уже несколько совсем другая история.

Комментарии к «6»

В этой glup'оцитатно-плагиатной скверне вновь прослеживается лизоблюдская попытка утешения меня через унижение моего gnus'ного «соперника». Бред-путаница с псевдоэрудитскими литературными экскурсами форсирует: возрастает как количество нарочитых нелепиц, так и почти безошибочно (единственное, чему можно подивиться) переписанных отрывков из других авторов, прославленных когда-то и поболее нашего анонима, но вполне годящихся ему в кумиры (будь дуракавтор ярым поклонником такого писателя, как, например, я, он наверняка сочинял бы гораздо лучше). Обратите внимание и на дешевый прием «пьесы в прозе»: сплошные диалоги (легкий и низкий жанр), но даже и от их производства автвор устает и начинает красть реплики у предшественников.

61. «Все мы кругом обманщики», сказал я. «Никому из нас нельзя верить».

Я долго вспоминал, где я видел эту фразу, и наконец громоподобно прыснул от разгадки источника этой ничтожнейшей реминисценции. Сей пребанальненький трюизм присутствовал в каком-то из отвратных сочинений так называемого Евгения Новицкого, посредственного журналиста и беспрецедентно idiot'ского графомана, покончившего с собой в 2008 г. Его собратья-газетчики раздули из оного бытового события унылую сенсацию: писали, что виной всему – несчастная любовь вселенских размеров (на самом деле он, видимо, никого не любил, кроме себя). Желтые журнальчики сварганили писаке миниатюрную славу (которой при жизни этот господин, разумеется, не снискал бы, проживи он хоть сто лет; так что суицид в данном случае – вполне оправданный и конъюнктурный шаг; конечно, не без кокетничанья квазипоэтической душонкой). Пару его вздорных книжонок пара сомнительных издательств срыгнула на прилавки; и я бы никогда не додумался, какой именно дешевкой увлекался наш паршивый аноним, если б не мое беспечное младенчество, в коем и я заглотнул десяток-другой трэшевой беллетристики начала века.

62. «Все мы кругом обманщики», сказал я. «Никому из нас нельзя верить».

Я вынужден продублировать комментирование этой фразы, ибо из моей прозорливой бездны памяти внезапно выудился первоначальный источник дурной сей реплики. Она – из нелепой и напыщенной трагедии «Гамлет» английского журналиста и драматургишки-скороспела XVI-XVII вв. Уильяма Шекспира. Можно было бы счесть пример с этой цитатой единственным удачным заимствованием нашего бездумного безумца (учитывая то пространство – 1666 г., напоминаю, не ладящий с такими трудными четырехзначными числами читатель, – в котором автор пыжится изображать свои «события»), если бы не моя абсолютная уверенность в том, что бездумный безу-

мец читал именно Новицкого, а не Шекспира (ибо Шекспир все-таки – чуть (совсем чуть-чуть, но все-таки) сложнее для восприятия, и не по зубам (было бы что кусать!) скудоумцу-автору).

63. «Ах тот ужасный поток кипящий внизу...»

Приводится подлинная концовка романа Джеймса Джойса «Улисс». Джойс – ирландский журналист, грубый строчкогон, умудрившийся, описывая «один день из жизни одного idiot'а», накатать один из самых громоздких романчиков XX в. К чему бы здесь Джойс? – спросишь ты, мало понимающий, что происходит в моей книге, читатель. Ответ прост как все гениальное (то есть как я) и несуразен как все пошлое (то есть как обсуждаемый пасквилянт). Скрытый «смысл» пасквилянтского плагиата очевиден: паршивец, безусловно, знал, что именно восемнадцатый эпизод «Улисса» вдохновил мою любимую авторшу нашего столетия – Ольгу Фарш (вспомни и молитвенно сложи руки, недостойный этого имени читатель) – на создание грандиозного (и по объему, и по оригинальности) учебника советской литературы. Вот фрагмент предисловия к этому учебнику, в котором (и в учебнике, и в предисловии, и даже в приводимом фрагменте) Ольга Фарш виртуозно охватывает все семьдесят лет «золотого века» нашей литературы:

«Революция революция гражданская война это все конъюнктура злоба дня первые продажные поползновения поэтов 12 Блока Маяковский Горький подлец сначала в Новой жизни был прав потом skot'ина приехал прославлять режим обрыдался по привычке своей на Соловках но ничем не помог первые оппозиционеры тоже не сахар вялые Мы Замятина эмигранты более-менее но там тоже актуальщина Солнце мертвых Шмелева а у нас 2 мира Зазубрина почувствуйте как говорится разницу да и Конармия ничего особенного как и Одесские рассказы вообще Бабеля перехвалили он далеко не Платонов а тот молодец Котлован лучшее произведение сокращенный и улучшенный Чевенгур Булгаков был доступнее оттого и больше прославился но тоже после смерти это тенденция такая при жизни прогремел только Шолохов который после Нобелевской ничего и не написал а оно ему надо прирожденный приспособленец и только как Алексей Толстой но тот был искренним циником а Шолохов мерзко притворялся борцом за идеалы нет Булгаков там был все-таки самым достойным как и вся компания из Гудка Ильф Петров Олеша еще Зощенко но он тоже написал главку о Соловках обыватель несчастный прямо как его герои Пильняк наверное мог бы развернуться но его сразу загнобили а его друга Пастернака лучше не трогать жалкий он при терроре какой-то стал то ли дело Мандельштам который конечно юродивый но показал настоящего поэта Ахматова достойно держалась но лучше первых сборников дореволюционных все равно ничего не написала обэриуты вот они жгли хотя и не печатались все в стол все в стол драматургия с самого начала была ничего опять же Булгаков Шварц Эрдман в тридцатые зажали всю сатиру Ильф умер Петров в войну погиб может и к лучшему а то мало ли что вон Булгакова для лагерей не трогали а затравили так что сам заболел а там война Василий Теркин даже Бунин одобрил уж на что сноб Симонов прорывается карьерист ремесленник хотя не без способностей потом понятно лагерники 1960-е Один день Мастера и Маргариту наконец издали не Доктор Живаго конечно но тоже не фонтан Бродский сказал заигрался Булгаков с дьяволом да не с дьяволом даже а с Иешуой и сентиментальным слюнтяйством про неудачника мастера но народ изголодался по аполитичности вот и подавай им сказки на ночь Трифонов поднаторел в ладной бытовухе деревенская проза еще это на любителя конечно но Пряслины например уж получше Тихого Дона а Шукшин уж вообще новатор уровня Аверченко поэтов в России меньше чем когда-либо Бродский сразу уехал а концептуалисты еще в подполье как и постмодернизм потом всплывет в перестройку но там уже все в кучу из драматургов Вампилов не придраться самородок незаурядный погиб рано как многие киноактеры в те же годы застой крушение надежд третья волна эмиграции Довлатов самый из них талантливый все издал только в Америке у нас осталась только Петрушевская чернуха однообразная и какой-нибудь Маканин Айтматов Ким все как-то серо в русле традиций есть еще свежее Вен и Вик Ерофеевы Сорокин но их пока плохо знают только в 1990-е выйдут на свет так сказать вообще история советской литературы закончилась где-то на Детях Арбата впереди беспросвет но нас это мало интересует в концепцию не входит вот это вкратце все».

64. Доктор Фаустус горько заплакал...

С этого момента и до конца tup'ейшего эпизода приводится почти целиком первый рассказ Михаила Зощенко из цикла «Рассказы о Ленине» – «Графин», только вместо зощенковской тети Ани у нашего текстокрада – Вагнер, а вместо Володи – Фауст. И в данном случае даже ты, придирчивый и необоснованно наглый читатель, не найдешь, что мне, гению, возразить, когда я свяжу эту клоунскую перелицовку Зощенко с очередной своей нетленной, непереиздававшейся монографией, а именно – «Образ Сталина в "Рассказах о Ленине" Михаила Зощенко». Зощенко – автор сотен полуграмотных, маловысокохудожественных фельетонов, его лучшее произведение – несомненно, «Рассказы о Ленине». Читай же мою монографию и убеждайся в этом, неверующий невежа:

Образ Сталина в «Рассказах о Ленине» Михаила Зощенко

Как считается, травля Михаила Зощенко, начавшаяся с Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. (О журналах «Звезда» и «Ленинград»), произошла якобы исключительно из-за десятого рассказа в цикле «Рассказы о Ленине» (1940) – «Ленин и часовой». Зощенко в этом рассказе лукаво насмехнулся над Сталиным, придав его черты крикливому и неуравновешенному «служащему», которого неподражаемый зощенковский Ленин с изысканной легкостью осаживает.

Однако всякий внимательный читатель заметит, что Сталин так или иначе, за ширмами разной толщины и просвечиваемости, высмеивается Михаилом Зощенко в каждом из шестнадцати «Рассказов о Ленине». Разберем же все эти случаи.

Первый рассказ называется «Графин». Это рассказ о том, как восьмилетний Ленин разбивает графин. Не вызывает никаких сомнений, что за образом этого самого графина скрывается не кто иной, как Сталин. Зощенко без обиняков говорит, что, останься Ленин жив, он бы разбил стеклянного игрушечного Кобу шаловливым движением ребенка.

Второй рассказ называется «Серенький козлик». В нем говорится о младшем брате Ленина – Мите, pozor'ном трусе. Без сомнения, Митя суть загримированный Сталин. Зощенко не забывает упомянуть и об ошибке Ленина. Вдоволь поизмывавшись над Митей, Володя великодушным жестом короля решил польстить Мите и дать ему понять, что от своей трусости Митя избавляется:

«Маленький Володя поцеловал своего младшего братишку и сказал ему:

– Вот теперь молодец».

Это излишнее шуточное благословение сродни тому, которое Ленин косвенно дал перед смертью Сталину. Если б большой уже Володя знал, к чему это приведет, он, разумеется, сделал бы перед смертью нечто другое. А именно – оставил бы от Сталина рожки да ножки.

Третий рассказ называется «Рассказ о том, как Ленин учился». Сталин здесь выводится сразу под двумя масками – tup'оватого недальновидного министра и одного ленинского «знакомого», умеренно-осторожного и аккуратно-прилизанного.

«Наконец Ленин подал заявление министру. Он попросил разрешение сдать экзамены за всю высшую школу сразу.

Министр удивился и подумал:

"Как он может сдать экзамены сразу? Ведь он в высшей школе не учился. Хорошо. Я ему разрешу, но только он вряд ли сдаст экзамены"».

Сталин, как известно, всю жизнь не понимал гениальности Ленина, прекрасно подчеркивая этим извечную диалектику «поэта» и «толпы».

И – следующий потрясный эпизод этого рассказа:

«...Этот знакомый ему однажды сказал, что надо быть осторожным – тут тонут люди.

– Тонут, говорите? – спросил Ленин. – Ничего, мы-то не потонем.

И тут же заплыл так далеко, что еле можно было видеть его».

Зощенко вновь подвергает всегдашнюю трусость Сталина жестокому глумлению: так и видится, что этот «один его знакомый» Сталиным и был, и стоял с нелепо открытым ртом и дрожа-

щей челюстью, глядя на ловко ныряющего и жизнерадостно отфыркивающегося водоплавающего Ленина, который был настоящим виртуозом купания.

Четвертый рассказ называется «О том, как Ленин бросил курить». Сталин распадается здесь на целую плеяду обывательских «слабовольных людей» в следующем эпизоде:

«...И с этими словами Владимир Ильич вытащил из кармана папиросы и положил их на стол. И уж больше до них не дотрагивался *(обожаю это жеманное зощенковское «уж». – М.)*.

А которые курят, те знают, какую огромную волю надо иметь, чтоб сразу бросить эту привычку. Некоторые слабовольные люди обращаются даже к докторам, чтоб те помогли им бросить курить.

И доктора смазывают им рот каким-то лекарством, чтоб им противно было курить. А еще более слабовольных доктора усыпляют и внушают им разные ужасные мысли о вреде курения. И только тогда эти люди бросают курить. И то многие не бросают, а продолжают курить, имея в голове ужасные мысли о вредности куренья *(«имея в голове ужасные мысли» – блеск! – М.)*.

Но у Ленина была огромная воля. Он без всяких докторов решил бросить куренье. И действительно бросил. И больше никогда не курил.

Это был сильный человек, с железной волей *(очаровательное разжевывание. – М.)*».

Так и видится, как этот сильный человек с железной волей в облике жестокой няньки смазывает безвольному Сталину (с этой его вечной псевдомужественной ублюдочной трубкой) рот какой-то поганью!.. Жесточайшая, что и говорить, антитоталитарщина.

Пятый рассказ называется «О том, как Ленин перехитрил жандармов». Зощенко не знает меры в своем эстетическом уничтожении Сталина и бьет здесь уже ниже пояса, принимаясь за физические недостатки urod'ца Джугашвили. Этот грузинский urod'ец, как известно, был просто карликом, обладал смехотворно пренизким росточком. А теперь скажите, кто подразумевается в нижецитируемом эпизоде:

«...А другой жандарм, **маленького роста** *(здесь и далее выделено мною. – М.)*, но тоже **усатый** и **свирепый**, ходит по комнате и **во все нос сует**».

Ну не гений ли после этого Зощенко? – в одно предложение (еще и аллегоричное, к тому же) вместил все отвратные черты отвратного своего современника! А уж как (уж! уж! я многому научился у своего кумира) Ленин жестоко глумится над жандармом, пользуясь его гипертрофированной низкорослостью, об этом говорить не буду: сейчас! прямо сейчас! немедленно! – разыскивай «Рассказы о Ленине» и упивайся ими до изнеможения!

Шестой рассказ называется «Иногда можно кушать чернильницы» (и это едва ли не самое гениальное название литературного произведения в мировой истории). Здесь продолжает свое развитие излюбленное Михаилом Зощенко сопоставление «Сталин – жандарм». Надзиратель – воплощенное самодовольство – полагает, что ловит гениального Ленина на месте преступления. Но не тут-то было:

«...Надзиратель быстро открыл двери, вошел в камеру и говорит:

– Вы попались. По-моему, вы сейчас что-то на полях книги писали.

Надзиратель смотрит в книгу – нет, видит: книга чистая. Надзиратель хочет взять чернильницу, но в этот момент Ленин сам берет свою чернильницу и спокойно кладет ее в рот. И жует ее.

Надзиратель говорит:

– Что вы делаете? Вы чернильницу кушаете!

Ленин говорит:

– Вы, кажется, ослепли. Это не чернильница, а хлеб. И вот я его кушаю».

Согласитесь, что только Ленин, останься он жив, смог бы сказать Сталину в 1930-е насмешливую грубость вроде: «Вы, кажется, ослепли». Слепец Виссарионыч, разумеется, никогда бы не додумался до столь изысканного трюка, как книга, пишущаяся молоком из хлебных чернильниц; Сталину как царскому провокатору и «сидеть»-то совсем не приходилось... Именно поэтому Зощенко не преминул плеснуть в подслеповатые глазки Сталина сатирической кислотой и в конце этого рассказа:

«Когда Ленин вышел из тюрьмы, он, смеясь, сказал своим родным и знакомым:

– Знаете, однажды мне не повезло, и за два часа пришлось мне съесть шесть чернильниц.

И все засмеялись. А **которые не знали** *(выделено мною. – М.)*, в чем дело, те очень удивились: как это можно есть чернильницы?

Но вот оказывается, что иногда можно кушать чернильницы».

Тотальный глум над «светочем» тоталитаризма продолжается: Сталина, как известно, соратники по партии до революции справедливо считали инфантильным полудурком и абсолютным тир'ицей. Вот всем этим Сталиным, «которые не знали» (и не могли знать), Ленин и смеялся в лицо, рассказывая о быте истинного, а не лицемерного революционера.

Седьмой рассказ называется «О том, как Ленин купил одному мальчику игрушку». Фабула его проста: Ленин покупает маленькому мальчику игрушку. Внимание, вопрос! Где здесь Сталин?

Ответ прост как все гениальное: Сталин здесь – это игрушка. Лодочка с паршивым матросиком. Ленин уходит на собрание, а игрушку-Сталина оставляет во дворе, на потеху маленькому мальчику, который с жестокостью ребенка пускает этого парусного Сталина в фонтанчике.

Восьмой рассказ называется «В парикмахерской». Сталин здесь предстает в образе услужливого и подобострастного рабочего Григория Иванова, который уступает Ленину свою очередь в парикмахерской со следующими, неуемно лживыми в своей пафосности, словами:

«– В аккурат сейчас подошла моя очередь. Но я скорей соглашусь остаться небритым в течение пяти лет, чем я заставлю вас ожидать. И если вы, товарищ Ленин, не согласились нарушать порядок, то я имею законное право уступить вам свою очередь, с тем, чтобы занять последнюю, вашу».

«...С тем, чтобы занять последнюю, вашу» – *чувствуете, какое зловещее пророчество звучит в этих словах? Сталин, действительно, с унизительной подобострастностью, делал все при жизни Ленина, чтобы угодить ему. В конце концов в последние годы жизни Ленина Сталин неотлучно находился с ним в Горках в качестве слуги и медсестры. Именно там он и «принял» от умирающего Ленина власть, в чем Зощенко, как мы видим, и не сомневался.*

Девятый рассказ называется «Покушение на Ленина». Сталин скрывается здесь за маской «мерзкой злодейки», которую подговорили убить великого вождя трудящихся. Известно, что именно это покушение окончательно свело сифилитика Ильича в могилу. Почему бы не предположить, – как бы рассуждает Зощенко, – что именно так ждавший этой смерти Сталин не участвовал с мерзкой злодейкой в заговоре?..

Кстати, именно в этом рассказе Ленин произносит гениальную фразу о тех, кто не работает:

«Пусть они вообще ничего не кушают, если не хотят работать!»

Вполне мог услышать от него такое в свой адрес и Сталин...

Одиннадцатый рассказ называется «О том, как Ленину подарили рыбу». Сталин воплощен здесь в фигуре угодливого управляющего рыбным делом, который принес Владимиру Ильичу копченую рыбу в подарок (это в то время-то, когда страна голодает!) Излишне говорить, что революционные приживалы вроде Сталина никогда не отказывали себе в тех удовольствиях, которых был лишен простой народ. Зощенковский Ленин же посылает дареную рыбу в детский дом и полностью разрушает этим актуальность вопроса «кто больше любил детей: Ленин или Сталин?»

Двенадцатый рассказ называется «О том, как тетушка Федосья беседовала с Лениным». Сталин здесь – это тетушка Федосья, которая хлопочет, чтоб ей выдали пенсию (прямо как хныкающий Джугашвили: «Ну возьмите меня в партию!»); не узнает Ленина, когда встречает его в Смольном (Сталин бы узнал, но по-настоящему он Ленина никогда не знал, ибо никогда посредственности не понять гения и т. д. – см. выше); полученную пенсию тратит на сахар, мануфактуру и синьку для стирки белья (точь-в-точь, как пошляк и мещанин Иосифушка).

Тринадцатый рассказ называется «Ленин и печник». Удивительно, как это советские цензоры заподозрили неладное только в «Ленине и часовом» (на том основании, что невежа-герой того рассказа – служащий-де Смольного) и совершенно не догадались, что гораздо выгоднее представлять Сталина за масками простого люда. Печник из данного рассказа – это настолько Сталин, что сие

произведение можно считать самым антисталинским в мире. Судите сами: печник – «с огромной бородой» (читай: с огромными idiot'скими усами); «очень дерзкий»*; на ленинское приветствие всего лишь кивает головой (гордыня);* «дерзко кричит Ленину: – Зачем вы тут сидите и траву мнете? Знаете, почем сейчас сено?» *(ханжество, стяжательство, беспочвенные нападки); пугается, когда узнает, что грубо разговаривал не с кем-то, а с Лениным (подлая трусость); когда его вызывают к Ленину, у него* «руки дрожат» *(у Сталина еще и усы дрожали бы); стоя перед Лениным, дрожит,* «мнет шапку в своих руках и бормочет: – Простите меня, старого дурака» *(склонность к отвратительному самоуничижению, если оно может обратиться выгодой); когда слышит от Ленина приветливые слова, теряет от радости дар речи (щенячий восторг перед кумиром Ильичем, низкопоклонничество). Если бы рассказы убивали, Сталин помер бы еще в сороковом...*

Четырнадцатый рассказ называется «Ошибка». Ленин неточно выражает свою мысль, и молоденькая дежурная неправильно выполняет поручение. В финале Ленин признает, что был неправ, а молоденькая дежурная прямо вся сияет от такой справедливости.

Где тут Сталин, спрашивается? Это проще простого – посмотрите на заголовок: Зощенко чаще всего указывает, где он спрятал Сталина, именно в названии. Ну как? Поняли? Конечно же, Сталин здесь – это ошибка. Ленин не допускал ошибок, тогда как Коба только промахами и промышлял. Возможны коннотации: ошибка природы, жертва аборта и т. д.

Пятнадцатый рассказ называется «Пчелы». В этом произведении Ленину понадобился пчеловод. Но он не знал, где пчеловод живет, «никому ничего не сказал, вышел из дому и пошел в поле». В поле Ленин встретил пчел, последовал за ними и нашел таким способом дорогу к дому пчеловода. Пчеловод удивляется и произносит следующее:

«– Владимир Ильич, вы великий человек и великий гений. В каждом деле вы умеете находить что-нибудь особенное».

Казалось бы, какой уж здесь Сталин? И пчеловод, и пчелы – персонажи очень положительные. Но обратите внимание на самое начало рассказа:

«...И вот однажды Ленину понадобился этот пчеловод.

Ленин хотел послать за ним одного человека, который знал, где пчеловод живет. Но этот человек, как назло, уехал в Москву».

Вот этот «один человек», который назло (можно не сомневаться – именно назло, без всякого «как») уезжает в Москву именно тогда, когда он действительно нужен Ленину (может быть, единственный раз в жизни), – Сталин, разумеется, и есть.

Шестнадцатый и последний рассказ из цикла «Рассказы о Ленине» носит название «На охоте». Ленин здесь, будучи на охоте, жалеет красивую лисицу и не убивает ее.

Зощенко вновь возвращается к больной для него и всех современников теме: почему Ленин таки-таки не угробил негодяя Сталина? Видимо, он пожалел жалкого недоноска, так же, как хитрую лису на охоте. Слишком уж Ленин был жалостливый. Иногда даже кажется, что неспроста его младший брат Митя был таким сердобольным... Впрочем, это уже тема для другой беседы.

65. Целуя и закрывая одеялом доктора Фаустуса...

Очередная мерзкая педерастическая двусмысленность нашего педераставтора. Еще раз повторяю: я – великий натурал и величайший гомофоб! И если ты, голубоватый читатель, осмелился увидеть что-то негетеросексуальное в V главе, когда я швыряю трусы в рожу debil'а-вокалиста, то я скажу тебе так: «От pedik'а слышу!» Я не спал с ним в ту ночь, а просто зашел к нему в номер утром. И вообще я с ним не спал (неужели тебе теперь каждое предложение надо пояснять, развращенец?) И не думай об этом больше (мыслитель, мать твою!..).

66. Когда доктор Фаустус был маленький, он почти ничего не боялся...

Придурок-автор так увлекся, что дописав рассказ Зощенко «Графин», захватил и первую фразу следующего рассказа в цикле – «Серенький козлик». Очередная графоманская небрежность (шестьсот шестая?) неуклюжего нашего маниакального графа (графина, я бы сказал).

VI

М е ф и с т о ф е л ь
Как ты детенышей нашел?
Ф а у с т
Сама нелепость и безвкусье.
М е ф и с т о ф е л ь
Напрасно! С ними я провел
Часы приятнейших дискуссий
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Ф а у с т
Достань мне жену, самую красивую девушку в Германии; я распутен и похотлив и не могу быть без жены
Марло. «Трагическая история доктора Фауста»
(перевод Н. Амосовой)

Я – великий русский писатель.

(Ты еще в этом сомневаешься, мой читатель, воплощенная бездарность?)

Поэтому я, разумеется, могу себе позволить не описывать не только то, на чем традиционно следовало бы заострить внимание, но и то, что было бы интересно тебе, обывателю (а какого, спрашивается, Мефистофеля гений будет плясать под ритмы обывателя, этого пошлого диджея на вечеринке собственной никчемной жизни?)

Тебе, обывателю, интересно (предположу) развитие сюжета, интрига. Ты не в состоянии постигнуть, что незаурядные размышления философа – это лучший сюжет, а путешествия мысли гения по извилинам его недюжинного мозга – самая восхитительная интрига.

Тебе интересны секс и скандалы. А я даю тебе это в микроскопических дозах, нарочито дразня и раздражая неосуществимыми надеждами, что эти мещанские темы разовьются в следующих главах до более внушительных размеров.

Ты ожидал, что я поведаю тебе все отвратительные мелочи из паскудной жизни твоего ничтожного кумира. А я открываю тебе твои пустые глаза на то, что твой кумир – полный ноль, и почти не удостаиваю его упоминанием в этом шедевре.

Тебе, возможно, интересен был бы технический процесс (филистеры любят читать книжонки, которые считаются познавательными) создания музыкального альбома. А все, что я привношу в данный шедевр из этой области, сводится к воспроизведению текстов песен, которые ты и без меня знаешь наизусть.

Таким образом, облапошенный ты мой читатель, на протяжении всего этого шедевра, я делаю все, чтобы раздражить, обмануть и унизить тебя.

Однако обрати внимание, моя дорогая жертва, – ты ведь все еще читаешь эту книгу.

И я после этого не гений, а?

Позавчера присутствовал на съемке glup'ейшего и нечистоплотнейшего шоу «Эти сексуальные животные». Унылое зрелище, оставляющее пренеприятное впечатление...

Current mood: nauseate (привет Жан-Полю Сартру!)

Current... Впрочем, ладно, расскажу поподробнее (последние дни были ужасно тяжелыми, но спать до сих пор не могу; к тому же, про зоофилию вроде как обещал; хотя что мне обещания! но... впрочем, мне надоело отвлекаться). Итак, эти ненормальные «Эти сексуальные животные».

Декорации (ты их прекрасно знаешь, зоофил несчастный, но не буду же я под тебя подстраиваться – см. выше, выше, выше...). Зеленая просторная лужайка (однако звери в клетках). Ручеек. Три березы и шесть пальм. В качестве ведущей раздобревшая на вегетарианской пище тетенька в соломенной шляпке (прямо из кошмарнейшего советского водевиля) и неуместном для ее фигуры комбинезоне а-ля Барбарелла.

Мрачный полумэн-фронтмен. Я, блистательно ироничный и презрительный. Сто рядов зоофилов.

– Здравствуйте, мои дорогие любители животных, – заверещала паскуда-ведущая. – Сегодня у нас в гостях очаровательный Гена из группы «Фауст и пацаны». Скажите, Гена, а не в честь ли знаменитого крокодила Гены, героя мультфильмов из доуэскэшных времен, вас так назвали?

Может, ему придется сношаться с крокодилом? – подумал я. Это было бы забавно.

– Да нет, – отвечал bolvan (убогая привычка простого люда: пристрастие к неосознанным оксюморонам – вроде «да нет» – или daun'ски-заклинивающим ответам на простой вопрос – вроде «да-да-да»). – Да нет. Кажется, в честь этого, как его?.. (следующая несносная привычка: комментируемая забывчивость) Короче, просто, наверное (злоупотребление бессмысленными вводными словами), потому что... имя такое... как бы (это неискоренимое «как бы») редкое.

Я подумал, что трудно припомнить хоть одну выдающуюся личность, носившую это жалкое имя. Разве что ретроградный политический деятель Зюганов (конец XX в.), но и у него, кажется, ничего не выдавалось... Возможно, доброму писателю Успенскому было как раз обидно за обделенное имечко, и он наделил им интеллигентного loh'а-крокодила.

– Сейчас наши дорогие зрители решат, – змеей улыбалась тем временем тетенька, – какое именно милое сексуальное животное вам, крокодильчик (Гена, вы не против, если я буду называть вас крокодильчиком? вам это очень пойдет), предстоит сегодня полюбить? Посмотрите же на наших зрителей, очаровательный крокодильчик, – вот они. Полюбуйтесь, все эти животные вокруг нас и вас, – это домашние любимцы наших дорогих зрителей; что бы мы без них делали, без зрителей нашего доброго шоу? (без больных ублюдков, место которым – в изоляторе психушки или в лесу, – добавил я про себя.)

И начались какие-то дикие презентации (с презервативами и без) достоинств (эрегированных и нет) зверей. О, где вы, зеленые? Почему вы до сих пор не добились запрета на это шоу, которое жесточе любой охоты и живодерни? Или это вы и переродились в зрителей и участников данного проекта?!

Я то и дело выбегал проветриться в сортир; его белоснежность казалась мне зимним раем после тошнотворного цветуще-зеленого ада этого шоу.

В то же время я злорадно надеялся, что недомэну-фронтмену придется разделить ложе с крокодилом, скунсом или слоном (хотя слона сегодня, кажется, никто не привел; жаль; мой протеже послужил бы ему отличной Моськой).

Сам фронтменишка вроде бы кидал умоляющие взгляды на аккуратную кошечку (и что бы он с ней делал? просто убил бы несчастное животное! я всегда ненавидел эти мерзкие анекдоты – про лисицу и медведя, обезьяну и бегемота, etc.).

Ведущая подзуживала хозяйку курицы (видимо, увидела в «Сексе со звездой», что фронтмен – тот еще петух).

В итоге паршивцу, к несчастью, выпало самое простое – коза.

Я с детства помню эту фразу из «Зоны» Довлатова. Вот она:

«Для удобства рецидивист Шушаня сунул ее задние ноги в кирзовые прохоря».

Ведущая за руку подводила фронтмена (сознание у меня уже было в настолько измененном состоянии, что я даже не смог порадоваться его участи) к белой рогатой козе с подрагивающим хвостиком. Я успел еще шесть раз прокрутить в голове довлатовскую фразу, и меня понесло в клозет...

Надеюсь, читатель, «дорогой любитель животных», ты обязательно посмотришь именно этот выпуск твоего любимого шоу, и вместо меня оценишь зоологическую подкованность твоего кумира.

На выходе нас (меня, великого, и пошатывающегося козла-фронтмена – остроумный каламбур?) встретила Леночка. Я связался с этой талантливой крушительницей надежд и идиллий, и она за чисто символическую, неумеренную сумму согласилась вырвать Маргариточку из лап pozor'ного frik'a.

Леночка взяла нас обоих под руку и стала знакомиться с pozor'ным frik'ом. Оставляя их вдвоем (через каких-нибудь шесть минут я уже уверился в том, что мой контроль здесь больше не нужен), я успел шепнуть Леночке на ухо:

– Не забудь отправить его в душ перед таинством. Он – после козы.

Леночка премило поморщилась и отмахнулась от меня жестом профессионалки. Мой подопечный kretin даже не заметил вроде бы моего исчезновения.

Вчера вечером он позвонил, захлебываясь в слезах.

– Рита, шеф, – бормотал он. – Рита...

– Что???!!! – заорал я. – Что такое?!?!?! Говори, презренный!!!

– Приезжайте, – шептал он, будто сползая вниз по допотопному телефонному проводу. – Шеф, приезжайте...

(Я был для него «шефом», как бы водителем такси, везущим его в сказочные дали.)

Я вскочил в седло своей мощной машины, и через шесть с половиной секунд debil уже открывал мне дверь.

Я никогда не видел его в таком мерзком виде. Он был похож на гниющий овощ.

– Она там, – еле выговорил он и показал пластилиновой рукой почему-то вверх.

Кто она, idiot? Леночка или Маргариточечка?! Впрочем, он говорил «Рита».

Я слегка оттолкнул его, проходя внутрь, и он неартистично упал, оцарапав носом угол. Обдолбан, skot'ина.

Я прошел комнату, еще одну. В самую дальнюю дверь была чуть приоткрыта. Зашел.

Маргарита безжизненно болталась на люстре. Милое создание, самое любимое и самое-пресамое единственное! Как ты выглядишь!.. Ты выглядишь... неважно.

Нет, некрофильный читатель, ты не дождешься от меня описания ее выкатившихся глаз и вывалившегося языка. Ее нежной шейки, намертво стянутой какой-то грязной бельевой веревкой. Ее чудесной головки, сваливающейся набок (казалось, она совсем отвалится, если тронешь)...

И это ты, Марго?! Марго, ты ли это?!

Да. Это, к ужасу моему и всемировому, ты.

О Маргариточка. Единственная в мире девушка, в чьи уста я вложил некогда своего чистоплотного увальня (и готов был бы вложить еще шесть тысяч раз, но не пришлось, к несчастью). Единственная барышня в мире, которой я сделал свой первый и последний (и весьма удачный, как я понял) куннилингус. О Марго, я ведь даже был готов до упора загнать свой язык тебе в анус, и плевать, что бы я там нашел...

Марг... Морг... Рит... Тир... Спит... Марга... Моргает... Мурго... Mura... Марга... Га-га-га... Маргусик... Готов ли гусик?.. Маргари... Маргарин... Маргаритк... Май горит... Маргариточк... Словно выточка... Маргариточка. Точка.

Я опустился на колени и в последний раз облизал ее большой пальчик на левой ноге. Сковырнул зубом кусок лака. Обхватил ее ноги, прижался к ним. Тут же опомнился – люстра может сорваться. Окинул прощальным печальным влажным овальным взором. Вышел.

Сегодня сообщили, что она была беременна.

Интересно, от кого?

Current mood, повторюсь: nauseate
Current music: Земфира – «Повесица»

7

Вигилия седьмая

Я вошел. – Сказал ему. – Ответил мне. – Заметил я. – Усмехнулся. – Сказал я. – Ответил он. – Вошел. – За ним. – Доктор Фаустус.

Я вошел в комнату доктора Фаустуса и сказал ему:
«А что если фыр-фыр-фыр?»
«Да», ответил мне доктор Фаустус. «Но только дыр-дыр-дыр».
«Однако же», заметил я, «мы не быр-быр-быр».
«И что?» усмехнулся доктор Фаустус. «Зато пыр-пыр-пыр».
«Зыр-зыр-зыр», сказал я. «Мыр-мыр-мыр».
«Чыр-чыр-чыр», ответил он. «Сыр-сыр-сыр».
В комнату вошел Мефостофиль с криком:
«Жыр-жыр-жыр».
За ним вбежала Гретхен и засмеялась:
«Выр-выр-выр».
Тыр-тыр-тыр доктор Фаустус ныр-ныр-ныр.
Шыр-шыр-шыр я кыр-кыр-кыр.
Щыр-щыр-щыр Гретхен цыр-цыр-цыр.
Лыр-лыр-лыр Мефостофиль хыр-хыр-хыр.
«Рыр-рыр-рыр», гыр-гыр-гыр. «Дыр-дыр-дыр».
Фыр-фыр-фыр фыр-фыр-фыр фыр-фыр-фыр.
Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр.
Фырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфырфыр.
Фффffffffff

Комментарии к «7»

Я с самого начала предупреждал, что автор – idiot. Quod erat demonstrandum. Комментировать прекращаю. Разве что последний штрих на этом полотне виртуозного разоблачения:

66. В комнату вошел Мефостофиль с криком:
«Жыр-жыр-жыр»...
66. ...Шыр-шыр-шыр...
«Жи-ши» пишется через «и», дурак.

Ну и самый уж последний:

66. Фффффф... и т. д.
В оригинале это idiot'ство растянулось аж на страницу. Я был вынужден сократить нагнетание столь полюбившейся недоумку буковки примерно в одиннадцать раз.

VII

М а р т а
Он был добряк и дурачок влюбленный,
Сама сердечность, искренность сама.
Когда бы не шатанье, не притоны,
Не девки, не игорные дома!
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Ф а у с т
Вдруг передо мной
Являются кинжалы, шпаги, ружья,
С отравою бокалы и веревки,
Чтоб мог я вмиг покончить с этой жизнью
Марло. «Трагическая история доктора Фауста»
(перевод Н. Амосовой)

М е ф и с т о ф е л ь
Он юркнул в тьму
За нею вслед.
М а р т а
Он благосклонен к ней.
М е ф и с т о ф е л ь
Она – к нему.
Так создан свет
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Все люди так gnus'ны, так жалки мне они!
Быть умным в их глазах – да боже сохрани!
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Мефистофель стучится.
Ф а у с т
(топая ногами)
Кто там?
М е ф и с т о ф е л ь
Свои!
Ф а у с т
Свинья!
М е ф и с т о ф е л ь
Пора расстаться
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Я видеть не могу без горького презренья
Коварным проискам такого поощренья,

И, право, иногда мне хочется скорей
В пустыню убежать от близости людей
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

М е ф и с т о ф е л ь
(к зрителям)
В конце концов приходится считаться
С последствиями собственных затей
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Ступайте к ней один, остаться дайте мне
Здесь, в темном уголке, с тоской наедине...
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Ф о р к и а д а
Но нет от рока никому спасения.
Все это знают, редко кто смиряется
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Шизофрения, как и было сказано

Поэт Рюхин приперся к Ивану
И сел прямо около самого дивана.
Тут доктор Рюхина спрашивает:
«Че эт у дружка вашего нервишки подкашивают?»
«Ой, не знаю, – Рюхин говорит, –
Он, конечно, выпивал, но... Доктор, у него неврит?»
«Да не знаю, – махнул доктор рукой,
Повернулся к Ивану. – Здравствуй, дорогой».
А Иван им говорит: «Здравствуйте, вредители,
Мальчишки и девчонки, а также их родители!»
«Ну не болен ли он? – доктор усмехнулся. –
Ты у нас, голубчик, в шизофрению окунулся».
«Да ну тебя на! – Иван отвечает. –
Мне интересней Рюхин, че-то он скучает.
Он, знаете, доктор, ну прям Маяковский –
Пишет стишки, не то чтобы плоские,
Но он просто реально душою кривит,
Он не пролетарий, а кулак и troglodit».
«Вы за кем, скажите лучше, – доктор перебил, –
Охотились? И кто, говорите, Берлиоза-то убил?»
«Да убил-то на hren этот, blin... нечистый!
За ним я и охотился, конкретно и чисто!»
Рюхин устал не понарошку слушать этот бред
И слинял домой хавать свой обед.
Но Рюхин был расстроен: «Шизофрения, мания...

Сейчас я начну бредить потоком сознания.
Мне тридцать два года, чего я достиг?
Сраный поэт – в неделю один стих...
Что мне и дальше эту херь сочинять?
Да ну к Мефистофелю и Воланду все это, твою мать!..
Вот то ли дело Пушкин – реальный мужик,
Навеки своей жизнью осветил себе лик.
Хотя если задуматься: че он написал?
Буря, сука, мглою? Я еду на бал?..»
Такие невеселые были у Рюхина думы,
Мне тоже нелегко – скоро, наверно, умру, на!..

Я – генератор эманации.

Ты, молящийся на меня читатель, не устаешь, как я погляжу, удостоверяться в этом. Приведенный текст последней (по порядку, но не по значению) песни уже воплощен в записанном вокале debil'а-кумира, а вокал оный вплетен уж в гениальнейшую из музык (муз. и сл. – мои, любовь – всенародная).

А завтра (замри, идолопоклонник!) выходит альбом. Он уже готов, вышит золотыми нитками на блестящей поверхности прекрасно аляповатого CD (беги же в магазин – завтра же, завтра; заведи будильник на пораньше; поспей к самому открытию; а не то гляди – расхватают!)

На диске века, как ты, двоечник по арифметике, должен все же понять, – шесть песен. И не надо прожорливых восклицаний «маловато!» Музыку надо слушать дозированно, божественную – тем более. Шесть песен – чудное количество. Мне вообще отчего-то нравится число шесть; мне нравятся эти продолговатые колья забора буквы-звука «ш-ш-ш»; эта графика цифры, изображающая змею, чешущую хвостом брюхо. Мне импонирует двойственность и тройственность шестерки, ее шероховатая полноценность («дайте шесть апельсинов»). (...)

Может, несколько неправильно (однако вспомни, злорадно восторжествовавший было читатель, – правил для кое-кого не существует), что глав в этой книге семь, но и здесь все в концептуальном порядке: всякая жизнь оборвалась и кончилась в VI главе; и эта, последняя, изображает лишь муки посмертного ада, безупречно опровергая заодно лживую счастливость паскудной семерочки (которая, a propos, напоминает косу старушки смерти).

Но чую, ненасытившийся чужим грязным бельем читатель, тебя гнетут мои якобы не ослепительные рассуждения; ведь ты ждешь от меня откровений о Маргаритоньке, gnus'ный вуайерист.

Думаю, урино-желтые издания уже изложили для тебя десятки рвотопозывных версий происшедшего, но, исключительно во избежание кривых толкований, пунктиром изложу действительную цепь событий...

Tugodum, неужели тебе это нужно? Ты не удовлетворен гениально смазанным финалом VI главы? Ты как всегда ничего не понял и, уж точно, всего недопонял?

Что ж, разжую белоснежными своими зубами и эту пищу для самого похабного отделения твоего жалкого ума.

Очаровательно стервозная Леночка милейшим образом являет Маргариточечке изменническую сущность ублюдка... Сделав дело и наскоро омыв тело, Леночка удаляется... Маргариточка в некотором расстройстве избивает валяющегося у нее в ногах и молящего о прощении мерзавца... Избитая мразь от огорчения прибегает к испытанному средству – сладкому туману наркотиков... У Маргушечки (ах, досада! непредвиденное... или лучше сказать – недооцененное мной обстоятельство) окончательно перегорает лампочка в кладбищенски-жутком помраченном сознании...

Я думаю, рыдающий (а не оплакиваешь Марго, пшел вон из моей книги!) читатель, ты оценил мою выдержку и способность не выказывать на всеобщее обозрение своих грандиозно скорбных эмоций по этому поводу.

Теперь – о последнем моем долге перед Ритулечкой и Маргошечкой: я сразу понял, что дрожащей твари, коя безумно-несуразным образом явилась причиной гибели святыни и крушения всех надежд властелина Вселенной, не жить после происшедшего; и сдохнуть gad'ина должна в мучениях раскаяния, а не как иначе.

Для пущего эффекта я немедленно после осознания УТРРРРРРАТЫ!!!!!! Р-Р-Р-Р-Р-РАААА-АА!!!!!! (прости, – скажу я, но отнюдь не тебе, недостойный читатель, который никогда не дождется от меня какой-либо просьбы... прости, – скажет гений самому себе, –эту невольную сентиментальную вспышку) после осознания, значит, утраты назначил на сегодня съемки паскуды в двух самых отвратительных шоу Теленета.

И первым из них был «Кондом-22» (к Джозефу Хеллеру это не имеет никакого отношения).

В отличие от тебя, читатель-кондомушник, я ничего не знал про это шоу до сего дня. Существует оно с незапамятных времен, после УСК его обновили-подлатали, сделали упор на сексоцентризм (хотя у них и раньше в центре ничего другого не было). Почему «Кондом», я так и не понял: презервативами там не пользуются, предпочитая абсолютное соприкосновение и противооплодотворительную профилактику постфактум.

Я чуток усмехнулся, услыхав прозвища участников. Остроумие «Кондома», к сожалению, на этих прозвищах и кончается.

Двух телочек-ведущих (как ты прекрасно, не пропускающий ни выпуска этой похабщины читатель, знаешь, но я пишу не для тебя, а для вечности) зовут Вагина и Вульва, однако, честно говоря, у меня не возникло желания проверить, достойны ли они таких имен.

– Здравствуйте, дорогие теленет-зрители, – голова к голове прислонившись, тянули они. – Это теленет-проект «Кондом-22», где занимаются любовью несмотря ни на что...

Не смотря то бишь, что здесь сплошные frik'и.

– ...И сегодня у нас в гостях (подчиняясь какой-то квазилогике, шлюшки ставили машинальное «и» в начале каждой следующей фразы)...

Два десятка разнополых urod'цев захлопали и заверещали. Затем...

Затем мне, может быть, и хотелось поведать об унизительных расспросах, которым бойкие бабенки с подвешенными (во всех, надо полагать, смыслах) языками подвергли моего барана и о том, как постыдно он выглядел во время данного интервью, но дело там касалось МАР-ГА-РИТОЧ-КИ!!!!!! так что я пропущу болтовню и подойду к делу-финалу.

В финале шоу мерзкие участники окружили своего измученного последними событиями слабака-кумира. Звезда проекта – резвая и резкая девчонка с подходящей кличкой Клитор попыталась сунуть руку в кумирскую ширинку (и что бы она там нашла?) Правильно-gad'кие ведущие в унисон запротестовали, напоминая, что bolvan-истукан суть гей. Тогда здоровяк-красавчик бисексуал Смегма приподнял фронтменишку за ягодицы и впился ему в рот; отвратный жирный язык Смегмы во рту bolvanchik'а не умещался и препохабно вываливался; камеры фиксировали скольжение слюнявого монстра излишне крупным, преувеличенным даже, планом.

К несчастью, здесь до секса со звездами дело не доходило (чтобы не срастаться плагиатным образом с одноименным шоу). Звезду здесь обычно не более чем щипали и мяли, а затем воображали ее себе в усладах с «кондомашними» сожителями.

Сразу после «Кондома» отправились в студию «Жди меня»: я наивно решил, что здесь полудохлый уже фронтмен окончательно скончается, не удовлетворив пожеланий зрителей и продюсеров шоу, а моя Маргариточная месть благополучно завершится.

Шоу «Жди меня» – одно из немногих современных, которым лишь изредка удается задействовать звезд; ведь этих самых звезд не так много, как кажется, и не так уж часто у них кто-то умирает.

Так что всю первую половину съемок присутствующие лицезрели никому не известную даму и ее покойного мужа.

Дама аккуратно и деловито разделась, и не побросала одежду в нетерпении, как в обычных порнопрограммах, а смиренно сложила все вплоть до трусиков на стульчик в углу, как бы боясь осквернить излишней страстью только что усопшего.

Затем она медленно подошла к изголовью просторного (рассчитанного на двоих) гроба. Глубоко, но беззвучно вздохнула. Блеснули слезы (крупный план; красивый кадр). Она провела ладонями по лицу мужа, развязала ему галстук и просунула руки под рубашку. С ногами взобралась в гроб. Ритуально поползла по телу мужа. Склонившись лицом над его пахом, расстегнула ширинку. Стянула до колен брюки с трусами. Первый раз не выдержала и всхлипнула, увидев жалкий мертвый фаллос супруга. Прикоснулась к головке члена губами, подержала в пальцах мошонку, накрутила на язык лобковые волосы. Перевернулась. Села на мужа верхом. Попыталась впихнуть скукоженные гениталии мужа во влагалище. Не вышло. Тогда встала, вновь подошла к изголовью. Уселась мужу на лицо. Стала раскачиваться. Едва не уронила гроб. Очень быстро достигла оргазма. Медленно слезла. Крепко-накрепко, в последний раз поцеловала мужа.

И произнесла культовую некрофильскую тираду, медленно, тихо, но отчетливо и патетично:

– Жди меня. И я приду. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть ожиданье. Жди. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест ждать, кто тоже ждет. Пусть поверю я и сын в то, что нет тебя. Пусть друзья устанут ждать адского огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жаль, что с ними заодно ждать не будешь ты. Жди меня. И я приду. Всем смертям назло. Кто не ждет как ты, тот пусть скажет: «Я не жду». Не понять, не ждавшим им, как среди огня крематорского ты ждал и хотел меня. Как умру я, будешь знать сразу ты, раз ждал. Просто ты же будешь ждать, как никто не ждал.

Здесь присутствующие обязаны привстать на минуту молчания. Привстали.

Женщина гордо, величаво покинула сцену. Гроб укатили следом – на колесиках.

Ведущий и ведущая – облаченные в вечный траур – попеременно читали тщательно подготовленный текст; никакой импровизации – это очень серьезное шоу.

– ...А сейчас на эту сцену...

– ...Тот, чья слава молниеносно набрала обороты...

– ...Но не успев даже вкусить...

– ...Погибла девушка мечты...

– ...Была для него всем...

– ...И сегодня...

– ...В прощальный путь...

– ...Встречайте: Маргарита и Геннадий!

Марго вывезли, обнаженную (кто распорядился?) Ублюдок в смущении и рассеянности выполз на сцену.

Впервые за сегодня моя уверенность в собственной правоте пошатнулась – как увесистый бюст на комоде в момент ощутимого землетрясения.

Червь паники начал копать в какой-то из моих гениальных извилин.

Ну же, ну же! – думал я, глядя на ненавистного извращенца. Падай замертво! Подыхай от разрыва сердца! Почему ты еще живешь, бесчувственная skot'ина??

Но подонок и не думал умирать. Он небрежно стянул поганую майку, грязные джинсы, кроссовки. Больше на нем абсолютно ничего не было.

Кроме... я просто поразился... зрители зашикали... впечатлительные барышни ахнули...

Отвратный член gad'ины находился в полной боеготовности. Фиолетовый наконечник прямо разбухал. Матушки, батюшки, Боженька, Люцифер!!! Как я не сообразил?? – он же некрофил, прежде всего некрофил, а потом уже зоофил, педераст и импотент. Мне стало дурно: назад дороги нет; это я, я сейчас умру; надо хотя бы отвести взгляд, зажмурить пристальные глаза с безупречным зрением; но нет – не могу: будто парализовало.

Гадкая мразь прыгнула в гроб и со всей возможной циничностью надругалась над телом Ммммммммммразь какая, а!!!

Ее голова билась затылком об угол гроба. Изувеченное лицо, казалось, оживет на секунду, чтобы разразиться ужасным криком омерзения.

Но больная skot'ина довершила свое преступление до конца. Ублюдок громко охнул и повалился рядом с Марго, выдыхая воздух через вытянутые губешки жабы. Если б можно было дотянуться до джинсов, он, наверное, достал бы сигареты, ничтожество...

Я потерял самообладание и незаметно удалился.

Пораженный моим величием читатель; читатель, чьи посредственные чувства находятся в таком премилом диссонансе с моими титаническими! Ты удивляешься моему спокойствию. Ты не встречал примеров подобного хладнокровия и даже не мог вообразить себе таковых. Ты готов усомниться в естественности моего состояния, вообще в моей способности чувствовать (ведь все это произошло сегодня – сегодня! – а я столь безмятежно воспроизвожу пережитое на экране).

Ах, мой glup'ый, glup'ый, glup'ый, бесконечно glup'ый читатель! Твоя неспособность мыслить вне теленетных передовиц, право слово, удручает. Ты все бы понял и все узнал бы завтра, но... узнаешь уже сегодня! Ибо я не могу молчать о свершившемся: гармония (временная, сравнительная, но гармония) царит сейчас в великой душе моей, и ты, мещанин во похабстве, должен все знать.

Так знай же – gad'еныша-кумира нет на свете более; остался я, мой (только мой! несмотря на чужеродный вокальчик) чудесный альбом и твоя, читатель, фанатская преданность, могущая теперь распространяться только на меня, истинного волшебника творчества, освещающего твою серенькую жизнь.

К некрофилу я приехал вечером, проветрившись, отдышавшись, уравновесившись. Я все взвесил, был холоден, жесток и неистов.

Вопреки моим сомнениям, дверь он открыл сразу.

– Шеф, я как раз хотел...

Никто так и не узнает, чего он хотел, и лично мне плевать. Удар моего сталью подкованного ботинка выкинул некрофила из коридора в кухню, оставив на его тощей груди прелестный рубец.

– Погодите, вы...

Схватил его за волосы. Припечатал пятак к полу. Он отлягнулся, уполз под стол. Табуретка настигла его хребет. Взвыв, некрофил стянул скатерть. Я отскочил от осколков бьющейся посуды. Из-под стола – gnus'но-баррикадная трусость – некрофил швырнул в меня ножик. Голень оцарапана; в гневе выбегаю; прислоняюсь к дверному кухонному косяку. Осколки таки настигли меня – стекло двери обрушилось на мою мудрую голову вместе с табуреткой. Он, kretin kretin'ов, побежал не к выходу, а в ванную, дверь в которую я сорвал с петель с легкостью грибника. Некрофил полоскал рожу и не успел ужаснуться, как его хобот сломался вторично о кафель ванны. Он барахтался и кусался, задел душ, коий включился. Я избивал его тяжелой головой душевой змеи, из пасти которой оглушительно била ледяная вода. Каналью опять спасло стекло (я всегда не любил зеркал); испугавшись (простительная силачу слабость в конце тяжелого дня) за свой зоркий глаз, я выпустил некрофила из цепких пальцев. Ногой успел распахнуть дверь, широко отворявшуюся вправо, – это, благодаря моему стремительному расчету, вновь удержало бездумное животное от хлопотливого для меня бегства; он свильнул в комнаты. Забрызгав кровушкой всю ванную и превратив белое полотенце в красное, я не вытерпел и устремился за некрофилом, держась за вспоротую сторону лица. Я был готов к сюрпризу и не удивился вооруженному очередным смехотворным ножиком (или ножницами? или маникюрными ножничками в ножнах?) некрофилу; он напрыгнул на меня будто со шкафа, зачем-то напяливши на себя толстый свитер. Взмахи tup'ым хладорудием: раз! два! три! («Психо» Хичкока, древнейшее ретро.) Царапины скорее оскорбляли меня, чем физически уязвляли. В общем, свитер его погубил; захлебнувшись в удушливой вязи воротника (он надел его задом наперед; и из этого luzer'а я зачем-то сделал звезду!), некрофил сам от меня отшатнулся; ножик улетел в неведомую даль; я сдавил кадык skot'ины жестом соковыжималки; он судорожно всхлипнул и резко выдернулся; мой ноготь рассек его шею чуть не надвое. Падая на спину, некрофил задел внутристенный монитор – бумц! легкий взрыв! Я

отпрыгнул на всякий случай; некрофил, явно с умыслом, толкнул аквариум на шатком столике в сторону потухшего экрана – клапц! отключение электричества! На меня наставлен сумрак ночи. Я резко метнулся в сторону, где только что его видел; не ухватил, но опрокинул; он пополз; я поскользнулся, добавив своему мощному телу еще с десяток миниатюрных кровоточий. Ухватил некрофила за ногу; тот застонал (почему не орет? совсем daun?) Вялая попытка отцепиться (это от моих-то тисковых рук?) Наваливаюсь на некрофила; молочу его куда ни попадя; совсем не сопротивляется (вот оно? долгожданное?) Вогнал бьющуюся еще рыбку ему в рот; сдавил челюсти; заставил проглотить. Бил наотмашь по лицу; кажется, расплющил. Когда попытался ногами, понял – это уже лишнее...

Хилый читатель, обрати внимание: я убил мерзавца голыми руками.

Что же сделал я за пакость?!
Я! – Убийца! И Злодей!!
Я весь мир заставил плакать
Над красой Марго моей!
Но и так, у ее гроба,
Верю я, придет пора –
Сила подлости и злобы
Одолеет дух добра!

На этом, собственно, все; и меня не смущает неправдоподобная спешка, циничность и холодность описанного мною; все люди разные; гении – тем более.

Блажен, кто сей роман прекрасный осилил-таки до конца, до самой смерти подлеца, кто вместе с автором ужасным Марго навеки полюбил; читатель, ты не некрофил?

Current mood: exhaust (прощай, экс-Фауст)
Current music: Фауст и пацаны – CD «Мертвый Фауст» (2066)

Послесловие

М е ф и с т о ф е л ь
Конец? Нелепое словцо!
Чему конец? Что, собственно, случилось?
Раз нечто и ничто отождествилось,
То было ль вправду что-то налицо?
Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет.
«Все кончено». А было ли начало?
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала.
Зато в понятье вечной пустоты
Двусмысленности нет и темноты
Гете. «Фауст»
(перевод Б. Пастернака)

Не правы люди все ни в чем и никогда,
И к ним в моей душе всегда живет вражда,
Всегда одно из двух: достойные презренья,
Они иль низко льстят, иль судят без зазренья
Мольер. «Мизантроп»
(перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Рецензии на самый успешный альбом века (и это уже не тенденциозная самопохвальба, а самый что ни на есть объективный факт) весьма скрашивают мое теперешнее существование в этом унылом месте. Вот избранные, наиболее меня потешившие, места:

“Альбомушко, конечно, задорный, да вот только не понять никак: к чему он, собственно? Эти благо-glup’ые стихи с налетом лживого «ретро», этот бурляще-«изысканный» саунд... Такое впечатление, что авторы абсолютно не подумали о том, чтоб, концепцию, знаете ли, создать: так, свалили все в кучу и, довольные, на эту самую кучу-то и уселись. А денежки-копеечки, вот поди ж-ка ты, взяли да и посыпались. Хотя странно – про секс почти нет, девчонок на подпевках – никаких, тоска, вообще говоря, зелененькая. А зеленый, кстати, – любимый цвет gomik’ов. Ах, ну да – лидер группы, gad’кий gomik, – вот, видать, причина успеха группы-то какая. Вернулись мы, выходит, прямо-таки в доуэскэшный режимчик какой-то: музычка нас не волнует, нам подавай pedik’ов с лесбиянками, а что поют, неважно, главное, чтоб gad’ости про них в Теленете показывали, а остальное нам, в общем-то, и до лампочки ведь вовсе-то. Ау, настоящие певцы! Нету – не отзывается мне никто. Нету певцов. Кончилися. Одни голубые щенки остались, невкусно подвывающие”.

“Альбом вкусный до ужаса. Давно не слышал такой аппетитной жести. Мясо так и рубится из рубильника моего личного персонального нового компутера (марку не скажу, ибо выйдет назойливая реклама, но, ребзя, вы бы обалдели: реально рубит из колонок, реально, пацаны и Фаусты). Вкусный, говорю, диск. Слушаю теперь хотя бы раз в день. Ням-ням просто. Особенно то место, где начинаются всякие типа страсти-мордасти по ходу момента (ну, по ходу песни, каждая из которых, как известно, представляет собой жуткую байку с сюжетом), и вступает какое-нибудь электронненькое завывание: у-у-у – вот это, чуваки, жесть, без разбазара!”

“Что мы имеем? Имею в виду в качестве диска века. Самого продаваемого. Посмотрим. Аляповатая обложка. Glup’ое название. Рассчитанное на кое-что. На успех. На скандал. Который уже случился. А внутри? Слушаем. Шарманка – charmant. Но... эклектика. То есть – не фонтан. Эклектика суть отсталость. Инструменты... Разные. Не живые. Как правило. То есть – инструментов фактически здесь нет. А что есть? Есть – пиликанье. Жужжание. Завывание. Бульканье. Блуканье. Кряхтение. Биение *(сердец? яиц? – М.)* Тресканье. Плесканье. Колотенье. Царапанье. Постукиванье. Попрыгиванье. Одним словом – консервирование. Тексты? Дрянные. Вокал? Буколического пастушка. Правда, иногда кое-что кажется. Что пастушку выбили зубы. Деревенские хулиганы. Ибо – шепелявит. Это типа модно. Якобы. Короче – дурь. Слушать? Не стоит. Не надо. Зря потратите. Копейки и время. Лучше посмотрите очередное порно. И то будет – гораздо увлекательней”.

“Ядреный альбум! Ох, ядреный! Оторва просто! Ядреные парни во главе с ядерным Фаустом взрывают-зажигают-нагнетают не по-детски, а по-взрослому. По-черному! Кайф! Давно я не был в таком восторге от альбума! Шесть песенок – зато какие шесть! Охереть какие! Простите за грубость, но после «Мертвого Фауста» я проникся этим древним сленгом и теперь базарю (о как!) только на нем! Ну кайф, ну реальный ну кайф! Тра-та-та-та, – взрывают барабаны! Дыщ-дыщ-дыщ, – рубят не по-детски гитары! Бэнц-бэнц-бэнц, – шлюпают не по-отстойному проэлектроненные примочки! Кайф, скажу я вам! Ядреный кайф!”

“Один мой коллега раз шестьдесят употребил в рецензии на этот диск старомодный эпитет «ядреный». Однако, право же, ядра (в музыкальном мире говорят несколько по-другому) у «Фауста и пацанов» – не то чтобы чистый изумруд. Ну да, альбом без ворсинок и сучков. Эх-задорно, ах-широко и антиуэскэшно. Но мне это скучно до омерзения. Как скучен, мне кажется, любой

альбом, абсолютно все песни которого бесстыдно обласканы ротацией *(что это за оральный секс? – М.)* Слышал-переслышал я эти песни раз эдак шестьсот, хотя абсолютно не фанат (вообще никакой группы, а уж этой тем более), и после первого же сингла убедился в очередной раз в том, что самая грандиозная реклама искусственно наращивается вокруг самых пустых и никчемных продуктов".

"Записали вот тут «Фауст и пацаны» свой альбомчик (после недельного своего существования). Ну записали так записали – и не такие еще альбомчики записывали... Примерно так начинают свои рецензии практически все откликнувшиеся на «Мертвого Фауста» музыкальные критики. Да очнитесь же, люди! Мы имеем дело с рекламой преступления и какой-то похабнейшей апологией маньяка. Фактически это апология в ее очень тонком виде, скрывающемся за маской «произведения искусства». Наши музыкальные критики, кажется, строят из себя адептов «чистого искусства» какого-то, или им просто нечего добавить к репортажам и аналитике криминальных обозревателей. Но как можно обойти вниманием все, на чем строится внезапная популярность паршивой попсовой группы?! С завидным упорством, причем, обходят – в девяти из десяти рецензий; а в десятой будет только такая, например, строка: «Конечно, продюсер – gad, но песни хорошие, и лидер группы Фауст – гений, которого нельзя теперь не слушать». И фирма грамзаписи даже не меняет невообразимое в своей gnus'ной циничности название альбома (а как же? – в фирме тоже не ангелы, понимают, что из-за одного названия продажи подскачут до потолка). Но это – безнравственно, несносно, и даже случись с монструозным продюсером смертная казнь (в чем лично я сильно сомневаюсь), не будет оправдания тем, кто сейчас с напускным удовольствием слушает первый и последний альбом «Фауста и пацанов»".

Теперь же, читатель, тебе, думаю, небезынтересно будет ознакомиться с рецензиями на мой великий шедевр-роман, к ошеломительному финалу коего ты уже благополучно подбираешься. Имена презренных литературных критиков, как и музыкальных, я называть не стану: разве не забавно будет, если их неуклюжие словеса (внутри этого романа) войдут в блаженную воду вечности, а имена их, несмотря на это, навеки забудутся, на следующий же день после смерти каждого из этих критиков...

Началось все с такого вот увеселительного отклика (прямо как в «Даре»):

"«Мефистофель forever» представляет собой биографию Генриха Фауста, изобретателя книгопечатания, жившего в Германии в эпоху Возрождения. Мне было бы очень интересно прочитать про этого великого человека, но автор, к большому сожалению, счел нужным снабдить свой текст нарочито пародийными комментариями к собственному же жизнеописанию. Автор даже заглядывает в будущее и смотрит, как там аукивается изобретение книгопечатания. Но от этого лично мне ни жарко ни холодно – куда с большим удовольствием я бы просто прочитал про Фауста, без всех этих выкрутасов. Честно говоря, автор намешал в свой компот столько всякой ерунды, что даже совестно называть ее благородным жанром биографии (видимо, поэтому ее и не стали издавать в «ЖЗЛ»). Автор делает вид, что запутывает читателя, играет с ним. Но по-моему, он запутывается сам, не в силах написать добротную биографию, он пускается во все тяжкие – и получается совсем уж плохая книжка. Уж лучше бы он сделал над собой усилие и подольше посидел бы в архивах, зато пользы было бы больше, даже если бы книга вышла не гениальной биографией гения, а хотя бы старательной попыткой. Но автор уходит, как я уже сказал, в неведомые степи. Стоит отрыть *(именно так в оригинале, читатель: отрыть! – М.)* любую страницу, и вы натыкаетесь на выдуманные слова, на неологизмы. К русскому языку, если честно, это имеет мало отношения. Это скорее какой-то китайский язык, как у Сорокина в «Голубом сале», а то и похуже. Я наткнулся и на эротическую сцену, но она меня как-то не впечатлила: такое впечатление, что автор робко решил разбавить свое унылое сочинение клубничкой, получилось что попало, но он не вычеркнул неудачный фрагмент, чтоб и без того тоненькая книжица казалась хоть чуть

потолще. Но несмотря на то, что книжка тоненькая, читать ее можно замучиться. Литературоведческие экзерсисы, возможно, вызовут интерес у специалистов (но я сильно подозреваю, что это у тех самых специалистов и списано), но у простого читателя они моментально набьют оскомину. Книга мне категорически не понравилась, я почему-то ждал от нее больше. Еще одна продукция на день, еще одна книга, которую прочтут только по необходимости, только литературные критики вроде меня".

Основательно-лапидарная рецензия:

"Действие романа «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» происходит в 2066 г. в России (или там, где была Россия, которая превратилась неизвестно во что). В тексте романа присутствует текст, якобы написанный в 1666 г. И наконец – все действие романа проникнуто реминисценциями из книги «Легенда о Фаусте», изданной в 1966 г. в СССР. Таким образом, автор устраивает полемику между тремя тоталитарными эпохами: средневековая Европа, Советский Союз и антиутопическое будущее. Полемика эта скучноватая, нудноватая, излишне публицистическая. То ли это художественное исследование мегаломании, то ли попытка грандиозной пародии на Набокова и Лимонова, то ли роман, главной героиней которого является советская литература... Вставная повесть «История доктора Фаустуса» представляет собой беглую травестию истории всемирной литературы. Но книга отдает душком занудства и демагогии. К тому же она пуста, претенциозна и безвкусна. Дочитать ее до конца *(то есть до этого места; улыбнись, читатель! – М.)* несколько сложно. Разве только страдающие бессонницей могут ей обрадоваться".

Рецензия знатока «современного литературного процесса» и, конечно же, «бездуховности его, этого процесса»:

"Антиутопий сейчас пруд пруди. Все стараются заглянуть в будущее, никто не видит в будущем ничего хорошего, а пессимистическое фантазирование – тема сравнительно легкая, вот она и привлекает молодых, в основном, авторов. Наш автор еще и довольно хитер и лукав. Он взял не относительно ближнее будущее (2017-й там или 2033-й), а относительно дальнее будущее – аж 2066-й. Что ж, автор будет к тому времени таким уже глубоким дедушкой, что никто не станет смеяться: дескать, ничего-то не угадал! Книгу, вероятно, забудут, да и сам молодой человек, очень и очень вероятно, завтра займется чем-нибудь другим, а не кропотливым и скучным литературным трудом. Наш молодой автор развлекается, беззаботно развлекается – это очевидно, поэтому всерьез говорить о праздном развлечении юноши... как-то нелепо даже. Некоторые критики всерьез обрушиваются на нашего автора: мол, подлец, циник, находится вне морали! Будто он Сорокин какой-то, ей-Богу! Да ведь нет, не Сорокин, и не молодой Сорокин даже. Может, и вдохновил нашего автора какой-нибудь «День опричника», но роли это не играет – не способен, не способен автор (пока, а может и – непреодолимо, имманентно неспособен) выстраивать просто банально связное повествование. Если Сорокин мастерски создает канву произведения, без труда воспроизводит классический сюжет, удобряет все искусной стилизацией, то наш автор ближе тогда уж к Пелевину. Пелевин тоже частенько начинает за здравие, а кончает за упокой: от закрученного любопытного сюжета очень быстро приходит к осовремененным мифам и мешающему актуальное и вечное философствованию. Вот и автор «Mefistofeля forever»: начинает свою антиутопию в каком-то квазинабоковском духе. Но... вдруг неуместный Хармс проклевывается, вдруг какая-то полуграмотная травестия Борхеса с Уко *(именно так, читатель: Уко! – М.)* То есть автор работает не с обычными мифами аки Пелевин, а с литературными, но никакого умения в этом не выказывает, и случается удручающий переход от довольно ровного «плетения изысканных словес» к вульгарным филологическим шуточкам, которые и у самих филологов-то наверняка навязли в зубах, а у неподготовленного читателя и вовсе вызовут отвращение. Вообще это нарочито нелепое, надуманное, поверхностное и схематичное повествование. Да еще и по принципу «сборной

солянки». Про такие книги говорят «винегрет», и как комплимент это воспринимают очень немногие и своеобразные читатели, а уж писатели все знают, что «винегрет» – диагноз вроде рака. Нет уж, взялся за писательство, так будь добр – выдерживай одну, только одну строго взятую планку: либо ты антиутопию пишешь, либо филологический фикшн с примесью карикатурного нон-фикшна, либо банальную порнуху с эпатажными нарочитостями для извращенцев и обывателей... А так... Надеяться, что, мол, каждый читатель найдет здесь что-то свое, – крайне наивно. Не Булгаков в конце концов наш автор. Не Маркес. И не Войнович даже. Молод еще и наивен. Как всякий начинающий автор, вместил, видно, в первую книгу все, что знал до сих пор о жизни. Все, что с романом связано, удручает неотделкой, отдает то пережаренной, а то недоваренной стряпней. Даже саундтрек к книге заставляет морщиться: там есть неплохие группы («Ленинград», «Кровосток») – но тут же (простите) Валерий Леонтьев и (два раза простите) Александр Серов... Ересь получилась обрывчатая. А не умудренная опытом продуманность никакая...”

Рецензия от chudak’a, который предпочитает «На дне» Горького моему шедевру:

“Повесть «Мефистофель навсегда» меня, в отличие от многих других критиков, не удивила. Это нисколько не удивительное в наши дни отвратительно-мерзкое творение. Кошмарное и убогое лоскутное одеяло, сшитое из грязных бородатых анекдотов и дешевого псевдолитературоведения. Напористое и наглое сочинение ощетинившегося юнца. И, в отличие опять же от многих других наших почтенных критиков, я вовсе не собираюсь делать скидку на молодость автора, ибо человек он, по крайней мере, совершеннолетний, и обязан отвечать за свои поступки перед обществом в одинаковой мере со всеми. Наш автор (молодой ли, старый он – неважно, забудьте о его возрасте) создал мерзость, а мерзость нельзя разбирать с иных позиций, чем со свысока презрительных. Я, как вы знаете, – адепт гамбургского счета... впрочем, в данном случае подобные прелюдии считаю излишними: всякий здравомыслящий человек не станет вменять мне в вину якобы чрезмерные нападки на эту однозначную (уже без всякого «якобы») gad’ость. Разбирать структуру, композицию, эклектику, фабулу, от которой автор якобы чересчур нелитературно уклоняется, я тоже не буду. Все это в конце концов не суть важно, когда речь идет о постыдной глумливости как таковой. Порнографические сцены (скверные описания не отменяют того факта, что это – чистой воды порнография), ругань, богохульство, аморальность, нивелирование всех духовных и нравственных ценностей – вот из чего складывается данное сочинение. Особенно препохабна не собственная нездоровая фантазия автора, а так сказать, фантазия с привлечением какого-никакого культурного достояния. Так, я давно не встречал более пагубно-тошнотворной сцены, чем сцена, где автор детально описывает половой акт между... Буратино и Мальвиной. Все самые грязные анекдоты из этой серии – невинная забава в сравнении с этой gnus’ностью, которая особенно gnus’на именно из-за своей грамотности, некой филологически-гуманитарной подкованности автора, которая, как он считает, дает ему право насмехаться над светлым и вечным. Я даже не буду говорить в этой связи о премерзостях, куда автор вставил Пушкина (готов после этого признать, что анекдоты Хармса – милые уважительные шутки). Сосредотачиваясь на этих плевках в культуру и в души нормальных читателей (а на остальном и не сосредоточишься, ведь кроме эпатажа, в книге нет ничего вразумительного), я невольно не обращал внимания на сумасшедшую бессвязность, горы непонятной, недоумение вызывающей отсебятины, дрянной язык с препротивным коверканием (все это отметили за меня другие критики). Автор наш, короче говоря, в основном, невыносимо кликушествует как последний базарный юродивый, и это производит по меньшей мере неприятное впечатление. Автор наш якобы «играет», и – можно и отдать ему должное, коего он так бесстыдно требует, – делает все, чтобы пояснить читателю (которого он на каждой странице фактически в лицо называет «дураком», «kretin’ом» и «сволочью»): я, мол, балуюсь. Зачем иначе он закончил свое сочиненьице кокетливой фразочкой «И тут я открыл глаза»? Намек ясен: все привиделось якобы в бреду, а какой спрос со сна? никакого! вот и представь, читатель (придурок и idiot), что ты вместе с автором всласть отоспался (в грязной

ночлежке с клопами, которой я всегда предпочту горьковскую). А вообще-то произведение это – чистой воды сатанизм и культивация безвкусицы. Не хотелось бы, чтобы моя рецензия послужила лишь рекламой (как это частенько бывает) дурацкой и вредной книжонке. Но автор здесь сам помог мне и читателям – сейчас я еще раз напомню, почему вы не станете покупать эту книгу: не хотите вы ведь, чтоб на вас вылили ушат помоев? Именно на вас, на читателя, ибо «Мефистофель forever», по-моему, – своего рода беспрецедентный ушат помоев, обливающий читателя не косвенно, а непосредственно. Читатель, вы не будете читать книгу, где лично Вас – именно Вас и никого другого – обзовут всеми возможными словами! Я утверждаю это, и чувствую, что Вы уже со мной соглашаетесь... Вот и чудно".

Рецензия от шута, посмевшего записать в шуты меня:

"На самом деле книга недурна. Это никакой не роман, конечно, как хочется думать автору (хотя бы просто по объему не дотягивает), но цельная и законченная повесть. Повесть, написанная со всем цинизмом молодости, с завидным наплевательством на все литературные традиции (даже на постмодернистские, не сочтите за панегирик), с непрекращающимся, перманентным стебом (даже в псевдотрагедийных и шокировавших некоторых критиков своей, мол, «совсем уж неуместной безнравственностью» сценах). Сделано талантливо, написано умело – что, в сущности, еще от хорошей книги надо? Многие ругают линию с «текстом Вагнера», а по мне, так это – неплохой театр абсурда в прозе, и я даже испытал некое удовлетворение «понимающего знатока», когда увидел, с каким бесстрашием автор местами разрушает всякие даже зачатки здравого смысла. Порнографии здесь нет ни на грош, ибо и в сексуальных сценах автор вовсе не выходит из удачно найденного образа. Собственно, главная и несомненная удача этого романа... тьфу ты, повести, конечно, – вот видите, какой удачный суггестивный образ!.. Главная удача этой повести – главный герой и есть. Выросший непосредственно из Козьмы Пруткова, Гумберта Гумберта, Чарльза Кинбота и Палисандра Дальберга, рассказчик в «Мефистофеле» – очарователен в своей продуманности. Это изначально была хорошая идея: наконец-таки реализовать, казалось бы, давно уже витающую в воздухе идею о герое с непомерной манией величия, и выжать из этой идеи и мании все, что можно. В контексте такого гипернарциссизма оправдано все: и женоненавистничество (которого я лично и так здесь ну абсолютно не вижу, тут скорее – мужененавистничество), и «неправдоподобная» (тьфу ты, какое дурацкое слово, когда речь идет о литературе) бесчувственность и черствость героя (дык он же – новый Мефистофель, забыли что ли?), и неслыханные преувеличения во всем (в знаниях, на деле поверхностных; в цифрах, всегда раздутых; в сексуальной и творческой харизме героя). Вот эти преувеличения – главное, что меня здесь занимает, то самое забавное, сравнительно новое и уж точно хотя бы любопытное, что есть в повести. Самый гротесковый гротеск – это, по-моему, то место, где герою-продюсеру в страстном стремлении попасть именно под его опеку приходит миллиард (!) дисков с музыкальными записями. Рассказчик – неслыханный гиперболизатор, я бы даже сказал: «гиперболизун», если воспользоваться окказионалистической манерой нашего автора (а в этой манере он тоже порой достигает уморительных высот). Один критик написал, что мания величия – у самого автора, и я сразу понял, что критик либо glup (что подозреваю давно), либо просто не читал книгу. Автор искусно проводит линию «саморазоблачения» героя, без которой, естественно, никаких восторгов по поводу этого эгоцентриста я бы не испытал. Это все также идет от Кинбота и Палисандра, но без особых изысков, как бы в упрощенном и практически общедоступном издании. Я бы без сомнений назвал молодого автора «Набоковым для бедных». Что касается же сетований на недостойное, мол, обращение с читателем, то это, извиняюсь, полная ахинея. Даже поверхностно знакомый с литературоведением человек не может не быть знакомым с таким понятием, как «образ читателя». От истинного читателя оный образ бесконечно далек (к тому же повествователь обращается к своему современнику, т. е. к читателю из довольно-таки далекого будущего, а вовсе не к сегодняшнему), и откуда берутся не ведающие этого дилетанты-критики, это просто

уму непостижимо... Вообще литература наша сегодня – довольно пресная, и прежде всего из-за отсутствия весомого литературного шута, который смешивал бы в стиле буфф высоколобое и низкосортное писательство (великие примеры из XX в.: Зощенко, Воннегут, Пригов). Кажется, наш автор всерьез претендует на титул такого именно гаера, и я уверен, что он на меня из-за этой фразы не обидится".

Рецензия из какой-то смехотворной православной газетенки:

"«МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» – самая Богомерзкая книга, написанная пока в нашем столетии. Ее сатанинская сущность видна даже в заглавии: три латинские «f» здесь не случайны. «F» есть шестая буква латинского алфавита. Легко увидеть, какой именно шифр вложен в одно уже заглавие книги: 666 – без труда видим мы, число Зверя, выведенное на обложке бестселлера (о Антихрист, неужели ты уже близко?) Книга Богохульна насквозь; можно подумать, что ее написал сам дьявол. Известные грешники прошлого – Гете и Булгаков – превращаются в слепых невинных щенят перед неимоверным Богохульством нового писателя. Не продал ли автор душу дьяволу? – невольно приходит в голову во время чтения оной ереси, ведь в книге смакуются и соблазнительно преподносятся все мыслимые и немыслимые грехи, включая мужеложство и skot'оложство. Лукавый будто поселился в этом отвратном сочинении. Молитва Господня кощунственно соседствует здесь с площадной бранью, с бесчисленными страницами, живописующими прелюбодеяния, с непрестанным приравниванием автора к Богу... Более вредной книги мне на сегодняшний день не известно, и я хотел бы обратить внимание Церкви (которой здесь обязано будет помочь Государство) на данное глумливое сочинение. Не изъять эту книгу из магазинов, не уничтожить все ее экземпляры (как это ни прискорбно, но появляются все еще книги, место которым лишь – в адском или хотя бы Церковью освященном огне), не воспрепятствовать тлетворному ее воздействию на неокрепшие молодые умы суть преступление против рода человеческого. Автор таковое преступление уже совершил, и какое наказание не ждало бы его на земле, в аду его ожидает тысячекратное увеличение земных наказаний за земные и неземные, безумные его грехи".

Одобрительно-снисходительная рецензия по принципу «что мне нравится, о том не знаю, что сказать»:

"Скажу сразу: книга мне понравилась. «Мефистофель forever» – это что-то во всех смыслах демоническое. Однако у меня, возможно, чересчур своеобразные вкусы, ибо эклектика, развязность, эпатаж, необоснованные интертекстуальные отсылки, пародийное порно, сквернословие, претенциозность, юмор на грани фола, нескончаемые аберрации в повествовании, нагромождения наспех переиначенных штампов, бесстыдная игривость, т. е. все то, что с легкостью способно оттолкнуть большую часть критиков и читателей, мне почему-то нравится. В «Мефистофеле forever» мне импонируют и скабрезные шуточки, и отталкивающий, казалось бы, напор на читателя, и беглая смена картинок... Я прочитал роман за вечер, чего со мной не было давно. Иной роман вроде и серьезным кажется, и умным, и правильным, а читаешь его неделю напролет, каждый вечер, втайне думая: когда же, когда же он кончится?.. А в сегодняшнем нашем случае – странное дело: и романчик, по сути, – так, пустышка, и ничего в нем особого и нового вроде нет, и куча излишков да изъянов, а я его с легкостью проглотил за пару часов, ни разу не испытав желания посчитать, сколько еще страниц осталось. Тайный какой-то, но существенный плюс. О чем роман? Рассказывать не имеет смысла. Скажу только, что главный герой – небывалый самовлюбленный извращенец, чья самовлюбленность не мешает ему, впрочем, искать наслаждений прежде всего в женском сексуальном доминировании. Он комментирует glup'ейшее (и оттого порой – безумно смешное) сочинение некого «анонима», причем иногда кажется, что герой сам это сочинение и написал. Есть тут и описание разнообразных извращений... Вот интересно: знаете, как бывает?

– стоит какому-нибудь писателю вставить в свой роман гомосексуальную сцену, и его тут же записывают в педерасты. В нашем случае автора по такой логике следует записать еще и в зоофилы, некрофилы и онанисты... Намешано тут еще много всего и... на этом, пожалуй, хватит. Ведь в конце романа автор приводит с десяток авторецензий *(одну из них ты сейчас читаешь, читатель; только не авторецензий, а* настоящих *рецензий* настоящих *критиков, включая и цитируемого сейчас неграмотного dub'ину. – М.)*, в которых отмечены почти все недостатки произведения, а также истинные и вымышленные его достоинства. Добавить посему нечего".

Рецензия дурака и склеротика:

"Ну что сказать, ну что сказать о «Шмефистофеле forever» и его авторе? Слог есть. Проза катит. Автор не дурак. Но отчасти зануда. Не зануда даже, а такое впечатление, что пишет свою повестушку... не знаю... на спор, что ли... Автору скучно, смертельно скучно заниматься литературой – это чувствуется на каждом шагу, но он с непонятным упорством продолжает и продолжает выдавливать из себя ненужные и наобумные слова. Но автор, повторюсь, не дурак, и иногда что-то проблескивает: то удачная шуточка, то ловкий интеллектуальный кунштючок... Однако эти мини-удачи тонут в рассусоливании, многословии и муссировании одних и тех же скучных и плосковатых тем. Повестушка напоминает огромную булку с микроскопическими кусочками сосиски. Но главное не это. Бывают тоскливые книги, они даже преобладают, – дело не в том. Самый главный недостаток произведеньица (который автор явно еще и ошибочно считает одним из главных его достоинств) – неуважение к читателю. Это, возможно, единственное, что уж точно ни при каких обстоятельствах нельзя допускать в литературе. Автор допустил, да еще и увлекся этим допущением. Книгу это погубило. Нельзя, нельзя так, и можно смеяться над сантиментальностью Булгакова, патетически взвывающего: за мной, читатель, за мной! но Булгакова как раз читатели, как правило, обожают (не в последнюю очередь за его внимательное и бережное отношение к читателю). Автор нового Мефистофеля рушит эту гуманистическую традицию (вся русская литература и всякое на русском языке написанное произведение без нее просто невозможны!), да еще и не устает прецинично попирать ее ногами до самой последней страницы. Это оскорбительно, и это главное. Остальное в повести не имеет никакого значения: «нулевой градус» в плохом смысле этого словосочетания. А уж когда автор пытается морализировать (после того, как страницу назад окунывает читателя в gad'остную некрофилию, а потом его же, читателя, некрофилом и обзывает) – просто стыдно за него становится. Там, в частности, присутствует жалкое и невнятное бормотание на тему того, что, дескать, в сексе никто ничего не понимает, в мире с этим делом – полный швах... Короче, автор сам, видимо, не понял, что хотел сказать и что получилось в итоге. В качестве оправдательного штришка автор после подобных невнятиц говорит: вот вы, людишки (и читатель, читатель, главное), – дураки и urod'ы, ничего не понимаете, а я – гений. Словом «гений» и однокоренными роман испещрен до назойливости. Это типа остроумно – вывести в качестве рассказчика такого утрированного Сальвадора Дали. В самой уж никчемной линии повести (древняя якобы рукопись, чью фальшивость не имеет смысла доказывать, но герой это все-таки проделывает) отсебятина прет со страшной силой, в лучших (а скорее, в худших) традициях дадаистов и обэриутов. Более-менее приемлемой казалась бы антиутопическая линия повести, если бы автор взялся за нее всерьез (но ему и это – уныло, а ведь, я думаю, мог бы). Основная идея этой линии не нова (как не новы все почти фантастические линии в современной беллетристике): о чем-то подобном говорилось, например, в «Сиренах Титана» Курта Воннегута (которого автор в одном месте бессмысленно охаивает, как и многих других замечательных писателей). Речь идет о таком будущем, «фишка» которого – начать культурную жизнь с нуля. Документов за существование письменности расплодилось чрезмерно много, и чтоб не сойти с ума в этом текстовом хаосе (постмодернистский апокалипсический бред), все накопившиеся человечеством культурные артефакты уничтожают. Тема сравнительно благодатная, но автор затрагивает ее вскользь, зевает и переходит к другому зачатку другой «фишки»: в будущем, мол, изобретут новую религию-идео-

логию – сексоцентризм. Что это и зачем, не растолковывается (кто это придумал? кто правит миром при таком раскладе? сексуальные маньяки? – неясно). Послонявшись среди трех «сексуальных» сосен (всякий литератор знает, что читать эротику часто интересно, но писать – невыносимо мучительно), автор создает рудиментарную опять-таки пародию на современное телевидение. Кажется, именно из-за этих скудных и вялых сценок многие наши критики огорчились и возмутились. Решительно их в этом не поддерживаю: автор и здесь сделал два-три торопливых мазка, плюнул и пошел спать (ужинать / в кино / бездельничать... не знаю). Не вышло ни шокирующего натурализма, ни дерзкой актуальной пародии на нашу ТВ-пошлятину. Таким небрежным манером книжка и написана, меня до сих пор клонит от нее в сон – сейчас я закончу эту рецензию, лягу спать и никогда уже потом не вспомню ни об этой повести, ни об этой своей рецензии".

«Очень отталкивающая» рецензия:

"Давайте сначала разберемся с достоинствами. Роман довольно смешной (как почти всякий, впрочем, роман). Легко читается (достоинство ли?) Изобилует каламбурами и фактиками из истории мировой литературы (но каламбуры однообразны и надоедливы, а фактики общеизвестны). И это, конечно, стандартный роман об эросе и танатосе. Таким образом, мы видим, что в «Мефистофеле форевер» присутствуют только лишь достоинства всех вообще романов, которые кто-либо когда-либо рисковал выпускать в свет. Книжонку эту мне всучил один коллега с озадачивающим меня теперь намеком: мол, молодой автор, подающий надежды! может, похвалишь в своей колонке?.. Ну и что, что автор молодой? Что теперь, школьные сочинения издавать, пусть и пятерочные? Ну да, автор молод. Но надежды он мне никакой не подал. Разве что, когда я только начал читать, мешающая (лучше б и не знал про возраст) ссылка на юность заставляла хмыкать: слог бойковатый, словарный запас вроде обширный... Но всю свою бойкость и весь свой резерв слов автор израсходовал еще в начале, потом идут сплошные повторы, фразы строятся по одной модели, излюбленные автором словечки (даже самые жеманные и книжные) набивают оскомину... Задача младого писателя нашего усложняется еще и своеобычной маской рассказика – маской мизантропа. Как настоящий мизантроп, рассказчик всему что (и всем кого) видит вокруг навешивает такие ярлыки как «омерзительный» и «отвратительный». Еще «gnus'ный» и «gad'кий» – вот, пожалуй, и все. От количества употребления этих эпитетов, разрастающегося в несносные снежные комья, тоже весьма устаешь. Все-таки русский язык не приспособлен для шибко искрометного обливания грязью, а от мата наш автор отказывается, испугавшись цензуры, и придумывает дурацкое алиби (а без алиби никак! как это, действительно, мизантроп – и вдруг будет стесняться в выражениях?) – обсценную лексику, видите ли, ну совершенно запретили в две тыщи каком-то там году (только ради этого, что ли, автор запихал своего героя в будущее?) Что еще? Очень glup'ые диалоги. В качестве показательного примера: как вам такой разговор? –

"Я вошел в комнату доктора Фаустуса и сказал ему:

«А что если фыр-фыр-фыр?»

«Да», ответил мне доктор Фаустус, «но только дыр-дыр-дыр»".

Добавьте к этому всему злоупотребление Набоковым (то там, то сям выскальзывает фразочка из «Лолиты» – то слегка подправленная, то набело переписанная, а «Лолита» – ведь, не забывайте, самое доступное и попсовое творение Владимира Владимировича) – и вы поймете: роман молодого автора читать не нужно. А я ведь не добрался еще и до самого «отвратительного», «омерзительного», «gad'кого» и «gnus'ного» в этом романишке – он преисполнен жуткой грязи. Как минимум шесть эпизодов читать неимоверно противно (неужели самому автору не противно было писать?). Аналогии с пресловутым Сорокиным здесь неуместны: у того была задача – опрокинуть соцреализм до противоположного, а продолжал он писать gad'ости просто по инерции. К тому же Сорокин – писатель матерый, признанный и разнообразный (и человек, как говорят, приятный), его мерзости как бы давно уравновесились с его прелестями. Мысль же,

что подобные ужасти может сочинять совсем молодой человек, явно без какой-либо идеологии, а просто – из юношеского максимализма, произвела на меня очень отталкивающее впечатление".

Спермотоксикозная рецензия:

"Роман «Мефистофель forever» – насквозь игровой и даже игривый. Я просто не могу припомнить ни одного другого автора, который бы так яростно (и, вместе с тем, заискивающе) заигрывал с читателем, причем по довольно своеобразному принципу «бьет – значит любит». Следующим шагом в этом направлении должен стать роман, на протяжении которого автор неустанно будет заниматься с читателем сексом (вроде как секс по телефону). До тех пор же будем довольствоваться простым пока еще кокетством, не всегда вдохновенным. Наш автор все-таки не смог перманентно следовать выбранному руслу, и роман вынужденно прерывается явно инородными фрагментами. Особенно пространны «культурологические» работки, больше годящиеся для журнала «Вопросы литературы», причем в раздел «Юмор» (хотя бы уже из-за их поспешности и поверхностности). Навязший в зубах прикол с комментированием «чужого» текста, как и присутствие этого текста (здесь соблюденное), утомляли меня на протяжении всей книги. «Открытие» автора разве что в том, что необязательно строить произведение в виде комментария – комментарием можно и запросто разбавлять традиционное сюжетное повествование от первого лица. Уснастил автор свое произведение и обильным количеством семплов, если воспользоваться этим музыкальным термином: фрагментов из других писателей в романе множество, закавыченных и латентных. Интереснее, конечно, латентные, правда, для знающего читателя; иной читатель вполне может подумать, что фраза «Чтоб добрым быть, я должен быть жесток» принадлежит автору «Мефистофеля forever», а не автору «Гамлета». Эрудиту же нетрудно будет проследить и то, каких писателей наш автор цитирует в том или ином виде с наибольшей интенсивностью (а значит, понять, таким образом, кого он, в основном, читает и на кого ориентируется). Литературных своих фаворитов автор зачастую упоминает без особой надобности: я, например, имею основание полагать, что начинающему романисту небезразличен Дмитрий Александрович Пригов, но убедительное оправдание использования приговского словца-архетипа «милицанер» в тексте не видно. Над чуждыми нашему автору авторами он насмехается. Например, берет из «Архипелага ГУЛАГа» реальный эпизод скитаний одного беглеца и превращает этот эпизод в сюжет попсового боевика. И насмехается, тем самым, над Солженицыным, ругая историю из жизни, превращенную в мифический фильм, на все лады: мол, какая избитость, насколько все неправдоподобно и штампованно!.. Еще «Мефистофель forever» инфантилен, и я до сих пор не могу понять, раздражает он меня этим или все-таки восхищает. Скорее все же первое... А срезюмирую так: игры играми, однако в наше время эффектнее смотрится либо полный от игр отказ, либо генерирование абсолютно новой игры, что практически уже невозможно. Подожду еще того писателя, который рискнет заняться со мной сексом".

На этой, как говорим мы, музыканты, кодовой ноте стоило бы и закончить. Terminat hora diem, terminat Author opus.

Если бы не самое главное.

Ты помнишь, читатель, какую благую цель преследовал сей славный труд; напоминаю – уничтожить всякое значение анонимного пасквиля. И я был бы не я – гений et cetera – ежели б не закончил свой детектив (а как еще обозначить жанр моего шедевра, проливающего свет на истину истин?) феноменальным разоблачением именно тогда, когда этого уже никто (Никто – твое второе имя, читатель) не ждет.

Попрошу внимания! Ты, ты, ты, ТЫ, ЧИТАТЕЛЬ! Да – именно ты (вообрази себе сейчас мой мускулистый перст, грозно указующий в твою сторону)... Именно ты со своим... ах, оставь, мне оно вовсе ни к чему! – именем.

В сумбурном скучнейшем романе Милорада Павича (эпигона Габриэля Гарсиа Маркеса, который тоже, между прочим, не блистал занимательностью) «Пейзаж, написанный чаем» героиня влюбляется в читателя.

Неостроумные математики из литературной группы «УЛИПО» (никчемные физики, беспомощно и безрезультатно пытавшиеся доказать, что они – классные лирики) додумались до такого открытия велосипеда и изобретения Америки, что осталось, видите ли, последнее звено в истории детективного романа – написать произведение, в котором убийцей окажется читатель (хотя за полвека до них это уже успела сделать способная графоманка Агата Кристи в опусе «Убийство Роджера Экройда»: убийцей оказывается рассказчик, с которым любой невзыскательный читатель незатейливых детективчиков себя, натурально, всегда отождествляет).

И вот мой – Детектив Детективов, Роман Века, Тысячелетия и Человеческой Истории; «МЕФИСТОФЕЛЬ FOREVER» – имя розе этой.

Читатель, ужаснись! – сегодня ты не только преступник, но и автор (!!!!!!)

Sic! Sic! Sic! Sic! Sic! Sic! (six-six-six, как пошутит очередной безмозглый критик).

Ты думал, я не знал?

Думал, я обзываю всеми этими моими верными скверными эпитетами раздельно – тебя и так называемого «автора пасквиля»?

Ты думал так, истинный А. П. (не Антон Павлович, но Автор Пасквиля)?

Конечно, ты думал так – и на все шесть баллов ошестьбался!

Я с самого начала знал, с кем разговариваю; с первой же моей ударной реплики (как там все начиналось? – «Я, дескать, – мизантроп») знал, кто именно увлечется ей и уже не оторвется от этих страниц до самой э т о й страницы. Почему ты так быстро прикончил эту книгу? Почему тебе было так интересно? Оставим покамест в стороне мою гениальность – ведь тебя, злобного завистника, она занимает и трогает лишь в отрицательном смысле – тебе было так занятно и трогательно только потому, что Гений включил в свой Шедевр и твой жалкий пасквиль.

Или ты не хочешь признаваться в этом? И даже шире – в своем убогом авторстве? Утверждаешь, значит, что не ты напасквилил?

Ты серьезно?

Вспоминаю свое любимое старье, голливудскую ретробредятину: художественный фильм «Fight Club» – когда герою кажется, что он спит, его alter ego бодрствует и совершает разные непотребства. Что, это, хочешь сказать, про тебя? – оборотная сторона шизофреника, под покровом ночной темноты кропающего при нимало не колеблющемся свете монитора gnus'ную отсебятину?.. Или еще: художественный мультфильм «Men In Black» – коварные тоталитарные органы совершают разные непотребства с помощью инопланетян, а затем стирают память об этом в мозгах случайных филистеров-свидетелей. Может, и это про тебя? – написал стариздатовскую мерзость, а уэскэшники за это превратили тебя вновь в равнодушного обывателя?..

Как бы то ни было – dixi. Гений не кончил (после Маргариты – ни-ни!), но закончил.

Эх, мой glup'ый соавтор-читатель, – подумать только: ведь это из-за тебя, из-за тебя пришлось проделать этот удивительный путь – от Жана-Батиста Мольера до американской кинопошлятины 1990-х...

Сейчас мне, наверное, полагается умереть от разрыва сердца, подобно Брэдли Пирсону или Гумочке Гумочке... но нет, сердечко, хоть и разбито Маргариточкой, но в порядке; уверен: проживу я еще не так уж ма

Das Postskriptum

Странная книга. Ее доставил мне мой дух как образчик сочинения XXI столетия. Она произвела на меня какое-то завораживающее впечатление. Быть может, потому, что здесь присутствуют записки моего сумасшедшего фамулуса Кристофа Вагнера; его уже нет с нами: болезнь его долго развивалась, в одно время его пришлось поместить в лечебницу для умалишенных, где он

недавно и умер. Его безумные записи я хотел было уничтожить, но все же решил сохранить как память о преданном мне, в сущности, ученике. Удивлению моему не было предела, когда я убедился, что документ этот, коего автор – безусловный сумасшедший, будет напечатан, да еще и спустя четыре столетия. Остальное же в этой книге едва доступно для понимания; как я вижу, она представляет собой комментарий некого ученого мужа к запискам Вагнера. Что-то заставило меня пойти на это озорство и внести некую историческую сумятицу в историю письменности: я решил издать эту книгу – сегодня, сейчас. Засим добавить мне больше нечего; необычное это мое желание, возможно, вызвано надеждой на то, что один из экземпляров этой книги попадет в руки некого современного мне ученого мужа, и он разгадает всю ее сущность и заглянет, таковым образом, в будущее вместо меня. Я же сообщаю своим читателям, что издание сие есть последнее из всех изданий моей знаменитой типографии; я закрываю ее и отправляюсь в увлекательные путешествия вместе со своим духом.

Писано в Виттенберге,
в пятницу 6 июня MDCLXVI года
доктором Иоганном Фаустусом.

Я открыл глаза. Перед ними успело мелькнуть слово:

КОНЕЦ

Мария СКАФ

* * *

смотри-смотри,
вон идет золотой узкоглазый божок
ведет детей прочь из города на раз-два-три,
смотри-смотри,
у него два лица, четыре руки,
его ноги заплетаются между собой,
его руки оплетают детей,
он уводит их куда-то домой.
слушай, ни звука не пропусти,
это бог спустился на город, стучит в большой барабан,
идет по улицам, смывая дождем следы,
напуская туман,
с привкусом железной руды.
слушай-слушай, это гром разбивается на главной площади,
это плачет колодец – от него утекла вода,
заполнила переулки, рыбы вылезли из пруда,
послав законы природы к такой-то дочери
шляются по магазинам, выбирают модные фетры, кланяются друг другу,
разговаривают о погоде: в этом городе уже тысячу лет не видали солнца,
бог дождя, чешуйчатый змей поселился в нашем колодце,
иногда он выходит и стучит в барабан, отбивая ритм упрямому ливню,
и под этот марш, золотой божок уводит детей человеческих в солнечную долину
учит переводить их стихи на птичий язык и обратно
матерям это все не нравится – они видят в этом упадок нравов
их отцы стреляют в божка из раритетных двустволок
целятся между лопаток, но все без толку
все, смотри, дети уходят, завороженные танцем своего бога

смотри-смотри золотой божок выводит детей из города через северные ворота
вода заливает улицы по чердачные окна
чешуйчатый змей садится в свою скорлупку и отправляется в соседний город
а двуликий божок ждет, когда дети обернутся золотом

* * *

Иоганн взял в руки свой посох
Возле дома его колодец высох
Жене запаянный конский волос
Мешает отправиться в горы лысые

Мария СКАФ родилась в 1988 году в Москве. Училась в Московском Государственном Гуманитарном Университете имени М. А. Шолохова на филологическом факультете. Ныне – студентка литературного института им. А.М. Горького, кафедра критики. Участница виртуальной студии «Новой литературной карты России» и поэтического семинара «Северная зона». Стихи опубликованы на сайте «Полутона». Публиковалась в качестве критика в «Книжном обозрении» и интернет-журнале «TextOnly».

Иоганн взял жену на руки к пескам вышел
Вдалеке увидел 11 золотых башен
Побрел Иоганн в город по пустыне рыжей
У городской стены жена умерла и обратилась мышью

Иоганн берет карту пути млечного
В его доме исчезли все восковые свечи
Его дочь не умеет ходить с детства искалеченная
Дочь сажает Иоганн на свои плечи

Заводит с дочерью такие речи:
«Мы идем в золотой город, больше нам делать нечего»
умирает Иоганнова дочь на третий вечер
остается на его плечах неподвижное тело кречета

Иоганн приходит в золотой город башни ему говорят: «рано!»
У ворот его мать стоит и обращается к Иоганну:
«Я уже чувствую, как смерть твоя дышит в мое лицо»
На полпути Иоганн падает замертво каменным колесом.

* * *

мать-земля говорила ему: полежи, остынь
я сошью тебе одеяло лоскутное из сорных трав
будет петь тебе колыбельную зверобой, полынь
ромашки-лютики от солнца жаркого укрывать
и на кой чорт тебе куда-то плыть ползти лететь?
оставайся со мной, будет тебе happy-end
всякому ясно, что встретить смерть
лучше возле меня да на склоне лет
оставайся. денег на билет все равно нет.

мать-земля обращалась к нему: куда пошел, раб?
никуда тебе не деться от моих рук
погляди, вертопрах на моих болотах – рай
ни одна стихия от такого рая тебя не спасет, друг
так что лежи не дергайся отдыхай
не заигрывай с ветром – еще простудишься вдруг

мать-земля ему орала вслед: а ну вернись, тварь
ишь чего возжелал – покинуть земную твердь
думаешь демон морской спрячет тебя в свой ларь?
или небо поможет тебе от меня улететь?
все равно вернешься сколько не убегай
в этом мире мертвым положено только через меня смотреть

на краю света лишь воздух над морем на черепаховых каблуках
ветер поднял его над землей, но устал качать на своих руках
море прополоскало и выкинуло на других берегах

Маргарита КАЗАКОВА

* * *

заплетала косички дочке
рисовала губки
лаком для ногтей
глазки – фломастером
звала катькой

фарфоровая

от любимого

* * *

я стала чаще ходить туда где
опасно
и реже туда где
можно
т. е. нас меньше –
ОБЩИХ ДОРОГ

внутри меня завелась
маленькая кошка
которая учит меня
сворачиваться
в клубок

и не предавать огласке
тёмные сказки
которые мурлычу для тебя
а после ближе
к осени
я уйду от тебя через крышу

переполненная тобой
своим голосом твоим смехом своим запахом комком твоих в волос в горле
куском твоей жизни в моём животе

Маргарита КАЗАКОВА родилась в 1984 году в г. Кыштым Челябинской области. Лонг-лист 2-го регионального фестиваля литературных объединений «Глубина», диплом за лучший дебют 3-го фестиваля нестоличной поэзии им. Виктора Толокнова (В. Уфалей, 2008). Живет в Кыштыме.

* * *

не пропади
ради
меня

общего сына
родим

будем вечные
как качели

в парке
на коноплянке

коляски катать

паковать

мусор и вещи
в пакеты

Алена БАБАНСКАЯ

тебе туда нельзя

«чужая жизнь потемки колыма»
А.Анашкин

Чужая жизнь разыграна по но-
там звуки осыпаются с панно,
поскольку выводились впопыхах
хитиновой механикой в жуках,
жирующих в коричневых плащах
на ветреных березах и хвощах.
Там, кажется, сражение – зер гут:
бумажные солдатики бегут.
там музыка батальная слышна,
там речь исповедальная смешна,
там пешки предприимчивей ферзя,
тебе нельзя, тебе туда нельзя.
Чужая жизнь пестра, как синема,
чужая жизнь потемки колыма.
А ты, зажав соломинку во рту,
глядишь заворожённо в пустоту.
извечно ни при ком и ни при чем –
скрипичным отмыкающим ключом.

Звезда с кленовым плавником

Поржавели рощи, порыжели,
Шелестят в запале оружейном –
В небеса нацелили стволы,
В небесах разносится «курлы».

Стали звуки, запахи острее,
Горизонт – что бритва брадобрея.
Воздух входит в легкие, как гвоздь,
И кровит рябиновая гроздь.

Поутру туман распустит космы,
Из окна гляжу в открытый космос,
Где звезда с кленовым плавником
На асфальт слетает прямиком.

И, пока душе покой неведом,
Я плыву в Туманность Андромеды:

Алена БАБАНСКАЯ родилась в подмосковном городе Кашира. Живет в Москве. Закончила МГПИ им. Ленина в 1990 году, филологический факультет. Работает в банковском журнале «Плас». Печаталась в журналах «Крещатик», «Арион», «Литературная учеба», «Кукумбер».

Где-то у созвездия Тельца
С тополей просыпалась пыльца.

Городская колыбельная

Спи на донышке кирпичном,
Освещен желтком яичным,
Загребая тьму руками,
Точно рыба плавниками.
В колыбели сквозняковой
Полой трубкой тростниковой
Пропускай времен теченье,
Звезд холодное свеченье.
В кулачке зажав синицу,
Поскорей сомкни ресницы.
В непроглядной черной яме
Захлебнись чужими снами.

Сергей ЩУРИН

Снег

Когда кончается всё
Всему приходит конец
Падает мелкий медленный снег
Редкий, тихий
Как теперь
Летит, забывает
Надо собираться
Делать зарядку
Мыть полы
Прибирать квартиру
Приготовить, пожалуй,
Что-нибудь поесть
Для тех, кто придет после...

2005

* * *

...как джентльмен, вспоминающий,
гуляя вечером
на песчаном ветру с верной собакой
по атлантическому побережью,
я вновь сегодня скучал.
И это становится интересно.
Вот некому только рассказать об этом –
я скажу это ей
в своём сердце
и подарю
бумаге.

2005

* * *

И, жалуясь на блядей, святош и фээсбэшников,
гарью под вечер
с близкого волжского берега
на огонёк потянутся
токсикозным
неслышным безумием

Сергей ЩУРИН родился в 1969 году в г. Саратове. Закончил физический факультет СГУ. Член Союза художников России (с 2005 года). Публиковался в журнале «Волга» (№7, 1998), в антологии «Нестоличная литература» (М.:НЛО, 2001), в сетевом литературном журнале «TextOnly» (№7, 2007), в альманахах «Воздушный Гольфстрим» (1994, Саратов) и «Перевертыши» (1997, Саратов).

в замаранных белых одеяниях
ангелы нелепо только что залетевшие.
И тряся руками, сигаретку сломав,
мышей в сарае погладят,
Поиграются, рассмеются,
портвешка попросят
И сблюют тут же.
И, с глазами осенними овечьими
ругая своих насильников,
Уж клянутся, залетевшие. крестясь нелепо,
ни с кем, никогда и нигде больше...
И только успокою их я, провожая:
и там, куда я тоже собираюсь –
нас палачи переживут, как всех,
и – не переживая.

27 августа 2008

Игорь ИОГАНСОН

Деточка на шаре
(Опыт автобиографии)

В юность мою, когда я был скульптором, было у меня три друга-богатыря. Один распределял работу по всей России – кому что лепить. Другой ведал всеми деньгами – кому сколько получать. А третий – всеми мыслями – кому о чем и как думать, т. е. был у нас секретарем партии.

Были они молоды и хороши собой. Я тоже был ничего и работу разумеется имел регулярно. Какую? Естественно – памятники любимому бывшему вождю. Но была одна неувязка. Лепить я его не умел и научиться никак не мог.

Первый бюст мне молниеносно слепила подруга-скульптор, пользуясь одной доской, как тогда было модно. Но потом она меня разлюбила, и я остался один на один со своей незадачей. Выручили два обстоятельства. Был еще один друг, который умел все это с детства, помогая папе-скульптору в его изваяниях. А также некоторое количество старых бюстов, доставшихся мне в наследство от скульптора в мастерской, которую я ухитрился получить с помощью его самого и друзей-богатырей. Скульптор был старый друг семьи, и я работал там у него и для него, оттискивая в формы старые бюсты вождя и выдавая их за новые, ибо у него (т. е. – у скульптора) уже отнялись правые рука и нога после инсульта. Так что с головами было все в порядке. А туловища мне лепил друг, который умел это делать с детства, помогая папе-скульптору.

Правда, чтобы оттиснутые головы подходили к туловищам, приходилось их усушивать в глине до нужного размера, снимать форму и опять оттискивать, иногда по несколько раз. Мастерская приобретала вид дикарского поселенья с сухими головами врагов на шестах.

Друг, который умел лепить, быстро лепил туловища, и для меня у него получалось гораздо лучше, чем для себя, так как для себя он очень старался, лепил долго и тщательно и замучивал вождя до смерти. У меня же – разок-другой, и выходило свежо и очаровательно с сушеной головой на плечах. Совет принимал. Друзья-богатыри в приемке не участвовали. Да и не было необходимости.

1.

Потом все это кончилось. Вожди утратили былую популярность, друзья-богатыри постарели и разошлись по своим вотчинам. Зато пришла мода на громадные настенные барельефы, сделанные из чего угодно и как угодно, а также – с какой угодно тематикой.

Тут, правда, как и раньше, была одна неувязка. Их лепить я тоже не умел и научиться никак не мог. Зато появилась у меня новая подруга-скульптор с богатой фантазией и ремеслом ювелира, которое она приобрела в училище.

Так что дело пошло. Правда, громадные барельефы имели вид больших брошек, но я их старательно обрабатывал под камень, хотя они были гипсовые. В них было дикое количество фигур, так как платили в основном пофигурно, а такое никак нельзя было не учитывать. Промеж фигур щедро сеялась зернь, завитки и другие ювелирные штучки, разумеется, немыслимой величины.

Игорь ИОГАНСОН родился в Москве в 1937 году. Скульптор, художник, литератор. Соучредитель некоммерческой галереи современного искусства «Спайдермаус». Автор персональных выставок, мемориалов и памятников. Печатался в журналах «Комментарии», «Арион», «Кукарт», «Комод», «Меценат и мир», «Дети Ра». Книги: «Межсонетье» (1992), «Отсутствие Хроноса» (1993), «Первопечатная машина» (визуально-литературный проект, 1999), двухтомник «Рефрены» (2007), «Четыре венка» (сонеты, 2008), «Неполное собрание» (пять томов, проза, сценарии, 2008), а также более 70 наименований малоформатных коллекционных авторских книг.

Заказчик бывал настолько ошарашен этим чудом, что подписывал процентовки, т. е. платил безоговорочно. Впрочем, он думал, что так и надо. Мы были при деньгах.

Комбинат имел привычку не платить годами, особенно таким, как мы, не-богатырям, хотя Совет принимал безоговорочно ввиду восторгов заказчика.

Но тут я придумал наполеоновский ход и превентивно подавал в суд на комбинат сразу после сдачи очередной «брошки». Помогал «ярыжка», юрист комбината, который за небольшую мзду проигрывал процесс – это было тем более легко, что мы были правы к тому времени. Весь комбинат лишался премиальных, «банда Иогансона» получала свою добычу, постепенно развращалась, пьянствовала и увеличивалась в размерах.

Крах наступил, когда, зарвавшись, мы решили покончить с «брошками», пригласили к сотрудничеству самых гениальных друзей, чтобы таким образом увековечить свое настенное имя. Посыпались неудачи, подтверждая правило, что нельзя служить Богу и Мамоне одновременно. Мамона рассердился, а Бог восскорбел. Архитектор проекта, давший нам карт-бланш на любые творческие опусы, неожиданно умер.

Заказчик, оставшись один на один с гениальной абракадаброй на стене, визжал на Совете, потрясая депутатским значком, что народ не поймет, и нашу лавочку быстренько прикрыли. Ярыжка поджал хвост, отсудить ничего не удалось, и на этой оптимистической ноте повествование о моей скульптурной карьере можно считать завершенным.

2.

Если же заглянуть еще дальше в прошлое, то там, в этом прошлом, я, закончив самый престижный художественный ВУЗ и ничему как следует не научившись из того, что нам пытались вдолбить, т. е. – как лепить руки, ноги, головы и все вместе взятое, решил рубить из дерева топором изваянья, как это делали наши предки-славяне. А может, и не славяне были они, а евреи или бог знает кто.

Рубить я начал остервенело и, проработав таким образом несколько лет, наполнил свою комнатенку, а потом и доставшийся мне подвал истуканами, которые укоризненно смотрели слепыми глазами на ваятеля и ватагу его хмельных друзей разного пола и калибра.

Подвал периодически затопляло водой пополам с экскрементами. Идолы из тяжелого дерева плавать не умели и терпеливо дожидались конца очередного потопа. Оттуда, отмытые от экскрементов, они попадали на выставки – правда в самые темные углы, куда их запихивала ошеломленная моим нахальством выставочная комиссия. Славы автор так и не дождался и, получив новую мастерскую, приступил к созданью галереи вождей, о чем и рассказано было в предыдущем повествовании.

Перескочив гигантским прыжком через несколько десятилетий, можно увидеть растерявшегося автора всего вышеупомянутого, думающего – чем бы ему еще заняться.

Идолы, вожди, брошки – все в прошлом. В настоящем – маленькая мастерская в старинном доме художников и очередной гигантский подвал, естественно периодически заполняемый водой с экскрементами, как ему и полагается.

Привычные ко всему идолы давно не обращали внимания на эти мелочи. Побывав на последней выставке и заполнив собой целый зал самого престижного ристалища столицы, они потеряли интерес ко всему происходящему в этом мире.

Однако очередная подруга не заставила себя долго ждать. Обликом, повадкой и размерами она невероятно походила на мышь, каковой видимо и являлась. Подвал наполнился шуршаньем, жеваными бумажками, мелкими экскрементами, но уже не пополам с водой, а абсолютно сухими. С водой, хаосом, хмельными друзьями было покончено раз и навсегда. Экскременты являлись произведениями так называемого «концептуального искусства».

3.

Озадаченный автор идолов, вождей и брошек долго не мог понять – что к чему, но, разобравшись, дико обрадовался. Цель жизни была очередной раз найдена. Любой бумажке, какашке, же-

лезке, обретенной на помойке, можно было придать любое значение, обосновав его философски, опять же на бумажке, приклеенной к стенке и заполненной каракулями собственных измышлений. Так начался мой путь в современном искусстве и литературе. А также галерейной деятельности, о чем будет рассказано ниже.

Да, именно галерейной, потому что с течением времени подвал – теперь он стал называться андеграунд – периодически начал посещаться такими же сумасшедшими, как мы с мышью или даже еще более безумными. Они устраивали там с нашей помощью выставки – одна другой чудовищнее. Старые бутылки, исковерканные железяки и, опять-таки, жеванные бумажки заполняли прихотливое пространство, где арки, ступенчатые лазы – все было сварганено нашими собственными руками и руками добровольных помощников.

Я занимался самыми актуальными проблемами – например, борьбой с пирамидами как средоточием мирового зла, изменением формы земного шара и т. д. ... В психушку по этому поводу никто не обращался, ибо все подобное считалось в порядке вещей. Даже стали приглашать на международные конгрессы в центрах мировой культуры. Например – в Удмуртии.

В одной своей книге – да, книге, ибо я стал профессиональным литератором, даже членом какого-то странного союза, я написал, что степные удмурты проворней лесных, а лесные зато умудренной и глубже. Удмурты растерянно согласились и позвали на конгресс. Долго катали на пароходе по разным рекам всякую профессуру – нашу и заграничную. А также студентов, приобщая их с моей помощью к современному искусству. Естественно все дружно меняли форму земного шара, стараясь сделать его как можно круглей. Это удалось не сразу, но зато он стал таким круглым, что я с него в конце концов скатился. Мой сын сказал, что папа скатился не с шара, а с катушек.

На этой оптимистической ноте повествование можно было бы считать законченным, но неугомонный папа ничтоже сумняшеся решил опять заняться искусством. Причем в самых разнообразных формах. Например, рисованьем, чего никогда прежде не делал, начиная с художественно-школьных и художественно-институтских времен, поглотивших целых тринадцать лет детской жизни.

4.

Карандаша и бумаги научили меня там бояться как огня, поэтому рисовать я стал чем-то грязно-черным раз и навсегда. Иллюстрировал свои собственные книжки. Делать это было легко, так как любая тема там исчерпывалась двумя строчками. Видно, мысли стали коротенькими, как у Буратино. В качестве примера можно привести вышеупомянутое сообщение об удмуртах. Какой-то безумный кукольный журнал решил показать строчки и рисунки во всей красе и пожертвовал им чуть ли не половину своей немалой площади. Правда, никак не мог выйти в свет, ибо так называемый грант, т. е., попросту говоря, деньги, на журнал отпущенные, все куда-то девались. Грант вообще обладает таким свойством. Приходит ниоткуда и уходит в никуда. Мы это ощутили на себе, получив из-за границы не один такой на нашу галерейную деятельность. А ведь надо объяснить тем, кто его дает – где же он. В настоящее время мышь шуршит только одной бумажкой, в которой и должно быть объяснение необъяснимому (т. е. процессу исчезновения гранта). Бумажка, изгрызенная со всех сторон, стала напоминать плоскостную проекцию сухой корки сыра.

Автор тем временем вдали от шума городского, т. е., попросту говоря, в деревенской избе на берегу большого озера, избе, продуваемой осенними ветрами, вернулся к скульптуре. Идолы, окончательно спятив, обрели вид гнилых досок. Доски сменялись кусками проволоки, изогнутой чем и как попало. Все вместе называлось «Мемориал крокодилу». Старым гвоздям также отдавалось должное. Не были забыты и камушки, и кусочки оплавленного металла.

Впечатление все это производило настолько грандиозное, что мышь привезла известного фотографа из столицы, и тот запечатлевал все вместе и по отдельности. Автор тем временем (вернее – этим, хотя, нет, наверное все-таки тем, ибо «это» тут же становится «тем» благодаря фактору времени) опять набросился на литературу, изменив излюбленным своим двустрочиям, результатом чего и явилось все вышеизложенное.

Скакнув опять слегка назад, ибо таково свойство памяти – скакать, как козел или коза туда-сюда, припоминается еще один эпизод, характеризующий автора как подававшего когда-то и вполне благополучные надежды. Один из друзей-богатырей решил как-то, что можно бы протащить в богатыри и меня, о чем и доложил на Высшем Совете. Выставок, дескать, вагон – где только они не стояли мои чучела! Вождей целая рота – один другого краше – хоть к царю Петру в гренадеры! Сам весь из себя с фамильным древом художническим – что полуеврей и полудворянин – так наплевать – все такие, кто не попрятался. Так что – пуркуа бы и не па?

Реакция оказалась не совсем адекватной. Гладкий Совет сразу стал хвойный, лицо вытянулось как у груши: «Нет-с! Ни-ко-гда-с! Он неуправляем-с! И – вообще...» Это самое «вообще», видимо, и решило дело не в мою пользу.

5.

В богатыри я не попал, и решать творческие судьбы других бедолаг мне так и не привелось. «Видимо, придется тебе всегда сидеть по ту сторону дверей», – вздохнул друг-богатырь, сидящий в тот момент по ту сторону распиваемой нами с горя бутылки. «А чего – тоже ничего, и богатырствовать не надо, да и какой из меня Муромец! Васнецов бы тут же удавился». – «Да, тема не для Васнецова, а скорее для Кукрыниксов» (были тогда такие карикатуристы), – окончательно решил друг-богатырь. Мы допили бутылку, и я оказался по ту сторону его дверей. Да и пора уж было.

PS. А вы не заметили, что шар, на котором мы находимся, становится все круглей и круглей? Это – нашими стараньями, красиво, но все трудней и трудней на нем удержаться. Приходится балансировать. Но, даже если удержишься, жить на нем мешают пирамиды – средоточие мирового зла.

ДИКАРИХА

У меня есть дом в деревне. Он стоит на берегу большого озера, которое называется Плещеево. Раньше оно называлось Клещеево, на берегу, на холме, стоял древний город Клещин, откуда и пошло название озера.

Это рассказал мне мой друг археолог и писатель Андрей Никитин, исходивший и ископавший здесь все вдоль и поперек. А деревня моя называлась Кривушкино, потому что там жили кривичи. Потом буква куда-то девалась вместе с кривичами, и деревня стала Криушкиным, да так им и осталась. Куда-то эти буквы деваются, меняют свои личины, и слова становятся дикими и непонятными, как люди.

Мой дом стоит высоко над озером, которое хорошо оттуда видно. К озеру ведет овраг Дикариха – объяснять название не нужно. Никитин раскопал там поселение каменного века.

«Что ты все копаешь и копаешь?» – спрашиваю как-то.

«Есть такое русское слово «хоца» – вот и копаю».

«Докопаешься – помяни мое слово!»

Как он помянул – не знаю, но копать скоро перестал.

6.

Приехал Женя Велихов, академик. Выпили мы с ним бутылку на берегу Плещеева и решили поставить на месте древнего поселения памятный столб. Я – просто так, а он – удивлять американцев. Приколотил я надпись на столбе – верхний неолит и т. д..

Американцы приехали, но не удивились, а стали вокруг столба плясать, как дикари. А может, по-русски читать не умели.

Столб постоял-постоял, а потом его мужики спилили на хозяйственные нужды.

Хороший был столб. Гладкий. А доску с надписью я забрал и тоже пустил на хозяйственные нужды. Но она где-то у меня прибита, так что стоянка древнего человека теперь не в Дикарихе, а у нас наверху.

А еще недалеко от моей деревни, рядом с бывшим городом Клещиным, есть овраг, который называется «Долина смерти». Почему овраг называется долиной непонятно, но он имеет свою биографию. По краям оврага на двух холмах Александр Невский расположил свои отряды и полностью уничтожил сунувшихся в овраг татар. Это было, видимо, какое-то передовое войско. Князь уже знал – что такое татары и, испугавшись своего подвига, помчался в орду оправдываться – дескать, те сами виноваты, не предупредили, а то мы бы быстренько сдались и собрали дань. Татары поверили, женили Невского на своей узкоглазой княжне и отпустили с миром. Невский приехал, еще раз женился, переняв удобный татарский обычай жениться все время, и продолжал спокойно княжить. Никитин, ископав весь овраг, нашел великое множество костей, но татарских или русских – это осталось загадкой, которую не смог разгадать даже такой замечательный археолог. А причиндалы – одежда и пр., видимо, все сгнили.

Есть церковь в городе Переславле, который еще существует, несмотря на свою древность, церковь, в которой Невский венчался с очередной княжной. Очень красивая. X-го века. Перед церковью – бюст Невского. XX-го века. Очень плохой. Его сделал скульптор, который соорудил памятник Долгорукому в Москве. Скульптор лепить не умел, так как был керамистом и лепил горшки, но Сталину понравилась чернильница, которую тот сделал в подарок заграничному президенту, и Сталин велел ему сделать Долгорукого. Вождю осторожно доложили, что тот не умеет. Вождь сказал: «Товарищи есть. Они помогут».

Невского лепить уже не помогали, или товарищи раздружились с автором. Результат можно наблюдать перед церковью X-го века, где венчался Александр Невский. Увидев себя, он, конечно, казнил бы скульптора, несмотря на свою доброту и широту взглядов.

7.

На берегу озера есть еще одна скульптура, которую сделал мой друг скульптор Саша Казачок, один из трех богатырей, как раз, который заведовал всеми мыслями – кому о чем и как думать, т. е. был у нас секретарем партии. Петр здесь плавал по озеру на ботике, который умел ходить против ветра, очень радовался и строил там маленький полуигрушечный флот. Кончилось это совсем не игрушками. Царь разбил моих соотечественников – шведов при Гангуте и, что еще печальнее, это было сделано с помощью моего предка, корабельного мастера Карла Иогансена, который строил ему халтурные корабли из сырого леса. Но об этом я уже писал. Казачковский Петр театральным жестом протянул руку к озеру, и под этой рукой очень хорошо пьется переславская водка. Чувствуешь себя полностью защищенным. На открытии памятника я так напился, что решил опять строить на озере флот. Еле отговорили. Однако решение не пропало даром. Я купил байдарку и плаваю взад-вперед по озеру, изображая собой целый петровский флот и вспоминая своего предка Карла Иогансена.

А еще есть на берегу озера Синий Камень – место поклоненья древним языческим богам. В дохристианские времена к нему приходили женщины и лизали Камень, чтобы забеременеть. У некоторых получалось. Но может быть, они не только лизали – а делали что-нибудь еще, например – молились. Камень жив до сих пор, живее всех живых и периодически уползает в озеро. Или озеро наползает – не поймешь. Или камню надоедает бесконечное лизанье его туристами, которые никак, видимо, не могут забеременеть обычным способом.

Одна моя подруга пришла к камню и вместо того, чтобы лизать, села на него и стала курить, не слушая увещеваний. У нее появился ребеночек, но скоро умер. Вот так. Не будем о грустном.

Другая моя подруга, профессиональная ведьма, очень любит ходить к Синему Камню, когда бывает у меня и подолгу сидит возле него, думая о чем-то своем, ведьмачьем. Раньше она была художницей, расписывала шкатулочки и амулетики языческими каракулями, колдовала над ними, а потом совсем свихнулась и стала ведьмой. А может, была ей всегда, только потихоньку.

Эта подруга считает меня учителем, гуру или чем-то там еще вроде этого, но недавно за что-то рассердилась, и у меня отнялось полголовы. Так что пишу все это, думая другой половинкой. Прав-

да, ведьма, раскаявшись, целое лето приезжает и лечит больную половинку, но видимо лечить дается всегда труднее, чем портить. Надо бы сжечь было колдунью, но жалко, все-таки – своя.

8.

Кроме того, очень красиво, когда она купается в озере голая при лунном освещении, временами заметен даже хвост, почему-то раздвоенный на конце. При солнечном она иногда, правда, тоже так купается, не обращая внимания ни на кого, и я всегда жду экстремальных ситуаций. Но ведьма есть ведьма, и их не бывает.

А еще есть вблизи озера источник Св. Варвары – тоже место поклонения языческим богам, вернее богиням. Туда приходили, омывались, пили заколдованную воду и развешивали вокруг на кустах тряпочки, которыми были раньше повязаны их больные места.

Христианская религия покончила с этим языческим мракобесием, источник стал святоварвариным, но тряпочками было увешано все вокруг, как прежде. Видимо, продолжали болеть.

Советская власть покончила с христианским мракобесием, источник периодически засыпали, но он был живучим, выбивался снова и снова. Тряпочки висели как прежде, ибо болеть продолжали, а в том числе и жены ответственных работников. Когда жена самого ответственного там излечилась, источник заключили в трубу и узаконили. Христианская религия не сдалась, покончила с советским мракобесием, воздвигла там часовню, купальню, туристы пошли толпами с ведрами, канистрами, бутылками и другой тарой. У источника очередь – на излечение, а вокруг – тряпочки, тряпочки, тряпочки – видимо, продолжает кто-то болеть, и очень даже многие.

Мой дом в деревне посещают также жена-черепаха и подруга-мышь. Черепаха приезжает ранней весной, медленно ползает по участку и сажает, сажает, сажает... Все что она сажает – будь то цветы, овощи, гвозди – что угодно – начинает бешено расти. У меня тоже бешено растет, если я сажаю, но совсем не то. Растут лопухи размером с танцплощадку, саблезубые травы, а уж о гвоздях и говорить не приходится. Так что я в основном слежу за собой, чтобы что-нибудь случайно не посадить. Черепаха поползает, поползает и уползает заграницу – ее там любят и ждут. Где она проползает, начинает бить фонтанами нефть – даже в Иране, где уже от фонтанов этих ни клочка земли не осталось. Кроме того, она предсказывает землетрясения, это не трудно, потому что они – все время.

9.

Потом приезжает подруга-мышь и, если в лесу не растут грибы, начинает что-нибудь бешено рыть или строить. Кругом все шуршит, падают гвозди, летают обычно не летающие предметы, и падает все, что должно летать по определенью. Все это дает фантастические результаты, интерьер дома становится похож на подземный дворец или станцию метрополитена периода лучших сталинских времен с подпорками, крепями и клетями, как в стахановской шахте.

Грибной сезон перекрывает всю эту деятельность одним махом, окрестные леса опустошаются мышью, остальные грибники могут ехать со своими жалкими корзинками и способностями куда-нибудь подальше в тмутаракань. Ночами добыча сортируется, тушится, маринуется, результатами можно кормить стада слоно-мышей всю зиму и еще останется. Впрочем, важен исключительно процесс. Затем мышь спит. Срок спячки – от 36-ти до 48-ми часов.

Проснувшись, начинает беспокоиться, что в московском андеграунде что-то не дорыто и быстро уезжает, увозя запасы полузамороженных грибов и воспоминаний.

Но обычно я в своем доме один, без жен, подруг и любых представлений о реальной действительности, которые они увозят с собой. Дом остается в распоряжении неведомых существ, обычно невидимых, издающих различные звуки, иногда с такой силой и частотой, с какой я издаю свои книжки, возвращаясь к цивилизованной жизни. Звуки летят сверху с чердака, снизу из подполья, сбоку из-за печки, а иногда вместе с ними летит все что ни есть на земле и под землей – камушки, щепки, черепки и какие-то непонятные образованья из земли, чьего-то кала и просто сгустившейся ауры. Главное – не допытываться – кто там и что. Методом исключенья я сразу исключил котов, птиц, мышей, крыс, насекомых, ежиков, удавов, колибри, енотов и птеродактилей.

Это не значит, что многие из них не заявляют также о своем присутствии всеми доступными способами. Но только это не единственное население дома.

Бывшая хозяйка повесилась на крыльце, что несколько удешевило его (т. е. дом) при покупке в переговорах и торге с дочерью-наследницей. Дочь, торговавшая в деревенском магазине, торговалась и здесь, но отступила, сраженная неоспоримыми доводами о будущей мистической населенности покупаемого у нее пространства.

10.

К сожалению доводы оказались слишком весомыми не только тогда, но и потом.

Бывшая хозяйка, вся в белом, периодически продолжала висеть на крыльце, колыхаясь, и ходить сквозь нее в дом было морально затруднительно. Прибывший батюшка отчаянно махал на нее кадилом и бросал церковной утварью, она долго не сдавалась и устраивала партизанские вылазки, отстаивая свою исконную территорию.

В конце концов поле сраженья осталось за нами и значительно более мелкими невидимыми тварями, о которых и было упомянуто выше.

Это – камешек, который упал на меня с потолка в конце написания предыдущей фразы. Потолок крепкий, без щелей и не каменный, а деревянный, так что судите сами. Камешек изображен в натуральный размер способом обведенья его по контуру. Вопль, раздающийся в этот момент из подполья, и кряхтенье с чердака я, к сожалению, обвести не могу.

Ежели произвести теперь опять козлиный прыжок памяти, можно рассказать, как лепился мой последний памятник вождю, и не только мой, но и вообще последний, ибо мода на вождей не то чтобы прошла, но их уже крушили, курочили, взрывали, переплавляли, оскверняли, глумились над ними, как и водилось всегда на Руси со времен сверженья Перуна и Даждь бога. Правда, те были исключительно деревянные и хорошо горели или плавали, будучи сброшенными в какой-нибудь Днипро.

Кстати о Днипро – именно в ту сторону и предназначался последний истукан, заказ на который за небольшую мзду устроил украинский шурин. В Шостке, откуда он родом, вождя почему-то еще любили и хотели поставить назло и хохлам и кацапам. Друг-богатырь, который когда-то ведал всей работой, посоветовал взять в помощь друга-богатыря, который ведал когда-то всеми мыслями. Поскольку мыслей ни у кого уже не было, тот оказался не у дел. Истукана лепил с удовольствием. Тот получился с дьявольской улыбкой на устах и кепкой в кулаке, похожей на булыжник – орудие пролетариата.

Вожди всегда делились на «шлагбаум», т. е. – с поднятой рукой, «полушлагбаум» – с согнутой в локте и – «руки по швам», имеющий краткое фаллическое наименованье.

Наш последний относился именно к этой категории. Кроме того, имел огромный запас прочности, видимо, и моральной, потому что стоит в Шостке до сих пор перед заводом кинопленки, на которую теперь ни один приличный фильм не снимается. Неприличный – тем более. Истукану это все равно, хотя его прототип считал кино важнейшим из искусств.

11.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Здесь, т. е. в деревенском нашем доме, т. е. вылезши из него, хорошо темной осенней ночью глядеть на звезды и рассуждать о возрасте вселенной – предмет более чем актуальный на сегодняшний день, который является темной осенней ночью. Звезда с звездою не говорит. Вернее, они не слышат друг друга и страшно далеки они от народа, что безмерно радует. Но поговорить с ними можно.

О возрасте вселенной у каждой свое особое мнение, только, когда они перебивают друг друга и стараются перекричать, лучше уйти в избу и рассуждать о возрасте вселенной с кипящим чайником.

Александр ЛОМТЕВ

Рассказы

Там, где ничего не случилось

Что-то в последние годы Семену Ивановичу все чаще стал сниться Нуркус – небольшой пыльный, залитый солнцем городок, затерянный в песках между двух пустынь. И отчего-то не в летнюю душную жару, что казалось бы более естественным делом, а зимой, в самые холода. Снился так, что просыпаясь по утрам, Семен Иванович не сразу ощущал свои пятьдесят пять и в первые секунды после пробуждения ожидал увидеть в окне не обросшие искристым инеем ветки сирени с праздничными снегирями, а чахлую сетку саксаульника с юркими сизоворонками. Туда, в тот среднеазиатский городок Семен Иванович попал в самые густые советские времена. В те годы словосочетание «социалистические страны» еще не звучало в устах бровавого Леонида Ильича как «сосиски сраны», но слово «систематически» уже понемногу становилось похоже на «сиськи-масиськи». В городке имелось все, чему положено было быть в советском населенном пункте – больница, дом культуры, книжный магазин, пара школ и, естественно, гостиница. Одноэтажная серая, окруженная чахлой акацией и скрученным ветром и солнцем саксаулом она стояла в пыли пригорода, и из окон ее целый месяц каждый вечер Сеня наблюдал зарево пустынного заката.

День проходил в полуобмороке командировочных дел и хлопот, в беготне по невыносимой жаре в рубашке, пропитанной потом, и еще больше отсыревающей после каждой из бесконечной череды пиал зеленого огненного чая. Семен Иванович теперь уже смутно помнил, что делал тогда в том пыльном городке, по каким организациям мотался и с кем встречался. Потому что приходил в себя лишь в часы, когда жара спадала, солнце уходило за редкую гребенку тополей на дальних бахчах, и можно было сесть на скамеечку у фасада гостиницы и расслабиться, ловя горячей кожей первую вечернюю прохладу.

Тут-то они и появлялись. Сначала старшая – Гуля, туркменская девушка лет двадцати пяти. Взлохмаченная, с помятым лицом и кругами под глазами, в заношенном халате она шла в общий душ, долго там плескалась, сначала молча, а потом, постепенно приходя в себя, запевала что-то по-туркменски. Она возвращалась в комнату, и через пару минут там начинался скандал: старшая поднимала младшую с постели. Все начиналось с едва слышного ворчания, а заканчивалось пронзительными воплями, после чего из комнаты выскакивала младшая – Лариска – и пулей летела в душ. В душе она орала, продолжая заочно скандалить с Гулей, потом умолкала и долго плескалась и отфыркивалась. Из душа шла медленно, полуприкрыв глаза, с тюрбаном из полотенца на голове. И была она очень красивой. Длинные ноги с тонкими щиколотками, тонкие руки с точеными запястьями, узкие бедра, прямая спина, длинные ресницы – что еще? Походка... Взгляд... Наполовину русская, наполовину немка... Немцев много было в те времена и в Казахстане и в Средней Азии. Теперь уж наверняка нет. Да и русских-то, пожалуй, осталось совсем немного... Половина постояльцев гостиницы выбиралась в этот момент из своих душных нор, чтобы «случайно» встретиться с Лариской. И она плыла королевой. А была по сути дела проституткой, как и ее старшая «сестрица» Гуля. Но это Семен Иванович понимает сейчас, спустя многие годы, а тогда эта парочка производила на него, правоверного комсомольца, неизгладимое ощущение чего-то

Александр ЛОМТЕВ родился в 1956 году в с. Суворово (бывшее с. Пузо) Нижегородской области. Живет в г. Саров. Учредитель и главный редактор газет «Саров» и «Саровская пустынь». Член Союзов писателей и журналистов России. Председатель Клуба главных редакторов региональных СМИ России (Москва). Автор книг прозы «Путешествие с ангелом», «Ундервуд», стихотворного сборника «Вторая любовь». Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», финалист Бунинской премии 2008 года в номинации «Открытие года»; публиковался в журналах «Роман-журнал XXI век», «Дальний Восток», «Север», «Сибирские огни» и др.

несоветского, преступно-порочного, но отчего-то не вызывающего откровенного неприятия, а даже, пожалуй, тайно притягивающего.

Во дворе гостиницы стоял большой круглый стол, обставленный удобными скамейками. К этому столу парочка и выходила на вечерний чай. Гуля хлюпала из пиалушки, заталкивала в рот приторные восточные сласти и с набитым ртом заговаривала с каждым, кто проходил мимо или присаживался за стол. Лариска раскрывала книжку и с надменным видом скользила взглядом по страницам, лишь изредка поднося пиалу к красным сочным губам.

Едва жара окончательно спадала, они уходили в свою комнату и появлялись из нее роскошными дамами. Ясно, что одежда на них была, как бы сейчас сказали, «от фарцы». Если учесть, что фарцовщики торговали своим контрабандным товаром по ценам совсем не советским, деньги у Гули и Лариски водились немалые... Иногда они уходили пешком, чаще за ними заезжали на машине черноголовые, почти всегда усатые, мужчины.

Старый вахтер-туркмен качал им вслед головой и вздыхал:

– Какой хороший девушка, и так зря пропадает!

Солнце тонуло в мареве раскаленной пустыни, над дальней бахчей завивался дымок вечернего костра, ишак начинал печально кричать где-то среди окраинных глинобитных домишек. Сеня сидел на скамейке, вдыхал густо настоянный пряный нерусский воздух, наблюдал нервный полет первых летучих мышей в густеющем синевой небе и пытался представить себе, где и с кем сейчас Гуля и Лариска...

Дядя Коля, старший напарник по командировочным делам, заметив, как Сеня смотрит на Лариску, сказал как бы мимоходом:

– И не думай парень, эта бабочка быстро сгорит. Вокруг огня вьется, ты не из ее жизни...

Дядя Коля был человек бывалый, жизнью тертый. Говорил мало, но по делу. Он, конечно, был прав. Только беспокоиться ему было ни к чему. Сеня и сам ни за что не подошел бы к Лариске, не смог бы заговорить с ней. Возраста они были примерно одного, но Сеня чувствовал себя в сравнении с ней лопоухим щенком. Понимал, что знает она о жизни нечто такое, что ему русскому мальчику из простой полурабочей-полудеревенской семьи, может быть, никогда и не узнать...

Вечера на пятачке перед гостиницей тянулись долго и, порой, интересно. Народ в Нуркус приезжал со всего Союза, люди разные, как правило, тертые, было, что послушать в неторопливых посиделках за бутылкой водки, в клубах сигаретного дыма, сизыми разводами плавающего в безветрии. Над столом горела одинокая лампа, вокруг которой вился хоровод огромных ночниц, сшибаемых иногда серой молнией летучей мыши, порой на край стола вскарабкивался вдруг большой богомол и застывал в своей монашеской позе, словно прислушиваясь к человеческим речам. Богомол был своим, его не трогали. Как все это было не похоже на вечера в России, в городе ли, в деревне у деда... И в то же время чем-то неуловимым похоже. Так хорошо думалось, что люди везде одинаковые, а живут хоть и по-разному, но если приглядеться...

Время от времени к гостинице приходил молодой узбек с ненастоящим именем Володя. Блестел крупными белыми зубами, шутил, предлагал всем «товар». Товар – самокрутные сигаретки с «травкой». По советской комсомольско-непорочной девственности, Сеня поначалу думал, что с самосадным табачком. Но дядя Коля разъяснил: с «травкой» – то есть с наркотиком. Верилось в это с трудом, наркотики, это что-то «тамошнее», из «загнивающего Запада», но у нас, в СССР?! Нет, конечно, некие темные стороны жизни были известны Сене, но все они как-то незаметно вписывались в советское плакатное полотно бытия. Фарца, приблатненный сумеречный мир рабочих пригородов и поселков, неприятные и малопонятные диссиденты, ночное чтение «Ивана Денисовича», нищие незаметные бабушки, собирающие бутылки за утренними алкашами в городском парке... Сейчас об этих темных сторонах советской действительности можно вспоминать почти с умилением...

– Ты меня не бойся, – подсаживался к Сене смуглый Володя. – Тут, конечно, мы все басмачи. Но пока вы нам завод строите, вас никто пальцем не тронет. Если что – только скажи, что Володька-Черный твой друг. И все!

Ночью Сеня засыпал под неумолчный стрекот цикад и подвывание шакалов с окраины. Иногда сквозь сон слышал, как к гостинице подъезжала машина, и через минуту раздавалось ворчание вахтера и пьяные смешки Гули и Лариски.

В тот субботний день подруги никуда не пошли. Утром, как обычно, вышли во двор на чай, посидели-поболтали с кем придется, а потом делали что-то в своем номере, видно ждали гостей.

Дядя Коля ушел на базар, а Сеня распахнул окно и дверь, чтобы хлипкий сквозняк хоть чуть-чуть развеял полдневную духоту. В открытую дверь и впорхнула маявшаяся без дела Гуля.

Она плюхнулась на стол у окна и принялась обмахиваться сухой рыжей лепешкой, словно веером. Она смотрела на Сеню так пристально и насмешливо, что тому сделалось не по себе.

– Один скучаешь? А дядя Коля где?

– На базар ушел...

– И что ты все с этим старым пердуном сидишь, купил бы бутылочку, завалился бы к нам. Лариска на тебя глаз положила... Хочешь Лариску? Знаю, что хочешь. Но не получишь. Ты таких денег никогда не заработаешь, трудяга. Лариска девочка дорогая. Чего молчишь-то?

Она бесстыже раздвинула ноги, халат разошелся и... Спас положение дядя Коля, вошедший в комнату. Гуля быстро оправила халат, вскочила со стула и шмыгнула за дверь.

– Чего этой шалаве надо было?

– Соли попросила.

Остаток дня Сеня валялся на продавленной кровати, рассматривал на потолке ему только видимые письмена судьбы и в полудреме мечтал. Вот он наберется решимости, пойдет к Лариске и объяснит ей как неправильно она живет, расскажет ей про свой родной городок и позовет с собой. Прошлое ее он, конечно, забудет, будет любить и беречь ее... Она поймет, она умная и добрая. Это же сразу видно, просто так уж сложилась судьба, но с судьбой можно бороться...

Сеня и сам чувствовал, что все это явно отдавало достоевщиной, что никуда он не пойдет и сказать ничего не сможет. Но грезы были так сладки...

Вечером к девушкам пришли гости – все те же крупные черноволосые усатые мужчины. Сначала из комнаты «сестричек» доносились музыка, громкий смех и все, чему положено доноситься из помещения. Где вовсю кутят. Потом там случилась ссора, которая разрослась и выкатилась дракой в гостиничный коридор.

Драка получилась серьезной. С ножами, бутылочными горлышками в острых зазубринах.

Дядя Коля улегшийся было спать, чертыхаясь натянул «треники» и пошел в коридор.

– Сиди тут, – рявкнул на Сеню дядя Коля, когда тот рванулся было за ним. Слышно было, что на шум потянулся и народ из других номеров.

Когда шум в коридоре стих, дядя Коля вернулся раскрасневшийся и злой и на все вопросы ответил коротко:

– Хахали Лариску не поделили. Гулю стулом ударили, стекло выбили в окне...

Он тут же лёг и погасил ночник. Но Сеня чувствовал, что уснуть дядя Коля не может, да и сам он ворочался до утра, прислушиваясь к едва доносящимся звукам из номера девушек – всхлипы не всхлипы, плачь не плач...

Утром обычного ругательства между Лариской и Гулей не было. Лариска шла по коридору в душ. Шла, держась за стенку. На длинных ногах ее Сеня с замиранием в груди увидел потеки присохшей крови. Мутноватыми в припухших веках глазами она посмотрела на паренька, словно хотела сказать что-нибудь вроде «Чего вылупился?», но не сказала. Рыдала за стеной Гуля.

Днем приходил участковый, долго, громко и сердито бранился за стенкой. Вахтер испуганно сидел за своим столом. И когда дядя Коля с Сеней проходили мимо, старик отчего-то сказал:

– Это не я милиция вызывал, это комендант вызывал милиция...

На следующий день Гуля с Лариской из гостиницы съехали. Их комната осталась незапертой, и Сеня вошел в открытую дверь. Пахнуло духами, на постели валялись чулки, на столе какая-то женская мелочь, на подоконнике банка из-под кильки, набитая окурками. Рядом лежал перевернутый обложкой вверх томик. Сеня взял книгу в руки. Хемингуэй. «У нас в Мичигане». Надо же...

Через несколько дней уезжали и они. На вокзале дядя Коля купил дыню. Они сидели в ожидании поезда, ели узкие, как месяц ломти ароматной розоватой туркменской дыни, слушали вполуха чужой говор, солнце пекло их русые непокрытые головы, и Сеня уже догадываясь, что больше никогда в жизни не увидит всего этого, впитывал и запоминал каждую мелочь. И все время где-то на заднем плане его сознания занозой торчала Лариска. И он уже понимал, что всю жизнь будет жалеть, что не пошел тогда к Лариске, не позвал ее. Даже зная, что это было совершенно бесполезно...

Странно, в пустынном поселке Нуркусе не произошло тогда ничего особенного, не случилось ничего из ряда вон. Кусок обыденной, если не считать среднеазиатского антуража, советской жизни. Но что-то стронулось в душе, что-то стало иным в этом мире. Что это – Сеня не знал, и никак не мог понять... Впереди было много чего – закат Леонида Ильича, несбывшаяся надежда на андроповский порядок, короткая эпоха говорливого Горбачева когда казалось, что вот-вот наступит хорошая справедливая жизнь, и Ельцин на танке, и криминальная война, и наркотический шквал, и отпадение Средней Азии... Жизнь шла своим чередом, плохого и хорошего в ней было, пожалуй, примерно поровну. По большому счету, можно было даже сказать, что в целом и общем – жизнь удалась.

Отчего же давние те дни, те вечера все чаще и чаще снятся ему под скрип замерзших ветвей сирени за черным окном, под свист январских метелей и треск мороза, вызывая в душе тягучее чувство ностальгии не известно по кому и непонятно по чему...

Фугас

Хорошо, что я этого не видел. Я приехал к софринцам через пару дней после того взрыва. И мне показали лишь останки перекореженного БТРа, завалившегося в огромную воронку посреди улицы. Брюхо БТРа было разворочено, словно его проткнули снизу большим толстым гарпуном. Посиневшая от жара броня лепестками смотрела прямо в небо, поскольку верха у машины попросту не было.

Капитан, рассказывавший мне, что он увидел через полчаса после взрыва, смотрел в сторону.

– Фильмы ужасов – тьфу! Когда на броне полчеловека, еще живого... А кожа на черепе вся свезена так, что глаз на месте щеки, а носа нет... И пузыри изо рта... Красные...

Капитан курил и смотрел в сторону глазами раненой собаки.

Глаза раненой собаки я вспомнил на этой окраине Грозного.

У моего приятеля Валерки не было отца. Но был отчим. Отчим моего друга детства Валерки был веселым заводным дядькой. Учил нас стрелять из старенькой двуствольной «тулки», возил на охоту. Страшно ругался матом, но любимая приговорка у него была вполне безобидной, удивляясь или сердясь, Валеркин отчим говорил с оттяжкой на согласных – «у, ккозза ммать!»

Мы ехали ночью по асфальтовому шоссе на мотоцикле «Иж» с коляской, орали что-то друг другу, стараясь перекричать треск мотора и свист ветра. Был июнь, пахло травой и близкой речкой. На повороте отчим затормозил так резко, что я чуть не разбил себе зубы о край коляски.

В свете фары мы увидели посреди дороги лежащего на боку пса. Это был большой, красивый гончак. Крупная породистая голова, хорошие уши, четкий окрас, крепкие лапы... Но брюхо гончака было распорото от грудины до самого низа живота. Внутренности вывалились на асфальт и еще дымились на ночной прохладе. Ослепленный светом фары, пес не видел нас, но, конечно, чувствовал. Он еще выше поднял голову и слабо шевельнул хвостом. Отчим заглушил двигатель,

вытащил из коляски жестянку, которую возил для червей на рыбалку, вытряхнул из нее сор. Потом достал мятую фляжку с водой, и, поставив перед псом жестянку, налил в нее воду. Пес принялся жадно лакать, разбрызгивая прозрачные капли, от которых серый асфальт тут же потемнел. Мы с Валеркой, словно завороженные, смотрели, как отчим вынул из ремонтной сумки молоток и зашел за спину гончаку.

Гончак перестал лакать воду, оглянулся на отчима, а потом посмотрел на нас. Он понимал, что погибает, но непонятная не ведомо на что опирающаяся надежда плавала в оливковых глазах собаки. И эта бесполезная надежда больше всего и царапала душу, дергала непонятный нерв, вызывавший внутренний стон сочувствия. Отчим наклонился и резким точным движением ударил гончака по затылку. Пес мгновенно уронил голову в жестянку. Отчим аккуратно взял труп за ошейник и основание хвоста и перетащил на обочину. Потом ногой пнул туда и жестянку. Бросив в коляску фляжку, завел мотоцикл, и мы поехали дальше.

Уже глубокой ночью, лежа с нами на сеновале, совсем пьяный отчим повторял нам в кромешной темноте:

– Он сейчас в раю. У зверей есть свой рай. Не такой, конечно, как у нас. Свой звериный. Но рай. И он сейчас в раю, ккозза мать!..

Вечером мы с капитаном выпили в его кубрике при казарме водки. Потом капитан ушел, и оставил меня вдвоем с солдатиком, выполнявшим при нем что-то вроде обязанностей ординарца.

Солдатик кормил меня ужином, заваривал крепкий чай и развлекал беседой.

– Товарищ журналист, а вы верующий?

– У меня преподаватель на журфаке был. Он говорил: «Журналист – человек развращенный фактом. Ему трудно просто поверить. Ему нужны доказательства».

– Понятно... Значит ни во что не верите?

– Почему же, в некоторые вещи верить обязательно надо, иначе жить не стоит.

– Например.

– Например – хороших людей всегда больше. Даже когда их меньше.

– Это как у Булгакова? Добрые люди?

– А ты читал?

– Читал, а что ж... Я много читаю.

– Ну, вот. Все люди изначально хорошие. Обстоятельства и слабость портят их.

– Не-ет, товарищ корреспондент. Люди от природы злые. Вся жизнь показывает: злые. Он, человек, может вроде быть добрым, но это только если у него ничего не отнимается. От излишества.

Вот обратите внимание – даже клыки у человека, как и у обыкновенного зверя, прорезаются раньше зубов мудрости. Сначала клыки, чтоб нападать, рвать, убивать, а только уж потом – зубы мудрости...

Вот мне на днях доктор рассказал. Случай. Ничего не придумано, доктор суровый, врать не будет. Мальчишку одного чеченского – лет тринадцать – завербовали фугасы взрывать и мины-ловушки ставить.

– Как это – фугасы взрывать?

– Ну, ночью боевики ставят у дороги фугас радиоуправляемый, а пульт мальчишке отдают. Утром идет колонна, а пацан сидит где-нибудь невдалеке, кто его заподозрит в чем. Ну, колонна дойдет до фугаса, он на кнопочку нажимает – и конец! Ну, а мина-ловушка – это совсем просто. Ему дадут пакет или вещь какую, а он ее где-то в людном месте, поближе к военному объекту, «потеряет». Нагнется неопытный солдат посмотреть, что в пакете – и готов.

Ну, вот. За работу ему, конечно платили. Долларами. Он, можно сказать, семью содержал на этот заработок, да еще откладывал. И вот, видимо, как-то ошибся ихний минер. Пацан сам подорвался. Ноги ему оторвало. Ну, его, понятно, не в официальную больницу, повезли - к своему врачу. Врач говорит, мол, чтобы операцию под нормальные протезы сделать, нужно в Грузию

пацана вывозить. Значит, деньги нужны большие – и на перевозку, ну там погранцам заплатить, водителю, связному, и за операцию, конечно... Короче достали они все накопленные за фугасы доллары, а их не берут. Оказалось, почти все – фальшивые.

В общем, доктор этого пацана в Моздок возил вместе с нашими солдатиками ранеными, ходить ему теперь всю жизнь на наших корявых советских протезах. Доктор говорит, когда узнал, кого повезет, думал «Задушу гаденыша!» А как увидел его... Глаза, говорит, такие... Молчит и смотрит, доктор говорит, словно нет вокруг никого. Сквозь все смотрит и молчит. Доктор говорит, даже страшно стало...

Не-ет, товарищ корреспондент, люди злые.

Солдатик налил мне очередную кружку чая, щедро долил в глубокую алюминиевую тарелку сгущенки. Не забыл и про себя. На толстый ломоть белого хлеба намазал погуще, и смачно жевал нехитрое солдатское лакомство.

– Почитать есть что-нибудь? – спросил я солдата.

– Да вот какую-то хрень с гуманитаркой прислали.

Я взял книжку с оторванной обложкой и открыл наугад. На странице, очевидно, в качестве эпиграфа было начертано:

«Пока свет с вами,
Веруйте в свет,
Да будете сынами света.
И.Н. 12,36»

Мой барак

– Я тебя порежу, падла!

– Руки оттяпаю, пидор!

– Кто пидор, я пидор?! Я тебя щас порежу, падла!

– Я тебя покрошу нахер!

Было три ночи. Или утра? Я сунул ноги в тапки и поплелся к двери. В длинном коридоре барака, как всегда сиротливо горела единственная лампочка, но как раз над местом действия. Скандалили Большой и Мелкий. Большой был большой, толстый, круглоголовый, в руке он держал топор. Мелкий был маленький, худой, даже тощий, в тонкой, но жилистой руке его поблескивал нож. Они стояли перед дверью в комнату Мелкого в шаге друг от друга и под ногами у них маялись тени – одна с ножом, другая с топором.

Сначала барак обескураживал меня, несмышленого городского паренька, и случись эта свара в первые дни моего барачного бытия, я, пожалуй бы, порядком трухнул. Но полгода жизни бок о бок с невообразимым «удобством» на улице, грязной до сблева кухней, с шастающими по ночам жирными – с кошку – крысами, в которых приходилось швырять заранее приготовленными кедами и сапогами, чтоб спокойно поспать, с разношерстным, по большей частью криминальным «обществом» быстро сделали из меня законченного циника. Жизнь, понял и принял я - не вздохи на скамейке.

В одной из комнат скрипнула половица – кто-то осторожно подошел к своей двери. Видно встал у косяка и прислушивается к безобразию в коридоре. В крайней комнате заплакала маленькая дочка одинокой учительницы. Пластинку заело:

– Я тебя порежу, падла!

– Руки оттяпаю, пидор!

– Кто пидор, я пидор?! Я тебя щас порежу, падла!

– Я тебя покрошу нахер!

Тень топора плавно описывала замысловатые кренделя, тень ножа нервно дергалась...

Мелкий жил в бараке после того как отбыл срок за поножовщину и изнасилование. Где работал и на что жил – никто не знал. Изредка к нему приезжала маленькая понурая седая женщина с тяжелыми сумками, на которую он почти всегда кричал. Наверное мать.

Большой отсидел за крупную растрату, жена выписала его из квартиры в соседнем городе, и он осел в бараке, не сопротивляясь судьбе, работал на подхвате в местной Заготконторе, числясь грузчиком, а на самом деле ведя бухгалтерию за бухгалтера – жену заведующего Заготконторы.

Сначала Большой был тихим, спокойным жильцом, но поселившийся в бараке Мелкий, быстро вывел его из состояния созерцательной бездеятельности и Большой стал на пару с Мелким пить и буянить. Пили они вечером, а буянили ночью. Как правило, в комнате одного их них. Но сегодня вот вывалились в коридор.

Никто не желал одергивать буянов. Да и кому? Барак собрал в основном отходы здорового советского общества – нескольких судимых, молодую мать-одиночку, учительствующую в интернате для отсталых детей, алкоголичку-пенсионерку, которая, не смотря на почтенный возраст, все еще пользовалась спросом у некоторой категории пожилых командировочных перекати-поле, появлявшихся в свободных комнатах барака, как временные жильцы. Да еще я, рукой судьбы ввергнутый в барак, поскольку редактору районной газетки, в которую меня взяли корреспондентом, некуда было больше меня ввергнуть. Да еще седой сухонький старичок – диссидент, отмаявшийся свое по лагерям и на старости лет поселенный государством туда, где ему, по мнению государства, было самое место.

Как раз в его комнате и скрипнула предательская половица. Чуть приоткрыв дверь, Диссидент быстро выглянул в коридор. В коридоре ничего не менялось. Двое и их тени качались под тусклой лампочкой:

– Я тебя порежу, падла!

– Руки оттяпаю, пидор!

– Кто пидор, я пидор?! Я тебя щас порежу, падла!

– Я тебя покрошу нахер!

Секунду Диссидент разглядывал оппонентов, на лице его отразилось «Ну вот вам, пожалуйста, что и требовалось доказать!», и он исчез за дверью.

Очень хотелось спать. Ясно было, что вся эта музыка может пролиться еще долго.

– Эй, мужики! – они оба повернулись на мой голос. – Ну, вы уж как-нибудь переходите к делу. Чикайте, тяпайте друг друга и – в койку. Утром на работу...

Они молча смотрели на меня и я уже начал опасаться, как бы им не пришла в голову мысль объединиться против противного интеллигента, влезающего ни с того ни с сего в задушевную мужскую беседу. И вдруг Мелкий переспросил:

– На работу? – и заржал.

– На работу, – повторил Большой и тоже заржал.

Никогда не знаешь, что может рассмешить люмпена. Ржа, оппоненты обнялись и скрылись в комнате. Я расставил для крыс всю обувь, что уже успел раскидать в первую половину ночи и провалился в сон.

Через четыре часа будильник вытащил меня их теплых волн Черного моря, где я вот-вот должен был найти общий язык с Прекрасной Девой Вод и уплыть словно новый Ихтиандр в Прекрасные Бирюзовые Дали. Наскоро вскипятив на электроплитке чай и заев его бутербродом с ливерной колбасой, я побежал в редакцию. А еще полчаса спустя рассекал на битом некогда зеленом, а ныне серо-буро-малиновом советском джипе марки УАЗ желтые просторы колхозных полей, чтобы на страницах серенькой районки в оптимистичных тонах рассказать дорогим читателям о свершениях окрестных колхозов на ниве обработки местной нивы. День пролетел – как не было...

Поздно вечером бравый советский джип УАЗ подвез меня к бараку. Почти все окна уютно светились оранжевым светом, на повалившемся набок крыльце маялся Большой.

– А где Мелкий? – спросил я из вежливости, чтобы не проходить молча.

– В «трюме», – грустно сообщил Большой. Без Мелкого он, как без батарейки, вновь становился тихим созерцателем. – Участковому на китель плюнул.

– Зачем?!

– А хер его знает...

Вечер выдался тихий: никто не горланил матерных песен, не скандалил, не стучал молотком, не ломился в дверь занять трешку «до получки», то есть навсегда. Были живы мои родители, где-то думали обо мне мои друзья, я верил, что Советский Союз – великая держава, что мой барак – пережиток прошлого и скоро таких бараков не будет, в том числе и благодаря моему скромному журналистскому труду. Тихо светилась настольная лампа, отражаясь в стакане с крепким чаем, шелестели о стекло листья сирени за окном, шебуршили под полом просыпающиеся крысы, передо мной стояли любимые книги, лежали чистые листы бумаги, готовые принять на себя все то гениальное, что зрело в моем несозревшем, но переполненном впечатлениями жизни мозгу, и я был абсолютно счастливым человеком.

Правда, тогда еще не подозревал об этом...

Владимир ГЛЕЙЗЕР

Горького, 28
(ностальгический мемуар)

История нашего города.
К шестидесятилетию одного дома

Мое детство прошло по адресу: г. Саратов, ул. М. Горького, дом 28. Это был послевоенный новострой подшипникового завода на двадцать шесть трехкомнатных квартир в пяти этажах, из которых штук семь были отдельными (директор, секретарь парткома, главный инженер, гэбэшник-начальник отдела кадров и что-то чуть пониже), а остальные – коммуналки. Мой папаша, хоть и был VIP ИТР (кто не знает – инженерно-технический работник) и начальник сборочного цеха и производства всего завода, в великолепную семерку не входил, и занимали мы впятером сначала одну, а потом целых две комнаты с соседями! Мебель в квартирах была заводская, с жестяным номерком на каждой единице, и комендант Иван Иванович ежеквартально сверял ее наличность и сохранность по толстой амбарной книге.

Очень важная деталь – по указанному адресу числился не только наш «жиддом» (итээрами были процентов на пятьдесят военно-бездомные евреи, мобилизованные на строительство и эксплуатацию оборонного ГПЗ №3 со всего запада страны, как и мой отец, в частности, из Москвы). Так вот, и внутренний, довольно большой двор числился по тому же адресу.

Во дворе стояли с незапамятных времен два дома красного кирпича – очень большой двухэтажник с огромными комнатами и литыми лестницами, бывший доходный и весь коммунальный, и небольшой частный, тоже о двух этажах. В нем жили «собственники». Из жителей «красного дома» я хорошо запомнил двоих. Первый – это сильно пьющий Володька Гапон, плотник-золотые руки. Он в нашем же дворе делал лодки-гулянки, и мы, молокососы, часами смотрели на чудо перевоплощения доски в шпангоут. Володька был родным племянником знаменитого попа Гапона из кровавого воскресенья, а его отец, доцент пединститута – младшим братом провокатора. Чуть старше нас крупная телосложением красавица-хохлушка с двумя русыми косами в руку до колен, умница и отличница, звалась Ирка-Пердыня. Не подумайте плохого, просто ее необычная фамилия была Прапро.

В «жиддоме» обитали юные «антилигенты», во дворе – шпана. Нас было очень много, и все были почти ровесники и точно друзья. Деление по возрасту было резким: довоенные и послевоенные. Из последних я был самым старшим – 1944-го года рождения. Объединяла нас разновеликая бедность, а богатства «великолепной семерки» мы не замечали: партийная и хозяйственная номенклатура жила с виду скромно, ничем не кичилась, наружу не высовывалась. Тем не менее, была самой текучей в доме – их все время меняли, сажали, переводили, в общем, выселяли и заменяли на точно таких же. А дворовая жизнь текла своим чередом.

Мы «стражались» на деревянных шпагах с консервными эфесами, играли в лапту-вышибалу, чижик, «зоску», штандер, пристеночек и биту, и гоняли в футбол штопанными-перештопанными волейбольными мячами. Темными вечерами, разбившись на лавочках на кучки по интересам, мы слушали и обсуждали «романы» (с ударением на первый слог). Антиллегенты вольно излага-

---

Владимир ГЛЕЙЗЕР родился в 1944 году в Саратове. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики. Автор многих статей, эссе, памфлетов, рассказов. На сцене саратовского драматического театра и киевского академического молодого театра шли его пьесы-сказки для детей. Два издания выдержала книга «Записки пьющего провинциала». Живет в Саратове. В журнале «Волга» публикуется впервые.

ли прочитанные жюль-верны и фениморы-куперы. Шпана пересказывала цветастые сюжеты из уголовной жизни своих родителей, старших братьев и их блатных друзей. Кучки по интересам мешались между собой непрерывно, так что информационное поле было плюралистическим.

Мы не боялись «уличных», так как жили «под крышей» дома своего. Блатные дворовые парни не работали, целыми днями сидели на дровянике (а у нас в квартире газ, а у них его еще не было), лузгали семечки, пили разливное пиво с астраханской воблой-черноспинкой, бились в секу и буру, играли на гитаре и не очень шумно горланили свой фольклор. Но только прибегал «шкет», то есть кто-то из нас, младших, и вопил как большой: «Пацаны! Наших бьют!», «кодла» снималась с места и, поплевывая через губу, в кепках-восьмиклинках набекрень, «фиксы» наголо, не торопясь, шла «качать права». Я не помню ни единого случая, чтобы права не были откачаны, и я не помню ни единого случая, когда они откачивались бы силой (и финки, и кастеты у «кодлы» были).

«Горького, 28» в нашем жилом районе была в авторитете! Шурка «Рыжий», Юрка «Мазан», Генка Никифоров! Я всех вас помню. Спасибо вам, а не товарищу Сталину, за наше счастливое детство!

Не у каждого из соседей я знаю судьбу своих ровесников и чуть более старших, но по именам помню всех! К примеру, наш подъезд снизу доверху: Витька Крепс с братом Юркой, Валя Рамм и ее брат Гришка, мы с братом Юркой, братья Женька и Сашка Яровинские и их старшая сестра Лида, Таня Кармишина, соблазнительные сестры Ива и Таня Комлевы, Стаська Алексеев, Борька Рольбин с сестрой Наташкой, Олег и Сашка Ратинеры, Римка Белкина, Валерка Янчуков и Таня-француженка, фамилия ее Шилова, а француженка потому, что ее отец, парижский и саратовский друг художника Гущина, реэмигрировал в СССР сразу после войны. Большая (не по возрасту, а по габаритам) Таня с детства знала языки и водила нас в кинотеатр «Летний» по многу раз, синхронно и без устали переводя восторженной кучке ребят, не успевавших прочесть субтитры, «трофейные» фильмы. Я до сих пор ей за это благодарен.

Кстати о реэмигрантах. Во втором подъезде, по соседству с будущим знаменитым художником Сенькой Белым, жил бывший румынский подданный рыжий инженер Левинтон. Он до оккупации Бессарабии окончил университеты в Италии и Франции по редкой специальности «архитектура и строительство мест общественного пользования» и работал на подшипниковом заводе именно «по специальности» – главным сантехником. Его дочь Генька вышла впоследствии замуж за талантливейшего саратовского математика юного профессора Борьку Шайна, друга и соперника моего брата, которого выжили из университета конкуренты, и он одним из первых отвалил с Волги на Потомак по чудом сохранившемуся румынскому аусвайсу суперактивной тещи.

От эмигрантов – к репрессированным. На пятом этаже третьего подъезда жила семья Ломтевых. Ломтев был «важняк» и входил в «семерку», но был нерепрессированным немцем. И очень интересно, почему. Его жена – тетя Эрика была не только немкой, но и женой «красного командира» Лапшина (их сын Федька всегда входил в «ватагу», как бы сейчас сказали, креативщиком, что не помешало ему стать известным профессором архитектуры). Красного командира убили еще «до войны» в бою с белофиннами, и тетя Эрика очень быстро вышла замуж за перспективного инженера Ломтева, который тогда еще еще носил какую-то нестандартную немецкую фамилию.

По указу Сталина всех советских немцев депортировали. Не всех, не всех! Кроме семей красных командиров! А Ломтев был к этому моменту уже членом семьи. Так вот, где-то году в 1958-м депортированных реабилитировали, и к тете Эрике в одночасье из Казахстана приехали двенадцать племянников – одиннадцать братьев Райт и Огородников. Вот это была бригада! Все белокурые бестии, дружные и физически сильные. Все приехали поступать в вузы, и все поступили! А в трехкомнатной «сталинской» квартире Федьки Лапшина возвели двухэтажные деревянные нары, где и проживали привычно по-барачному одиннадцать братьев Райт и Огородников.

От репрессированных – к иностранцам. Стройная красавица Ивка Комлева выскочила замуж за стройного красавца-югослава, который учился в Академии Генштаба, – то ли Йовича, то ли Джиджича, но точно не Дундича, как его называли во дворе. Свадьбу играли в Белграде, и

Ивка вернулась домой вся в крепдешине и капроновых чулках. После ее прохода по подъезду соседки открывали двери, чтобы вдохнуть стойкие запахи духов чужого аромата. Потом Йович (или Джиджич) преподавал тактику на военной кафедре нашего политехнического института и перестал быть иностранцем на долгие годы. В тактике он, может, и разбирался, а в стратегии – нет. Когда Тито поссорился с Советским Союзом и отозвал всех военных, в нем обучавшихся по обмену на советников и боеприпасы, на балканскую родину, перепропагандированный Йович, как и многие другие обзаведшиеся в СССР семьями, отказался. И был скопом приговорен заочно к смертной казни. Суровое наказание он без потери для здоровья пережил и спустя много-много лет все же уехал с Ивкой в Югославию.

В 1963-м году во исполнение решения Фрунзенского районного народного суда (как впоследствии оказалось, самого справедливого суда в мире – он оправдал меня по уголовному делу в 1986-м году) я был из дома выселен на все четыре стороны без прописки. Никто из старших соседей за меня не вступился, более того, на всякий случай написали донос в духе своей эпохи в партком университета, а младшие были бессильны. Я обиделся на свою историческую родину, и с тех пор ни разу на нее не возвращался.

Однажды, несколько лет назад, будучи в гостях на пятом этаже сопредельного дома, я вышел на балкон покурить и с высоты воробьиного полета увидел панораму двора моего счастливого детства. И – о, ужас! – вместо необозримых когда-то просторов передо мной предстал узкий безлюдный колодец с заасфальтированным дном без глубоких ям-окопов наших игр «в войну», без полуразвалившихся деревянных сараев-катакомб наших «пряток», без волейбольной площадки нашего футбола!

Не количество приобретенных диоптрий меняют с возрастом наши глаза, а старая истина – в одну реку нельзя войти дважды. Особенно, если это – река времени.

Виталий ЗИМАКОВ

* * *

в огне цикада алфавита
клюёт на вересковый мёд
и века длится дольче вита
отпетый колокольчик врёт

дин-дон жуана де мольера
на стоунхендж из бересклета
из жимолости розмарина
вполосени полощет лета
оставь закладку малипьеро
созвучий тающих пастух
прочти мальвина
ветер вслух

белеет одинокий с виду
всего хорошего цитата
доходит ночь до адресата
в свою тавриду

* * *

моей сестрёнке Наташе

неогранённые гроздья грозы
выскользнут прямо на скатерть
почерк знакомый шептать стрекозы
трепет осоки в тетради
радиоволнами точки тире
лиственный сон в сентябре

там тридевятый смеркается вал
кто нас проснуться позвал
плюшевый рыцарь на белой стене
вроде кота в сапогах и пенсне
телеграфируй волшебный пилав
from lukomorje with love

Виталий ЗИМАКОВ родился в Москве в 1983 году. Публиковался в журнале «Новый Берег», на сайте «Полутона».

* * *

напомни виноградарь гроз
прогноз из государства оз

заката лепесток заранее
загадан линией цветений
сплетают из оттенков тени
мадагаскарские урании
картинки воздуха картечи
пролистан ливень лиственниц
со стёртых ласточкой границ
с часовен сов на склоне речи

* * *

потом перегорела мгла
и кончилась дружок
ты нерешительно зажгла
подуй мне на ожог

неровен часослов травы
ни кораблей регата
стрел тремолочной тетивы
вот тактик циферблата

вот новенький в соку баян
великолепный вирус
что там пиит пииту пьян
сжигай его папирус

на ушко проскрипит кровать
делилась бы ни с кем
бикфорд наверно догорать
вольфрам на волоске

* * *

сладко спится в ночь перед потопом
верстовые сны отметь пунктиром
в копенгаген едет автостопом
бедный йорик с томиком шекспира

ангел мой в руинах амстердама
выдыхает корабли эллады
ихтиандр и де садко на ладан
дышат послевкусием агдама

заратустра помолчи будь другом
брось валять гермеса трисмегиста

пусть спасательным неровным кругом
разойдутся сны аквалангиста

* * *

воздушный лабиринт
сокольнической ветки
сентябрь экзюпери
вернулся из разведки
предельного в окне
видение вещанья
посадочных огней
короткое дыханье
мерцает в мотыльке
на языке сетчатки
на птичьем сквозняке
сквозные опечатки

Оганес МАРТИРОСЯН

Рассказы

Ночь в Грузии

Итак, я вернулся на Кавказ. Так, войско, видящее поражение, отступает, чтобы, набравшись сил, ринуться снова.

Два года, окончив университет, я писал, или запихивал деньги по углам, чтобы, когда сдохну, чья-то дрожащая рука извлекла бумажки, истратила их.

Скоро я не смогу говорить. Давление так велико, что слова выходят покалеченными, скоро будут выходить одни трупы.

...Сейчас за стенами дождь, набирающий обороты. Я в деревне Клде Ахалцихского района. До обеда я был в Ахалцихе, у дяди Альберта. Но поднялась температура, тридцать восемь и шесть. Я валялся на кровати, на втором этаже, когда приехала тетя. Она и забрала меня к себе, позвав скорую. Две грузинки, лет сорока, сказали, что у меня невралгия, сделали укол, прописали таблетки.

– А обратно как? – спросила у меня одна. – Через братскую республику или останетесь?

– Посмотрим, – отвечал я.

Поговорив еще, обе уехали. Укутавшись, чтоб пропотеть, я заснул. ...Мне снилась Грушенька (ее волосы, смех, прическа). Мы вернулись в школу и сидели рядом. Учителя продолжали урок, и мы, десять лет спустя, снова учились вместе. После я звонил Морозову (он уже брал трубку), спрашивал про Петербург. Он мне отвечал, что неделю пробыл, что всегда недолюбливал этот город. Потом замолкал, говорил снова. Я сказал, что я теперь в Грузии, но связь прервалась.

Проснувшись, я долго не понимал, где лежу. Весь мокрый, я привстал на кровати. На столе – недопитый компот из желтой черешни, на стене – календарь. Первое сентября. Ни чувств, ни мыслей. Просто телесная оболочка. Когда-то, слушай, когда-то я шел в этот день в школу. Держал за руку маму. Теперь мама далеко, за тысячу километров. Теперь это другая мама, потому что, увидь она на земле того мальчика, ни за что б теперь не узнала. Не подошла, не взяла бы за руку. Просто прошла бы мимо, зная, что у нее теперь взрослый сын. Достав записную книжку, я начал писать. «...Кто осудит человека, в доме у которого появились трещины, и он замазывает их глиной? Не то же самое делается, когда убирается графа о национальности и человек становится безличным гражданином единого государства, где существуют взаимоисключающие понятия, одни из которых дееспособны, другие нет, как инвалид и здоровый, прописанные в одной квартире. Грузия, которая предложила упразднить понятия автономных Абхазии и Осетии, попыталась замазать трещины, иначе бы в них вставили фомку, отколов стенку, что, в конечном счете, и произошло. Кусок стены может быть независимым, но от этого стеной он не станет...»

Пришла Лиана. Как ты изменился, смотрит она. Я ее не помню, совсем. Я лежу на кровати, мне уже лучше. «А глаза все те же», – наклоняется она.

Когда меня еще не было, и потом, когда я был в детстве, какое-то время она жила у нас. Я знал ее только по фотографиям и разговорам о ней. Она приходилась мне двоюродной сестрой, наполовину армянкой, наполовину грузинкой. Муж моей тети – грузин.

Оганес МАРТИРОСЯН родился в 1983 году в Саратове. В 2006 году окончил факультет философии и психологии СГУ, сейчас аспирант СГТУ кафедры «философия». Лауреат фестиваля «Поэтех 2008» в Воронеже (апрель 2008), публиковался в сетевом литературном журнале «TextOnly» и в журнале «Нева».

– ...Когда началась война, – говорила она, – армяне на грузовиках выехали в леса. Грузия многим прощает. Почему армяне, когда началась война, на грузовиках выехали? Тут, говорят, дубинками разогнали митинг. А вы его видели? Вышли армяне с плакатами «Добро пожаловать, Путин»...

Спустя час зашел мой племянник, высокий грузин. Всю неделю он был в лесах, валил деревья, чтобы жить, и теперь пришел. Чтобы помыться, поесть. Мы сидели в комнате, разговаривали. Звияди говорил на грузинском, я на армянском, переводчиком служила тетя. Спустившись вниз, перебрасывались словечками на фоне ролика «союз нерушимый республик свободных», под который ехали русские танки, а потом показывали Тбилиси. Тысячи мирных жителей с улыбками и флагами выходили на улицы. Смеялись дети, проезжали машины.

Поговорив еще, я поднялся наверх, включил радио.

– Победитель будет прав, побежденный – просто жить, – пел сквозь динамик Меладзе.

«В лучшем случае жить», – думал я, поминутно глядя в окно.

«Миротворцы Гитлера захватили Польшу. Русские террористы ночью сожгли дом, в котором находились немецкие миротворцы, которые пришли освободить землю... – доносились вести по радио. – Национально-освободительное движение стало бичом двадцать первого века. ...Террорист Байрон умер, как говорят, от лихорадки, на самом деле его смерть – дело рук турецких спецслужб, самых рьяных сторонников борьбы с терроризмом. Благодаря османской империи с терроризмом было покончено почти во всей восточной Европе, Закавказье и странах Ближнего Востока...»

Вечером, сидя в верхнем домике, резал арбуз, словно чувствуя преступление. Хороший сон и аппетит, что еще. Арбуз, не дожидаясь генеральной линии ножа, разбегался молниями тропинок. Сотни грузин полегли, чтобы ты так сидел и смотрел, как наверху станут загораться звезды.

– Кото, кото, пуч, пуч, – доносилось с вечерних холмов, по которым, будто белые облака, проплывали бараны. Орали, как по выходным пацаны в наших микрорайонах.

– Не знаю, что сказать, – подошел дядя Алеш после просмотра телевизора. – А знал бы – все равно не сказал бы.

– О'пай, – говорю я, – как будет по-грузински самоубийство?

– Тутлхлэбола. А зачем тебе?

Я вышел под звезды. Незнакомый мне пес, завидев меня, побежал прочь, оборачиваясь и лая. Ужасная слабость в ногах. С трудом я побрел наверх, чтобы подставить лицо под лучи уходящего солнца.

Грузия, самое непродолжительное время года. Будто лето в Сибири. Большинство российской литературы – баловство детишек в песочнице. Можно лепить что угодно и как угодно, лишь бы не выходить за пределы песочницы, на оградах-скамейках которой сидят взрослые и следят за ними.

А здесь передо мной проплывают картинки – разрозненные части той жизни, которой хотелось бы. И ум мой в смятении. Эта жизнь так же несовершенна, как здешняя, но в ней есть то, чем я никогда не жил и, наверно, не буду.

С грузинского креста руки Христа соскользнут сами собой. Потому что в Грузии быть распятым – грех. Я чувствую сознание, этот тающий с каждым с каждым ударом сердца кусок. Так почему же печалиться. Разве плохо. Значит, скоро весна. И красивые девки на улицах, пацаны, пьющие пиво, и я... Я хотел бы умереть на холмах, чтобы светило солнце, а прохладный ветер дул из Сванетии. Чтобы ветер овевал мои волосы. И допитое «Натахтари» покатилось вниз. Почему я не умер в Грузии. ...На холмах, где будут брести не овцы с коровами, а буду лежать я.

Перед богом, или не все равны

Сон отошел в реальность. Улицы пасмурные. Мы, то ли на грузовике, то ли на тракторе, едем по Солнечному. Не вниз, а выше, к трамвайным рельсам. И Солнечный не кончается. Стоят пус-

тыри с гаражами, постройками. И даты: «1637» и другие годы на разных стенках. В последнем штрихе сна была высь. Кусок колбасы, съеденный с кетчупом, оставил следы, переросшие в восход, который я вытирал салфеткой облаков.

Говорить, что грехи – это убийство, разбой и прочее, то же самое, что искусство есть Пушкин, Репин, Чуковский. Это для большинства. Грехов у неубийцы может быть вдвое больше. От этого тяжесть убийства не уменьшается, как не уменьшается величие Пушкина. Но у них нет преимущества перед другой «классикой».

Как можно жить, вот федеральный вопрос всей моей жизни. Сколько себя помню сознательного, я всегда жил навзрыд, где-то с десятого класса. Скоро будет десятилетие жизни навзрыд, жизни взахлеб. И сейчас я сижу, а выпить ужасно хочется, сорваться, слететь. Единственное, что мне ясно сейчас, выстрелы Ван Гога, Маяковского. Они понятней всего.

Я не уверен, но главное отличие мира от войны – в медленной съемке. У нас мир, то есть возможность увидеть в подробностях то, что стремительно на войне. Так, и похороны затянуты. Немного, что говорит о близости войны, но все-таки.

Будто бы для того учился писать, чтобы враз разучиться это делать. Я не пишу в строгом смысле, скорее кричу, задыхаюсь, жонглирую.

Сваренная сарделька плавает в воде, словно старческий член. Солнце, оно как Сталин в Великой отечественной. Все благодарны ему за победу. Но какова цена победы, какова сама победа и действительно ли она над тьмой – эти вопросы начнут задавать позже... Когда не станет солнца. «Но тогда не станет и нас». Так говорили при Сталине. И при смерти думали так же. Я держу в голове волка.

Мясо недовольно заурчало. «Скоро тридцать лет, я работаю. Отдыхаю. Выезжаю к морю. Нужен жених. Положительный, крепкий. Чтобы была уверенность. В завтрашнем дне. А то не будет завтрашнего дня, не будет и смерти. А умереть – страх как хочется. А то что же, другие умирают, а мы, значит, хуже? Нет уж, спасибо. Счастья оно хочется. Всем. Мы не хуже остальных. Надо поспевать за всеми. Муж он должен любить, муж он должен...»

Тело есть мост, разводимый вечером. Днем контакт между берегами возобновляется.

Из видимых вещей со временем я бы сравнил «позднего» Мопассана. Оно стоит на коленях, ползает. Как мне жаль.

Все перегородки сломлены. Все вещи в шкафу – в кучу. Моя душа, словно шарик, при малейшем движении перекатывается из одного конца в другой, не встречая препятствий. Я уже не могу знакомиться с девушкой. Ничего среднего мне не надо. Только крайность: бог и дьявол. Там, где есть один, не обойтись без другого. Этого Достоевский не понял, хотя жил именно так. Он был маятником, который раскачивали от безделья оба. Выбора не дано. Выбор есть между ними обоими и миром. Война между духом, чья правда, – и телом. Мир живет по животным законам, дрессированный или нет, в нем нет еще дьявола, он не дорос до него, как до бога. Тогда бы и животные попадали в ад.

Программа телепередач, схема внутренности мира. У меня не должно быть компьютера. Я открываю мир другим путем. Деревья, насекомые, животные – как этапы внутренней биографии. Этапы пути, объективированные в действительность.

Человек стар. Даже старый жук по сравнению с ребенком молод. Я смотрю на растения, как на угасшую молодость, плача. Тысячи лет, свернутые во мне, просыпаются. Я разбудил их неосторожным движением. Они съедят настоящее в момент. Горсть настоящего. Строчки должны идти как ступени. Сначала идет озарение, молния, а затем по ее пути, повторяя изгибы, поспевает строчка. Ее цель – настичь молнию, возникающую при столкновениях.

Меня только нет, такого не будет. Чем больше я отсутствую при нынешнем, тем больше останусь как следствие. Выстраданное право называться человеком – бог.

День идет, а ощущение, будто я взбираюсь на гору. Будто дышать уже нечем. Будто я, того и гляди, упаду.

Гобсек и Плюшкин удивительные автобиографии. Людей, которые не могут жить как обычные люди, а откладывают на потом. Что и есть накопительство. Людей, находящихся в грандиозной ссоре с настоящим. Се трагические образы собственных душ. Мережковский сказал, что то состояние, в котором оказался Пушкин на смертном одре, преследовало уже Лермонтова всю жизнь.

Первое впечатление от жизни, если отойти от нее на полшага, будто она ворованная. Люди украли. И цель и задача теперь – спрятать. Ее прячут в дома, в машины, в слова. Живут так, будто ее нету. «Мы порядочные граждане, мы не воровали. Нас нет».

Фраза «молодым у нас дорога» сбылась. Колеса захватили центральные улицы. Несутся, по глупости своей, попадая в пробки. По бокам тащатся старики их, ноги. Железная молодежь. Правда.

Теперь я молчу. Накопилось так много, ни за что теперь не вылиться. Никакая девчонка, никакая пьянка. Только слова, азиаты, посаженные на бумаге.

Ногой в лицо

Зима, чудо какое, благодатное, юное. Холод, снег, мамы с детьми, снежки, горки, гибель бомжей в подвалах, цветы. (Вообще, что мы называем «смертью»? Это до опыта. Если у вас есть такой опыт, значит, вас нет. Или вы, или опыт. Но я не об этом.) Весна, незафиксированный вес штанги, весна, плач матери по умершему ребенку, весна – удар сапогом в лицо. Боже, зачем ты дал меня так много, так сразу. Подкинул кукушонка в чужое гнездо. Я выскакиваю из дома, бегу, на мне нет шапки, куртка – на голое тело, сланцы. За дом, за гаражи, там прошло мое детство, там прошел я. Я выключаю небо, прислушиваюсь к земле: она беспорядочно шумит, не настраиваясь на нужную волну. У посадок я падаю, спотыкаясь о покрышку, врытую в землю. Когда-то при ней кто-то ездил. Но об этом не приходится жалеть. Людей на прилавках полно. Времена дефицита прошли.

Ты подходишь ко мне, прикасаясь ладонями, кожей, прячешь глаза: угадай, кто это! Слегка прижимаясь, беззвучно смеешься, потом – громче, подаваясь телом. На тебе – юбка, колготки. Смех рассыпается беззвучно, будто падают бусинки, разбегаясь к стенам. Нам семнадцать лет, и, весна для самой весны, ты бежишь, легонько прикасаясь к полу. И наше солнце – не за горами. Мы встаем и тянемся, прикасаясь к небу.

Имя тебе – любовь – подступает к горлу. Весна – дед Мороз – и его не будет. Боже, еще вчера я верил в тебя, а сейчас – уверен. Мы стоим, курим: я как всегда – выпив. Проплывают девушки. У одной нет ноги. Каждый раз она тонет, делая невероятные усилия, чтобы выплыть обратно. Пишут от насморка. У кого-то просто течет вода, кто-то – чихает смертью. Кто-то в движении, кто-то застыл. И то, и другое не соотносимо с жизнью. Люди игнорируют жизнь, иначе бы она всех убила. Она набрасывается на тех, кто ей смотрит в глаза. Жизнь – творчество, потому не должна повторяться. А вы ругаете смерть.

Так, незаметно для себя, я состарился. Я и раньше-то был не в тему, а теперь тем более. Некоторые говорят: здравствуйте. Я иду со своей студенткой. Говорит:

– Все-таки решила кровь сдать, поехать по детским домам, посмотреть, каково другим.

Стоим возле голубятни. Любуется, я же предельно мрачен. Внезапно она исчезает, я остаюсь один. Старухи, сбербанк, «Гроздь». Несколько сотен, очки, телефон. Голуби взлетают, тут же садясь. Я чувствую себя стариком, гуляющим с ребенком. Другими словами, дед с внуком, или я.

Люди необычайны, все. Обычное состояние – безумие.

– Не возникает желание вырваться, Катерина Островского, крест...

– А зачем? Нет, не возникает. У меня семья: муж, дети, – а еще работа, учеба. Ни секунды времени.

Я выхожу на улицу, словно выбрасываюсь в окно. Иду, перебитый, задранный. Кровь течет, сторонятся прохожие. Сажусь в «восемнадцатый», на заднее сиденье. Опершись о колени, молчу. Все, все – позади. Ничего и не было. Пятнадцать тысяч строк, одиночество, сон.

Ресницы вспархивают, как стрекозы над озером. Не работой ума, а давлением свыше, отчаянием плоти достигаются строки.

– У тебя слишком болезненная амплитуда колебаний, я бы сказала даже – несовместимая с жизнью, моей уж точно. И тотальное бездумное неуважение ко всему живому. В общем, иди ко всем чертям и не пиши мне больше.

Белый шоколад, поделенный на квадратики, – потолок, компьютерный стол, телевизор, входная дверь, мусорное ведро, лифт; площадка, мамы с детьми, библиотека, почта, ларьки, бабки, торговки семечками, люди, еще раз люди, боль.

– Братишечка, выручи, срочно надо... – Еще не рассвело. Я всматриваюсь в лицо. Дима. Он не помнит. Сеструха Маша, двор. Мы, дети, и он, по словам, разбойник. – Да тут темно, видишь, не разберешь, – худой, несчастный, он бежит к круглосуточному ларьку.

Я давно не ездил на трамвае. Я даже отвык от его людей, разнообразных, цветных, как экран современного телефона. Встав возле поручня, на средней площадке, провожаю взглядом пейзажи, отпускающие трамвай.

...И было лето, и мальчик – да, мальчик! – шестнадцати лет проезжал здесь же, и все, все казалось другим, и все казалось «впереди, Оганес! В твоем возрасте непризнанность? Это смешно!» Это смешно: все твои сверстники на машинах, при деньгах. Ты наплевал на это. «И я был богом и боксером», а теперь последнее чмо на машине, а ты специально не захотел этого. И сейчас еще можно исправить все, но ты не уступишь. «Раз меняется, значит сдается», но так больше нельзя. Слышишь, нельзя! И все твои друзья несчастны, один несчастней другого. И девушки вокруг, которым нужна душа, понимание, но которые хотят одного: мяса. Чтобы было мясо, а душа придет, никуда не денется. Этот путь обещал все, в пятнадцать лет, было ясно, все, иначе не может быть, будущее внутри, в кармане. Что же случилось, Оганес!!! Что звезду с высоты свело?.. А теперь только и остается – харкать строчками. Тебя ценят, в литературе ты чужой. Сейчас, когда за окнами ночь, а в комнате – светло, только электричество разделяет вас, чтобы темнота не стала полной.

Ичкерия

Изнасиловать себя, чтобы жить. Я забросил бег, тренировки. Я хватаюсь за голову, голова выстреливает пробкой от шампанского. Я бегу по лесу, пересилив себя. Кое-где, как обрывки ваты, лежит снег. Ветер, набирающий обороты, прогоняет снег. И, почернев лицом, тот уходит. Может, последний снег.

Не хочу, тупо не хочу, понимаешь. Почему люди не летают, думаешь, не умеют? Нет, на земле надежней. Любой может взлететь, если захочет. Но его место займут.

Земля греет солнце. Земля породила солнце. Крестьяне земли воспитали солнце. – Я не могу с вами жить! – заявляет солнце, уезжая в город.

Тяжелые бои на подступах к сердцу. Оборона прорвана. Монотонная стрельба из ручных орудий. Мощный залп. Город вздрагивает. Разрывы гранат возле самого сердца.

Тело не двигается, молчит, боясь спугнуть жизнь. Вдруг поплавок вздрагивает, уходит. Рывок! Слишком резко. Сорвалась.

Грозный дух 94-ого, бои за Грозный. Убийство Листьева. Радуев. Буйнакск.

Дыхание осени. Рев турбин. Усталость, поле, листва.

Осень. Сердитый парикмахер проезжает по полю. Ветер обирает деревья. Голые, они склоняются, чтобы как-то прикрыть наготу.

Мы играем во дворе, дети. Ленина бабушка, сама мама, Лена, Сергей, Таня... Солнце восемьдесят девять над крышей. Я катаюсь на «Школьнике». Таня говорит: чтобы перед школой не заболеть...

Я соскакиваю с кровати, выбегаю на улицу. Те же: бордюр, лестница, двор. Вот и дорога, по которой весной таял снег, здесь мы пускали кораблики... Белые, бумажные, а чаще – просто спички. Уезжают, уезжают потому, что нельзя вынести пытку. Жить там, где похоронен человек – самое главное, где так дорого все, что почти не было. «Здесь меня брали на руки...» Как легко соскользнуть в прошлое и как тяжело из него выбраться. Мы словно меняемся местами с тем мальчиком, бывшим я...

Я должен выжить в этой мясорубке. Доказать жизнь. Вывести из «дано».

Говорить всегда преждевременно. Для чего эти просторы? Будто чего-то ждут.

Царствовать или умереть, говорит Екатерина. У нас мир, значит, мы побежденные. Кто носит крестики, а кто – кресты, говорю я. Произведение, мобилизация слова, краски, звука. Все – на защиту своего существования. Звезды, элементы сознания, прорезают мозг.

Я слушаю ночь. Чьи-то звезды в ночи. Вой собак, свет от фар – в поле. В ней мы с Лехой одни. Пьяные, поджигая стоги, мы летим навзрыд. Что-то с нами будет. Полутени, машина в кустах, сверчки. Когда мы умрем, наши тени вернутся, чтобы сжечь оставшиеся снопы. Начало сентября. Мы лежим в центре поля, одни. Проезжает «копейка». Молчим. Месяц только начат, открыт. Прямо перед лицом звезды. Грозные, прожигая мысль. Бутылки с вином кончены. Мы лежим, потеряв нить. Градусники безумия. Нет, чтобы спать, с утра зарабатывать деньги, жить – как нормальные люди... нет, надо заниматься херней, просаживать молодость. Молодость, которая не в тему. Молодость, красную тряпку.

Эти звезды и пустые карманы, просто чудо. Мы вернемся сюда, чтобы умереть – снова и снова. Чтобы упасть – как ни один самолет до этого. Фонари вдали, словно желтые зубы, выстроились в ряд. Ночь, это гигантский фон для действия, именуемого жизнь.

Сегодня день пустой, как тетрадь двоечника. Не выполнив задание, он пришел на урок. Занимается чем угодно, только не делом. Я беру его тетрадь и расписываюсь: два.

– Завтра с родителями.

Он приходит с мамой, мрачной, почерневшей, злой.

– Что вам сделал мой ребенок? Почему вы его не любите? – кричит она, зажигая глаза гневом. – Я растила его одна, работала чтобы жить, он рос один, по себе. А вы вместо понимания ставите свои глупые двойки, отрывая меня от дела!..

Летом 99-ого чеченские боевики пересекают границу пограничного Дагестана, объявив о включении его в единое исламское государство... В интервью Басаев говорит: террорист – человек, мнение которого не услышали. Началась война.

Аблаева убили в Чечне. Ходил по двору, мнил крутым, зажигал с девочками. Перспектив нет. Армия, служба, Чечня. Привезли труп. Говорят, снял снайпер. «Поверженный, как идол, вернулся из Чечни, но Их уже не видел, а видели Они». Пришло в голову. А вспомнить нечего. Только в далеком детстве:

– Ну че, кто идет в футбол?.. Че, зассали все, а ты, цветной?

Лица: старика, бегущего к булочной, девушки, поправляющей джинсы, пацана, спросившего закурить... Зачем тебе меня читать? Что ты во мне забыл? Может, я всю жизнь любил только одну девочку, кроме нее, ничего не знал. Друг, иди своим путем, по-хорошему говорю. Не приставай, ты же знаешь, получишь. Я же тебя не трогал. Думаешь, здоровый, так тебе все можно? Я тоже был таким. А что нерусский, так ты не смотри. Я от бога. Знаешь такого, нет? Узнаешь, когда поздно будет. Так что проходи, не задерживайся. Не я первый, не я последний.

Ирина АРГУТИНА

Октябрь

Молочный воздух стелется, зыбуч –
с овчинку небо и земля с коврижку,
и жмет слезу из поседевших туч
пустых полей детдомовская стрижка.

О кто
не умирает в октябре!
Не навсегда – до следующего раза,
до льдистой вспышки света на ребре
октаэдром застывшего алмаза...

Октава,
завершаясь нервным «си»,
лишает очевидности исхода:
не жди, не верь, не бойся, не проси –
у ангела нелетная погода;

ему сплошная облачность претит –
молочный воздух
нынче непроезжий.
И лишь слеза из тучи долетит,
чтоб утонуть
в кисельном побережье.

2000

Море волнуется

В. Лурье

Ах, как волнуется море – как Мэри под пледом, –
если мой нос любопытный его разрезает.
Мной этот курс до последнего дюйма изведан,
так что юнцам – любопытство и смелость дерзаний,

вольному – воля, невольному – море по курсу.
Вольно летают лучами, невольно – кругами.

Ирина АРГУТИНА родилась в 1963 году, живет в Челябинске. Окончила химический факультет Челябинского университета. Публиковалась в журналах «Уральская новь», «Урал», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Врата Сибири», «Крещатик», в «Антологии современной уральской поэзии: 1997–2003». Член Союза писателей России. Работает инженером. В Челябинске изданы книги стихов «Свободные скитальцы» (1999), «Время поить пески» (2001), «Линия перемены дат» (2004), «Настоящие птицы» (2006).

Третьего дня из обычного рейса вернулся.
Встретила Мэри. Ну да – и земля под ногами.

Дернул же черт через сутки отправиться снова –
вроде и не было даже особой причины.
Дернул же черт в нашей луже кита голубого
вынырнуть слева по курсу из сонной пучины...

Я же не Мэри – ни визг, ни потеря сознания
мне не помощники. Я оценил, подытожил:
может, конечно, не кит – но какое создание!
Может, конечно, не синий – но очень похоже.

Каждый охотник желает – и тем одинаков
с прочими, бьющими в цель, у которой лица нет.
Но обрывались крюки вопросительных знаков,
но не вонзались гарпуны моих восклицаний...

Ах, как волнуется море за синего гада,
ах, как меня лихорадит соленой тоскою!
Может, ни бить, ни гарпунить его и не надо,
может, подплыть да обнять его, чудо морское?

Жарко искрится на солнце веселая россыпь
Радужных брызг. Темнота-я-не-помню. Больница.
Лучше не спрашивать. Я не умею вопросы
правильно ставить. Возможно, что все повторится.

Помер сосед по палате. Сказал, от саркомы
или чего-то похожего, вроде сарказма.
Что-то из этих названий мне было знакомо,
я вспоминал целый день и, конечно, напрасно –

так и не вспомнил. Но мною довольны медсестры:
спал хорошо и с большим аппетитом обедал.
...Чем я порезался? Фразой. Мгновенной и острой:
«Ах, как волнуется море! Как Мэри под пледом»...

2001

* * *

Плывет и ныряет, еще не измерен,
едва прорисован,
предвестник тревоги по рекам артерий,
а также и сонной.

Бежит холодком. Инородным предметом
растерянно бьется

о тонкие стенки – и слышит при этом:
«Опять инородцы!»

Но доброе сердце ему открывает
одну из каморок,
и он поселяется там квартирантом.

Хозяйке под сорок.

Ей так не хватало к сердечным недугам
сердечной тревоги –
ну вот и явилась непрошеным другом,
уставшим с дороги.

И дрожь подступает при ветреном стуке
ветвей по окошку,
и чай проливают неверные руки
на хлебные крошки.

И вроде зима подсчитала потери –
уходит достойно,
но с воем вскрываются реки артерий, –
а также и сонной.

И сердце весну постигает бросками,
и мечутся пальцы...
Хозяйке под сорок – она и пускает
к себе постояльцев.

2001

Возвращение к цикадам

Дым отечества там,
где север.
Рыжий запах смолы и серы,
он плывет на восток и юг
от геенны металлургии
(по законам драматургии
самый верный – заклятый – друг) –

над цитатой
(но без кавычек),
осенившей фасад парадный:
мол, теперь и у нас
(теперь
площадь Павших
так архаична,

площадь падших
так заурядна,
и так далее, и т.п.),

задевает немного,
краем,
уголок на границе с раем
(белым стражником до небес
там Курчатов широколобый,
пополам разломивший глобус,
охраняет закат и лес),

затихает в садах,
рассеян
меж корявых уральских яблонь
и клубящихся облаков.
Дым отечества там,
где север.
Я уеду на запад, ладно?
Ненадолго.
Недалеко.

В те края,
где в июле грозы
рассыпают цветы и звезды
по холму с золотой травой,
где Сунукуль,
сонный младенец,
обнимает легко,
по-детски,
пару плюшевых островов.
Окунусь в дремотные воды,
перепутаю дни и даты,
день и вечер,
когда в траве
музицируют с неохотой
разленившиеся цикады
бестолковых родных кровей,

и замру в немоте восторга
на неделю.
Сюда с востока
не дотянется серный вкус.
Но без горьких дымов и камня
мало горя наверняка мне.
И поэтому я вернусь

к площадным перебранкам улиц,
к заключенным в гранит цитатам

вдоль урочища Челяби́...
...Я вернулась.
Мы все вернулись
к отмеряющим дни цикадам –
поминутно, как ни люби.

2003

* * *

Стая волков небесных
тихо ползет на юг.
Мокрый июль отвесно
падает в боль твою.
Капли дождливым боем
бьются о левый бок,
слышится: «бог с тобою...»
(было: «С тобою – Бог!»)
Все, что угодно, можно
при перемене мест:
тянешь ли с подорожной –
не отменить отъезд,
свет покидая божий
с миром или с борьбой.
Все, что угодно, – можно.
Видишь ли, бог с тобой...
Может, и Он растерзан
в ночь на сырой июль?
Стая волков небесных
сыто бредет на юг.

2003

* * *

Растворяется дверь.
Растворимость ее возрастает
с приближением к выходу в новые среды и сферы.
Намечая надрыв,
за спиной надрывается стая,
провожая луну и еще одного Агасфера.

Этот хор,
проникающий в уши из черных отверстий,
этот хорь,
проникающий в курскую область, где куры
обмирают в блаженном своем предвкушении зверства

и его эпикриза,
подписанного Эпикуром, –
этот хор
ничего не добавит уму и печали.
И подобно иным,
стоголосым и тысячеликим,
он останется там,
или, как говорят, за плечами,
словно пройденный путь –
променад перед новым, великим,

нет, не шелковым.
Ни каравана, ни хора, ни стаи.
Одинокий старик,
заблудившийся в Виттовой пляске.
Одинокая девочка
старые книги листает
и зачем-то жалеет собак ездовых на Аляске.

Одинокое дерево –
где ему сладить с великим –
засыхает крестом,
и, конечно, он груб и увесист.
Кто один перед богом,
тому не до разных религий.
Крест уже на плече,
а на небе повис полумесяц

и звезда, шестиглавая или неважно какая, -
вот под ними пойдешь –
и увидишь, чего не заметил,
иногда постигая
и даже порой изрекая,
но и только. И только.
Хотя уходил не за этим.

2004

* * *

Озноб осеннего дождя
рождает горечь листопада.
Над мокрой площадью
вождя
ведет заоблачное стадо

к заморским пастбищам.
Они
пройдут воздушным коридором.

О местный боже,
сохрани
меня бездушным валидолом
на этой,
вымокшей в слезах
земле под коркой каменистой,
ломтем пока не отрезай,
еще не снег...
еще не выстрел...
.....
Листва с повадками мышей
лениво бегала от ветра.
И стало легче на душе.
И удалось пройти два метра

по улицам и площадям,
по проводам и эстакадам
сквозь дрожь осеннего дождя,
промокшего под листопадом...

2004

* * *

Готовимся к зиме
и утепляем окна.
...Ворона во дворе
замерзла и промокла,
но тоже утеплить пытается гнездо.
Вороне что-то Бог
в не лучший из сезонов
послал.
Но мир жесток
и неорганизован –
и жребий выпал (за сомнительным крестом
оконных рам).
А там
живет и суетится
ворона-старожил,
стареющая птица.
Нам с ней который год готовиться к зиме,
бояться холодов,
зачем-то ждать покрова
и стайками следов
одно, другое слово
слагать – и, наконец,
составить резюме

для тех, кто наверху,
и грамоте обучен,
и сыплет первый снег
из первой снежной тучи
на палую листву – пока не надоест.
Да кто там, наверху, читает наши знаки!
И кляксами ползет
по вымокшей бумаге
изменчивый октябрь.
И черные коряги
несут в печальный путь
унылый цинк небес.

И вот уже готов
к зиме наш дом картонный.
В преддверье холодов
я слушаю гортанный
пророческий рассказ вещуньи во дворе
о том, что в холода
и мерзнут, и черствеют
и люди, и еда –
и как осточертеют
объятия снегов, желанных в ноябре.
Рассказ ее суров,
но голос хладнокровен.
В гнезде меж двух стволов
она со мною вровень –
и видит все как есть,
и говорит как есть.
И птица – не орел, и дерево – не древо,
и я уже давным-давно не королева –
но ферзь.

2004

Одуванчики

И когда, уже исхудав на треть,
календарь не в силах сокрыть весну,
и когда еще ничем не согреть,
но уже появляется, чем блеснуть,
вспоминают дети, что есть пломбир –
и на палочке, и в стаканчике –
и врываются в черно-белый мир
одуванчики.

Как земля горящая – Трансвааль,
как «Наверх вы, товарищи, по местам!» –
так они взрывают собой асфальт

и бросаются под поезда.
Поезда стучат: сотни вёрст – на юг
и не меньше тысячи – на восток.
Сто голов полягут под перестук,
но и выживут – тысяч сто.

Ненадолго съежатся в ранний час,
а над ними взойдет заманчиво –
словно дух святой – и они торчат:
«Он из наших, из одуванчиков!»
Пусть грозу газонов, позор садов
выдирают с корнем – держись, держись,
ведь почтенной старости нимб седой
обещает вечную жизнь!

И они восходят, желты, дружны,
пусть кому дано – сотворит вино,
а вообще-то вроде и не нужны,
разве что безгрешному – на венок.
Но когда в апреле сыра земля –
с чем покончено, что не начато –
дрогнет сердце: вот он, отсчет с нуля –
с одуванчика.

2007

Листки из глухого времени

Письма Олега Сенина Валерию Белохову

Эта публикация продолжает серию материалов своего рода диссидентского краеведения. В «Волге» № 1 (414) были напечатаны письма Вячеслава Петрова, адресованные Валерию Белохову (1947–1987), саратовскому сидельцу по печально известной 70-й статье – антисоветская агитация и пропаганда. Это была переписка периода самого начала «перестройки», письма Олега Сенина относятся к более ранним временам – началу 80-х, самому, наверное, беспросветному – в политических координатах – отрезку новейшей советской истории.

Олег Сенин по рождению связан с Рязанью, но проходил по саратовскому процессу конца 60-х – дело «группы революционного коммунизма». Вот отрывок из его автобиографии.

«Родился я 24 марта 1947 года в поселке Лесная поляна Шацкого района Рязанской области. Мама моя, Александра Никоноровна, была родом с Вологодчины, откуда молодым агрономом приехала в наши края, где и повстречалась с моим родителем, Михаилом Павловичем Сениным. Отец мой, имея 7-летнее образование, прошел путь от сельского пчеловода до директора совхоза. Он отличался правдолюбием и широтой натуры.

Первое наставление в вере я получил от своего дедушки, Сенина Павла Федоровича, который имел основательную, по тем временам, начитанность и немалое духовное познание. Благодаря ему, я с детства знал наизусть некоторые молитвы и тропари. После окончания местной 8-летней школы, где я учился и вел себя очень неровно, я поступил в Моршанский строительный техникум, откуда, через два года, перевелся в подобный техникум в г. Рязани. Там я пережил страстное увлечение философией, психологией и литературой. В итоге я решил стать юристом и в 1965 году поступил в Саратовский юридический институт. За год до этого я познакомился в Рязани с молодыми людьми, моими сверстниками, которые имели радикальные политические взгляды. Интерес к политике и критический подход к советской действительности привели нас, молодых радикалов, к выводу о необходимости коренного переустройства общества, в соответствии с буквой и духом марксизма-ленинизма. С этой целью мы начали создавать в Рязани подпольную неомарксистскую организацию. По приезду в Саратов, мною была создана подобная организация и в этом городе.

В 1969 году, уже работая следователем прокуратуры г. Рязани, я был арестован органами КГБ за организованную антисоветскую деятельность. В январе 1970 года приговором Саратовского областного суда, я был осужден на 7 лет лишения свободы и два года ссылки».

А вот как об этом говорят «сухие строки приговора»:

Подсудимые СЕНИН О.М., КИРИКОВ В.И., БОБРОВ В.А., РОМАНОВ А.И., КУЛИКОВ Д.Г. и ФОКЕЕВ М.Г. на протяжении длительного времени занимались антисоветской деятельностью.

СЕНИН, проживая в г. Рязани и будучи подвергнут в 1965-1966 гг. враждебной обработке со стороны обвиняемого по другому делу Вудки Ю.В., стал разделять его антисоветские взгляды и к осени 1966 года дал ему согласие заниматься совместной организованной преступной деятельностью, направленной на свержение существующего в СССР государственного и общественного строя.

Осенью 1966 года перед отъездом в г. Саратов на учебу в юридический институт СЕНИН получил от Вудки задание создать в этом городе из числа студентов высших учебных заведений антисоветскую группу для проведения враждебной деятельности. Выполняя это поручение, СЕНИН в сентябре-декабре 1966 года и в начале 1967 года провел обработку и вовлек в преступную деятельность подсудимых КИРИКОВА и БОБРОВА, а также студентов Саратовского юридического института Рудченко А.А., Ионова Ю.В. и Клопичева В.В., создав в феврале 1976 года анти-

советскую группу. Весной 1967 года СЕНИН обработал в антисоветском духе и в октябре 1967 года ввел в указанную группу студента Госуниверситета подсудимого РОМАНОВА. В сентябре 1967 года СЕНИН провел антисоветскую обработку тренера детской спортивной школы «Сокол» подсудимого КУЛИКОВА.

Руководствуясь СЕНИНЫМ, антисоветская группа проводила организованную преступную деятельность до октября 1967 года, а затем распалась.

Бывшие ее участники КИРИКОВ, РОМАНОВ, а также присоединившийся к ним КУЛИКОВ и студент Медицинского института Федоров, умерший в 1968 году, организовали самостоятельное преступное сообщество, назвав его в провокационных целях «Группой революционного коммунизма», в составе которого проводили враждебную деятельность до августа 1969 года.

СЕНИН и БОБРОВ, не являясь членами этой враждебной группы, продолжали поддерживать тесную преступную связь с ее участниками.

Кроме того СЕНИН до дня ареста состоял в существовавшей в г. Рязани антисоветской группе и выполнял преступные задания ее руководителя Вудки Юрия».

Подробно об истории этой группы рассказано в мемуарах Александра Романова «Время собирать камни», напечатанных в 5/6 номерах «Волги» за 1996 год.

Возникновение подпольных групп левого толка было закономерным явлением, либеральный дискурс еще не был широко распространен и недовольство существующим режимом оформлялось в понимании необходимости его коррекции, приведения в соответствии с марксистско-ленинскими заветами. Эта тенденция прослеживается уже с первых послевоенных лет. В статье Елены Маркасовой «А вот практику мы знаем по героям Краснодона...» («Неприкосновенный запас», № 58 (2/2008)) перечислены лишь некоторые, наиболее известные организации, деятельность которых имела резонанс: «Коммунистическая партия молодежи» (1947, Воронеж), группа Юрия Динабурга (1945, Челябинск), «Союз борьбы за дело революции» (СДР) (1950-1951, Москва), «Армия революции» (Москва), «Юные ленинцы» (Ленинград), кружок студента В.И. Трофимова (1956-1957, Ленинград), кружок Р.И. Пименова (1956-1957, Ленинград), позже, в 1960-х – марксистская «Лига коммунаров» (1962-1965, Ленинград), «Группа революционного коммунизма» (Саратов, 1968), «Марксистская партия нового типа» (1968, Рязань).

В последующие годы группы левой ориентации встречаются все реже, на авансцену выходит правозащитное движение. Наиболее известный процесс доперестроечных лет – разгром в 1982 году группы «молодых социалистов» (Борис Кагарлицкий, Павел Кудюкин, Андрей Фадин, Михаил Ривкин).

Вернемся, однако, к автобиографии Олега Сенина:

«Наказание отбывал в Мордовии в лагерях для особо опасных государственных преступников; там я пережил духовное обращение, сделался исповедником Православия, и даже вознамерился, по отбытию срока, стать священником. Мое обращение к вере и сознательный отказ от политической борьбы стали основанием для помилования, которое сократило срок моего наказания с 9 до 5 лет.

<...> Я работал на стройке сначала рабочим, а затем мастером, прорабом и инженером. Все это время я посещал Православную Церковь, читал много духовной литературы и готовился к поступлению в Духовную Семинарию. С 1977 по 1980 год я несколько раз пытался рукоположиться в Алма-Атинской, Тамбовской и Архангельской епархиях. После неудавшейся попытки поступить в 1979 году в Ленинградскую Духовную семинарию, я провел полгода у епископа Архангельского и Холмогорского Исидора, исполняя при нем послушание иподьякона и келейника. Но и на этот раз ожидаемая хиротония не состоялась, все по той же причине – моего отказа на предложение о сотрудничестве с органами.

Все эти неудачи и собственное мое маловерие сказались на моих духовно-религиозных блуканиях, затянувшихся на несколько лет. <...> Годы, проведенные в заключении, обернулись для меня утратой зрения. В настоящее время я являюсь инвалидом 1-ой группы по зрению».

«Блукания» – это про адвентистов, Олег Сенин занимал важное место в номенклатуре этого религиозного объединения, потом перешел в Православие и стал активным борцом с сектантами. В настоящий момент является депутатом Тульской облдумы.

* * *

20 марта 1981 г.
г. Тула

Дорогой Валера!

Получил оба твоих письма... Вести твои горькие. Все это потрясло и напомнило о болях, некогда изведанных.

Нелепость ситуации, в которой оказался Саша, никак не вмещается в моей голове[1]. Тут, видимо, мог быть только психоз, иначе – что ему нужно было в кабинете? Но не в этом сейчас дело, а в последствиях. Ведь у него не истек срок судимости, это наверняка скажется плохо. И бедная Мария Андриановна![2] – представить себе не могу ее муки. Все так нелепо и несообразно...

В следующем месяце я постараюсь выслать ей сколько-нибудь денег. Отправлю на тебя, а ты передашь.

Славе Петрову я напишу следом же за твоим письмом. Светло вспоминаю его и рад был читать строки, напомнившие его неповторимый лексикон и манеру выражаться.

За стихи был бы тебе очень признателен. Обещаю соответствовать в твоих занятиях по русск<ой> идеалистической фил<ософи>и.

Я сейчас один: жена с дочкой улетела на сессию в Караганду. Никона я отправил к своим старикам в Рязань, поэтому прозябаю в тишине и печалях.

На сем крепко жму твою руку и прошу, по мере возможности, извещать о положении дела с Сашей.

Мои искренние приветы ему и горячие молитвы. Так же и Марии Андриановне.

Олег Сенин

* * *

(открытка, 1981 год)

Христос Воскрес!

Дорогой Валера!

Поздравляю тебя со Светлым Воскресением Христовым. Да осияет тебя спасающая благодать Господа нашего, сокрушившего смерть и даровавшего нам жизнь вечную. Желаю тебе изобильных пасхальных радостей и новых благословений свыше.

С братским целованием. Олег.

P. S. Письма с Г<умилевы>м[3] исправно получаю. Спасибо.

* * *

12 мая 1981 г.
г. Тула

Дорогой Валера!

Все твои письма исправно доходят до меня. Не взыщи, что так слабо тебе соответствую. Осуетился, копаючи огороды, высаживая редиску и прочую зелень на обжорку.

Поражаюсь твоей неутомимости при высылке Гумилева и много благодарю за труды.

Получил большущее и пестрое письмо от С. П<етров>а из Питера. Получил и малюсенькое – от Саши Романова, где он совершенно ничего не пишет, что он теперь, где работает и т. д. Ты уж, при случае, добавляй кой-что о нем.

Радуюсь твоему усердию в делах поста и молитвы. Сам я, к сожалению, не могу сказать о себе подобного. Но умом и сердцем я поневоле оказываюсь вблизи религиозно-духовных вопросов прошлого и настоящего. Но, по Лескову, хотя и крещен во Христа, но в Него еще не облекся.

Жду твоих писем и еще раз благодарно жму твою руку.
Твой Олег Сенин.

* * *

10 июня 1981 г.
г. Тула

Дорогой Валера!

Вчера получил еще два твоих письма и готов уже запечатлеть твой труд по переписке Гумилева каким-либо достойным мемориалом.

Что касается твоего намерения заехать и погостевать в Туле, то на это дело никакого соизволения испрашивать не надо. Мы рады будем принять тебя с дочкой в любое время. На всякий случай еще раз пишу, как добраться к нам от вокзала (...)

Итак, ждем тебя в гости. Как дела у Саши. Может вы вместе нагрянете.

С уважением
Олег Сенин

* * *

12.08.81 г.
г. Тула

Дорогой Валера!

Прости меня, стервеца, что не отвечал тебе доселе. Перевод, письма, карточки и стихи получил. Спасибо тебе за старания и признательность – твоей аккуратности.

Это славно, что мы свиделись, утешились, отошли душой. Близость наших миров и опытов – самая сильная сирена в наших отношениях. Дай-то Бог, чтобы мы не терялись друг для друга.

Сейчас занят по преимуществу Библией. Здесь – концы и начала, вопрошения и ответы, смысл и искания. Думаю, что и ты осознаешь нужду в постижении Великого Промысла во вселенной, истории, в самом себе. Долгое время я как-то неосознанно предпочитал насыщаться от иных книг, хотя и сознавал, и чувствовал, что только Писание и внутреннее Богопостижение дадут мне ведение. Теперь это сделалось насущной потребностью – исследование Писаний, кои свидетельствуют о Христе.

Когда же углубляешься в Откровения, то начинаешь понимать производность от него всех прочих писаний, их очевидную второстепенность. Мы же, человеки, к ним тянемся потому, что Евангелие требует от нас не только умствований о Боге, но и жизни в Боге, без которой наши словеса – кимвал звенящий; а тяга к книжности – от нашей тяги к умствованиям, которые всего доступнее нам и не требуют больших жертв. Заключение это сделал на собственном опыте.

Русская интеллигенция от века была жила и сыта своей рассудочностью, рефлексией, неорганичностью (то есть участием в Богопознании всех 3-х элементов личности – разума, сердца и воли); таковы мы и доселе.

Не приведи Господи тебе подумать, что все это я направляю в чей-либо адрес. Скорее говорю свое и о себе.

Рад, что Саша пребывает в здравии духовном. Поддерживай его тон, в тебе для этого есть тот здравый смысл и рулимость, которые могут изменять ему.

Успехов в твоих трудах

Привет доченькам и Саше

Твой Олег Сенин

* * *

16.09.81
г. Тула

Дорогой Валера!

Накануне больницы отправил тебе открытку. Сейчас, по получении писем от тебя, решил ответить более пространно.

Принцип, который ты положил в основание подборки стихов[4], не соответствует уже имеющейся подборке. Тематические подразделы в данном случае излишни. Я бы ограничился отборкой религ<иозны>х стихов, скажем, Пастернака и предварил бы их небольшой ремаркой о его философско-религиозно-нравственных исканиях. Такой принцип требует сплошного исследования поэтического наследия поэта, а потому и подборка будет возможно полной. Напрасно ты не разглядел предыдущий томик религиозных стихов[5].

Благодарен тебе за выписки из Бердяева. Что касается твоих стихов, то возможность их оценки будет зависеть от состояния моего зрения. Поэтому ты повремени с ними до октября. Боюсь, что мне в ближайшее время придется ограничить себя в чтении.

В больнице ничего не читаю, т. к. много процедур на глаза. Единственно, что имею, так это Евангелие, стихи из которого заучиваю и над которыми размышляю. Дело это душеприятное и успокаивающее.

Первые дни было тоскливо, но теперь свыкся. Тут, на радость мне, рядом с корпусом чудный «дворянский» скверик, где я совершаю длительные променады. Такие вот дела...

Да, Валера, зело изумился, когда читал о «тиражировании» и прочих издательских планах[6]. Был бы рад, если бы тебе по ушам за них настегали, для науки, так сказать. Мое блаженное мечтание иметь или списать для себя с твоего сборничка[7]. Если, конечно, составитель не падет из-за излишней рекламации своей, в общем-то, скромненькой работы.

Лучшие приветы Саше. Остаюсь с дружескими к тебе чувствами.
Олег Сенин

* * *

24.09.81 г.
г. Тула

Дорогой Валера!

Ты уж прости меня за прошлое бранчливое письмо. Бывают состояния, когда желчь разливается, тем более, что и ты не без вины виноват.

Вчера был чудо что за день – солнечный, по-августовски теплый, и все осеннее золото, тусклое от пасмурных, дождливых сумерек, заиграло и затеплилось излюбленными красками русской

осени. У меня тут под боком «дворянский» скверик, где я прогуливаюсь, читаю, размышляю над Евангелием. Читать мне сейчас трудно, так как много процедур на глаза, поэтому – самое лучшее – размышлять, заучивать.

Много молюсь и часто со страстностью неведомой мне в обычных моих состояниях. Да это и понятно: страдания делают нас отзывчивыми на всякую чужую боль, роднят нас со стихиями мира, открывают то внутреннее зрение, которое постигает сладостную тайну сущего. И конечно же, появляется чувство слезной, умиляющей зависимости от Того, в чьей руке есть все, чем жизнь моя будет полнотой совершенства.

Валера, мне бы хотелось, чтобы в предисловии к подборке стихов каждого из поэтов ты возможно полнее использовал материалы из духовно-нравственных исканий и обретений. Тематический принцип тут никак не пройдет, ибо стихи одного и того же поэта будут разбросаны по всему сборнику.

Благодарен тебе за твое участие к моей немощи, но вряд ли я смогу воспользоваться твоей милосердной помощью.

На всякий случай, мой диагноз: пигментная дистрофия сетчатки обоих глаз. Было бы хорошо, если бы ты узнал, не применяют ли в Саратовской клинике иглотератпию (...)

Рад твоему деловому настрою, твоей жажде совершенства во Христе. Я тоже весь в борениях, и самое благостное – быть в Боге, радоваться, ликовать, плакать, но в Нем, в Нем.

Храни тебя Господь.
Твой Олег Сенин

P.S. Отправил письмо и Саше, раньше твоего.

Комментарии:

[1] Информация об этом происшествии есть в бюллетене «Вести из СССР», издававшемся в Германии Кронидом Любарским. Речь идет о задержании Александра Романова за бытовой проступок и направлении его на досудебное психиатрическое обследование, которое продолжалось 2 месяца. Если бы информация об этом не прозвучала по западному радио, Романову вполне мог бы присужден второй срок, на этот раз по «бытовой», а не «политической» статье, однако в создавшейся ситуации власти предпочли не доводить дело до суда, и закрыли его за отсутствием состава преступления.

[2] Мама Александра Романова.

[3] В это время В. Белохов и А. Романов составляли самиздатовские сборники стихотворений Николая Гумилева. Изыскивались источники, стихи отпечатывались на пишущей машинке тиражами 4-5 экземпляров.

[4] Кроме стихов Гумилева, Белохов пытался собрать и издать таким же образом сборник религиозных стихов русских поэтов XIX-XX веков.

[5] Трудно сказать, о каком именно сборнике идет речь. Образцом служили дореволюционные и зарубежные издания.

[6] Речь идет о той же самиздатовской деятельности Белохова и Романова.

[7] Скорее всего, речь идет о сборнике стихов Гумилева, подготовленном Белоховым и Романовым.

Публикация Александра Романова
Вступительная статья Олега Рогова, комментарии Александра Романова, Олега Рогова

Современная немецкая проза: саратовские штудии

Завершился объявленный Немецким читальным залом Саратовской Областной универсальной научной библиотеки второй молодежный конкурс «Перевод современной немецкой литературы». Презентация лучших работ прошла в конце октября в Немецком центре, там, где совсем недавно провела свой мастер-класс переводчица немецкой литературы из Санкт-Петербурга, автор учебников по переводу И.С. Алексеева.

Как и в прошлом году, в конкурсе приняли участие студенты саратовских вузов, школьники из Хвалынска и поселка «Дубки».

Лучшими переводчиками в этом конкурсе стали студенты факультета филологии и журналистики СГУ Елизавета Иванова, Лада Билоконенко, Таймас Тимиржанов, Ирина Богданчикова, Евгения Кровякова и студентка кафедры немецкого языка Педагогического института Нина Воскобойникова.

Квалифицированное жюри – преподаватели кафедры немецкой филологии и кафедры зарубежной литературы СГУ, профессиональный переводчик Центра языка и культуры «Слово» по достоинству оценили все работы конкурсантов. Победители получили подарки от Гете-Института и Посольства ФРГ. Все участники конкурса в неофициальной обстановке, за чайным столом, организованным Агентством «Интенс» могли услышать замечания и пожелания членов жюри. Самые удачные переводы мы предложили к публикации в «Волге».

Валентина ПАНЧЕНКО,
зав. Немецким читальным залом СОУНБ

Даниэль КЕЛЬМАН

Даниэля Кельманна после выхода романа «Измерение мира» называют в Германии «спасителем немецкой литературы». Роман, действие которого разворачивается в 1828 году, повествует о двух гениях – ученом Александре фон Гумбольдте и математике Карле Фридрихе Гаусе. (Интересный исторический факт: в следующем 1829 году герой его романа – Александр фон Гумбольдт побывал в Саратове...). Роман практически сразу после выхода в конце сентября 2005 года занял верхние строки в списках бестселлеров, он смог потеснить с Pole position самого «Гарри Поттера». И продолжает сохранять эту позицию. Победительница нынешнего конкурса Елизавета Иванова, студентка факультета филологии и журналистики СГУ, выбрала для перевода именно этого автора. Представляем отрывок из книги Даниэля Кельмана «Эти очень серьезные шутки».

Эти очень серьезные шутки

Перевод Елизаветы Ивановой

Я всегда считал литературу наиболее чарующей тогда, когда она нарушает не правила синтаксиса, а правила действительности. Я сам всегда старался так делать, и меня всегда поражало, насколько сильно внутреннее сопротивление этому у многих немецких экспертов в вопросах искусства. На основе этого можно сделать интересные выводы о менталитете; я думаю, нигде литература, и нигде даже само ощущение жизни так не утверждено в нерушимой мещанской действительности. Гарсия Маркес сказал в книге интервью, что колумбиец сам собой становится

сюрреалистом, потому что окружающий мир столь нереален. С этой точки зрения, мы представляем собой другую крайность. Здесь реальное столь упорядочено, что мы даже сны видим, расчерченные на квадраты.

Видно, вы давно не ездили немецкими поездами.

О, спасибо за эту реплику. Могу я сказать пару слов о немецких поездах?

Не здесь и не сейчас.

Я бы с куда большим удовольствием прочел лекцию о немецких поездах, чем о писательстве. Недавно, это было здесь же, в Геттингене, я стоял на вокзале, и из-за строительных работ один поезд отменили. Но железная дорога все еще резервировала билеты на этот день на поезд, о котором им за три недели было известно, что его не будет. Мужчина в кассе сказал мне, причем весьма недружелюбно, что есть запасные поезда. Но их не было. В итоге около четырехсот человек стояли там, совершенно потерянные, и не знали...

Пожалуйста, прекратите. Это никому не интересно.

А я бы с удовольствием высказался. Никто не ездит столько, как торговый представитель и немецкий писатель. Если я засвидетельствую, что даже в Польше и России, где я побывал мимоходом, железная дорога функционирует лучше...

...Вы всего лишь сделаете себя непопулярным, и это больше никого не интересует. Мы говорили о реализме.

Да, именно.

Помилосердствуйте, ради бога, я умоляю, хватит железной дороги!

Хорошо. Хорошо. Итак, в моих романах всегда идет речь об игре с реальностью, нарушении реальности. И, я говорю сейчас совершенно открыто, к моим самым тяжким переживаниям как писателя относится то, что в Германии этого просто не понимают. Примерно в конце первой трети моего первого романа герой лежит в постели и постепенно засыпает. Могу я процитировать этот пассаж?

«Я попытался представить себе монастырь: высокие стены, крестовые ходы, старый колодец, огород. Здание, которое спешно возводила моя фантазия, получалось слегка нечетким и сочетало в себе куски Ecole Internationale и дома Берхольма. Но, несмотря на это, оно мне нравилось. И я чувствовал, как успокаиваюсь, и во мне медленно, как вода в затопленном подвале, растекается сон. Я пошел к монастырю, открыл большие ворота – это было совсем легко – и ступил внутрь. Погруженный в тень каменный проход, старая лестница со стоптанными ступенями. Я стал подниматься. Еще один коридор, косо падают лучи света и разрезают пространство по диагонали; невольно втягиваешь голову, чтоб не наткнуться на них. Несколько человек проходят мимо меня, но я не даю себе труда наделить их телами и лицами. Я обращаю внимание на свои шаги, после некоторого усилия мне удается услышать их шум, странный в этой тишине. А вот дверь. Я останавливаюсь и подхожу ближе. Ну да, я войду сюда. На высоте глаз висит пустая латунная табличка – сейчас должно появиться имя. Что-то оригинальное, может быть, латинское?.. Или лучше что-то простое – Вебер, Шустер... – нет, если уж имя ремесленника, то Фассбиндер. Отлично. Звучит просто и в то же время как-то подходяще. Я концентрируюсь на табличке и там, сперва словно серая тень, затем все отчетливей, проступают буквы: отец Фассбиндер. Теперь я могу войти. Я стучу. Ничего. Ерунда, там должен кто-то быть; я так хочу. Я стучу снова. И теперь я его слышу: голос, который что-то говорит. Вероятно, «Войдите!». Я поворачиваю ручку, дверь распахивается. Я вхожу. Это была большая, практично обставленная рабочая комната. Книжные стеллажи, стулья, стол с механической пишущей машинкой на нем. За ним сидел мужчина. Ему, должно быть, было за пятьдесят, он был среднего роста, полноватый, с седыми волосами, остро прочерченной линией носа, полными щеками, широкими бровями. На нем был черный костюм с белым воротничком, на отвороте блестел тонкий серебряный крест. Он сидел, опустив голову; когда я вошел, глаз он не поднял. Я растерянно остановился. «Подойдите ближе! – сказал он. – Садитесь!»

Здесь растерянно остановиться должен не только герой, но и читатель. Так я надеялся. Протагонист воображает себе некую фигуру, он – все-таки на это указывает название романа – пред-

ставляет ее себе. Он рисует ее себе, как это делаю я, когда пишу, и в своем воображении привносит ее в реальность книги. Сон не кончается, а отец Фассбиндер с этого момента – действующее лицо романа, часть истории. Можно предположить, что все, что происходит после этого, все еще часть сна. Можно предположить, что и без того не особенно надежный рассказчик хочет сделать свою историю похожей на иллюзионистское шоу, сценическое представление. Или можно предположить, что автор и хотел вызвать такое ощущение неясности, что он хочет остановить читателя на пороге, как Берхольма. Читатели часто задавали мне вопросы об этом пассаже, рецензенты же называли книгу, причем исключительно хвалебно, реалистическим романом. Они его просто невнимательно читали.

Такое бывает. Потом, Вы недостаточно ясно это показали. Ошибка в любом случае допущена Вами. Боже мой, не будете же Вы всерьез утверждать, что Ваши ходы чересчур тонки для интеллектуального уровня ваших критиков.

Вряд ли чересчур тонки. Парой лет позже я выпустил новеллу «Самое далекое место». В начале герой ныряет в воду, всплывает, попадает в опасное течение и идет ко дну. Он едва не тонет, выбираясь на берег, и решает инсценировать едва не случившийся несчастный случай и, под видом мертвеца, ускользнуть из собственной жизни. Он бросает на берегу свою одежду и уходит. С этого момента история становится все страннее. События его детства, лишь слегка измененные, проходят у него перед глазами. Он навещает своего отца в больнице, а через несколько страниц мы узнаем, что его отец давно умер. Когда ему понадобился фальшивый паспорт, он идет в первое попавшееся странное ночное кафе, его принимают там и, как старого знакомого, ведут в подвал, где сидит его начальник по работе и передает ему уже готовый новый паспорт. Снова и снова у него перед глазами проплывают характерные образы подводного мира: рыбы, водоросли, колышущийся взморник. Короче говоря, становится предельно очевидно, что он на самом деле утонул и вся эта история разыгрывается в его мозгу в последние моменты агонии.

Идея не нова.

Да, вариация на известную тему. Тогда я подумал, что доставлю читателю удовольствие, если развитие сюжета его удивит. И принял знаменательное решение, что ничто в аннотации на обложке не должно указывать на этот антиреалистический поворот. Вместе с редактором я написал предуведомление редакции, что это книга о молодом человеке, который переживает несчастный случай и начинает новую жизнь. Сенсационная книга о беглеце. Потом книга вышла. Все читатели, которых я знаю, сразу все поняли. Моя бабушка все поняла. Мой дядя, хозяин пивной в Бад-Годесберге, понял. Моя русская переводчица упрекала меня, что намеки чересчур топорны.

Извините, что я зеваю. Но это слегка напоминает мне тираду о немецких железных дорогах.

Я же не жалуюсь! Или нет, да, я жалуюсь, но, по-моему, этим опытом стоит поделиться. Я получил только благоприятные отзывы на книгу. Исключительно. Но две трети профессиональных критиков считали ее реалистическим романом, под который она была замаскирована аннотацией. Книгу, в которой отец сначала мертв, а потом снова жив, и где за пять минут можно получить фальшивый паспорт. Буду честен: меня не раздражает, что меня не поняли. Меня раздражает, что меня не поняли, но похвалили. Простите, за что? И меня раздражает, что аннотация на обложке столь очевидно и безусловно влияет на восприятие так называемых профессионалов, что это исключает для них любую противоречащую ей неожиданность.

Ну, если похвалы Вас раздражают, могу Вас успокоить. Этому можно помочь...

Сибилле БЕРГ

Сибилле Берг родилась в 1962 году в Веймаре, считается прародительницей молодой немецкой литературы. Наряду с книгами – всего семь, такими, как, например «Ein Paar Leute suchen Glueck und lachen sich tot» («Парочка ищет счастья...»), «Sex II», «Amerika», «Gold» («Секс II», «Америка», «Золото»), – Сибилле Берг писала театральные пьесы и тексты для журналов в Германии и Швейцарии, которые ставятся на театральных подмостках. Автор живет в Цюрихе, потому что

там красиво. Ее рассказы выбрали две участницы конкурса: Лада Билоконенко – «Эксперимент» и Евгения Кровякова – «Говорит Руди».

Эксперимент

Перевод Лады Билоконенко

Жизнь строится из внутренних и внешних событий.

Внешние проще узнать и осмыслить.

Внутренние события невидимы, как человеческие органы, как их скрытая от глаз работа. Нужно учиться управлять внутренними событиями. Проявлению своих чувств нужно учиться точно так же, как учатся бегать, есть и говорить, и нужно использовать для этого соответствующую мимику и жесты, чтобы было понятно, о чем идет речь.

В душе ребенка творится беспорядок мыслей и чувств. В детстве нам страшно.

Ребенок еще не может различить внутреннее и внешнее, что есть он сам и что – другие. Это приходит постепенно. Внутренняя путаница, как беспорядок в платяном шкафу. И задача взрослеющего человека – правильно разложить вещи по полкам, чтобы их было проще отыскать. Тот, кто не может определить свои чувства, не понимает, как ими управлять. Люди, не умеющие управлять собой, во многом уступают другим.

Я хотел бы подчеркнуть, что я не считаю себя кем-то особенным.

Я не думаю, что я социопат. Хотя подозрение было бы вполне естественным. Но ведь социопаты много мнят о себе.

Я же знаю, что каждая ночь моей жизни может стать последней. Просто потому, что вдруг может произойти утечка газа или что-то подобное. Я и не параноик – ведь тот, кто считает себя вечным и не учитывает ежедневную пятидесятипроцентную возможность своей смерти, ничего не смыслит в жизни. Я смотрю на вещи так: я был рожден без моего на то согласия. Срок моей жизни непредсказуем. Сейчас пришло время для того, чтобы занять прочное положение в обществе. Нужно договориться со временем; нужно следить, чтобы скука не превозмогла меня; нужно стараться, если можно так выразиться, мирно сосуществовать с окружающими меня людьми. О большем в человеческих отношениях, по-моему, не может идти и речи.

Я никогда не хотел быть знаменитым или что-нибудь еще в этом роде. Я хотел спокойно коротать время, не будучи при этом для кого-то назойливой мухой.

У меня есть профессия, которая приносит обществу пользу. Мне не грозит опасность остаться ничем. Я не обращаю внимания на то, как другие отчаянно борются со своей смертностью. Я думаю, таким образом они просто борются со страхом.

Свой страх я контролирую.

Я разузнал почти все о чувствах, которые может испытывать человек. Испытанные однажды, они лежат на полках моего внутреннего шкафа. И только одно чувство еще неизвестно мне. Я намерен изучить его следующим летом. Я имею в виду любовь.

Мне уже знакомо чувство симпатии. Не чуждо мне и желание произвести на кого-то впечатление. Но мне до сих пор неясно, есть ли общепринятое определение любви. Или это чувство так переоценивают именно потому, что оно не поддается определению?..

И это нечто совсем другое, чем любовь к ребенку. Она – биохимический процесс для сохранения расы и кажется мне зависимостью и материнским инстинктом.

Меня же интересует, если можно так сказать, добровольная любовь к человеку, с которым желаешь половой близости. Здесь идет речь лишь о краткосрочных процессах, которые содействуют спариванию, или в этом кроется что-то большее? Или это тот же случай, что и с религией, которую люди вознесли на недосягаемую высоту, чтобы избавиться от чувства своей одномерности?

Я живу очень изолированно. Я отказался от дружбы по собственной воле. Люди часто кажутся мне чем-то вроде ядерных боеголовок. Они никогда не отдают себе отчета в своих действиях, и

это происходит оттого, что они не знают своих чувств. Я осознал, что дружба приносит мне слишком мало пользы. Я не ищу общества других. Мне вполне достаточно самого себя.

После работы, которую я, нужно сказать, выполняю очень добросовестно, но не столько из чувства долга, сколько для того, чтобы освободить от нее свои мысли на весь оставшийся день, я сразу иду домой. Моя квартира приспособлена к моим потребностям. Она функциональна, и в ней нет ничего лишнего, что люди считают удобствами и что для меня – всего лишь скопление сомнительного достояния.

В своей квартире я читаю, отдыхаю, смотрю в окно и думаю обо всем подряд. С семнадцати лет меня непрерывно одолевает чувство, будто жизнь – это обучающая программа. Я должен изучить ее, понять и сдать по ней экзамен. Можно представить себе, как я был с тех пор занят, и мне совсем не было скучно.

С другими людьми я приветлив, это приятней и проще, чем быть невежливым. Но мне почему-то не приходит в голову делить с ними свой досуг. Фильмы в кинотеатре я могу смотреть в одиночестве, есть я тоже могу в одиночестве. По-моему, дружба – это очередной способ победить страх смерти. Но по сути это только игра в отношения, в которых на самом деле нет ни капли правды.

И, кроме того, это совершенно не принесет пользы моему физическому здоровью.

Для изучения же любви мне нужен еще один человек, помимо меня.

Мне кажется, что найти для моего эксперимента внешне привлекательный объект слишком просто. Тем более что тогда будет трудно определить, чем на самом деле вызвана любовь, не только ли физической красотой. Смысл любви в том, чтобы понять, что находится за внешней оболочкой. Мне не совсем ясно, способны ли люди установить связь как-нибудь по-другому, нежели под действием инстинктов, страхов и необходимостей.

Честно говоря, это исследование чувств меня очень воодушевляет. Даже не представляю себе, как я усовершенствуюсь! Впрочем, совершенный человек обречен на смерть... Я только радуюсь каждому новому заданию, скажем так, каждой новой ступени уборки своего внутреннего шкафа. Я понимаю, что говорю, как какое-то асоциальное существо. Но это, по-моему, не есть грех. Ведь все мы, если бы не были поглощены рутиной, искали бы в жизни смысл, которому можно подчиниться. Человек охотно подчиняется тому, что кажется ему более значительным, чем он сам. С этим не поспоришь.

По утрам по пути к своему предприятию я всегда прохожу мимо одного магазина, который, как видно, давно уже пережил свои лучшие времена. Это маленькая темная лавка, где продаются лотерейные билеты, журналы, кофе, очень потрепанные на вид плюшевые игрушки и книги с такими названиями, как например: «Поэзия на все случаи жизни».

За витриной этого магазинчика всегда сидит девушка, она практически безотрывно читает. Но самое интересное, что я никогда не замечал в этой лавке клиентов. Возможно, дело во времени, когда я прохожу мимо магазина. Вполне вероятно, часом позже он будет набит боснийскими строителями, пьющими кофе и подыскивающими себе томик со стихами.

Девушка выглядит так неприметно, что ее можно принять за один из запылившихся товаров этого магазина. Персона, в которой нет ничего такого, что хотелось бы исследовать. Ее волосы цвета мокрого песка, ее фигура какая-то. Не толстая, не худая. Я не сказал бы, что у нее есть грудь. Почти всегда, когда девушка сидит у окна, на ней синий форменный фартук. Кстати, фартук – это вещь, на которую стоит обратить внимание, потому что сейчас такие уже никто не носит. На этой девушке же он смотрится как нечто само собой разумеющееся, словно сплавленный с ее непритязательным обликом. Ее волосы всегда собраны заколкой в хвост.

У меня еще не было зрительного контакта с девушкой, возраст которой, по моим оценкам, около тридцати лет. Но меня бы ничуть не удивило, если бы я узнал, что ей под пятьдесят или под шестьдесят. У нас пока не было зрительного контакта, потому что всегда, когда я прохожу мимо, она читает.

Еще до того, как я решился на эксперимент, я знал, что эта девушка должна быть подробнее изучена. Меня вообще интересуют люди, у которых на первый взгляд совершенно нет характера.

Меня не интересует оболочка. Меня не интересуют планы на жизнь, которые совершенно явно доминируют над внешностью. Меня не интересуют слова. Слова, которые достигают слуха, проходят по пути наружу столько инстанций, что становятся похожими на старую газету.

Однажды утром я зашел в магазин. Я дождался, пока звякнет колокольчик, висящий над дверью, и был удивлен, когда дверь открылась совершенно бесшумно.

И с этого утра мне понадобилась еще одна неделя, чтобы девушка спросила меня, что я делаю с книгами, которые я покупаю каждый день в полвосьмого.

«Слова для темных дней», «Наедине с богиней», «Гимны на деревьях» – это только три заголовка, которые я запомнил. Названия других книг звучали примерно так же, я выбрасывал их сразу же, как выходил из магазина.

Итак, когда девушка обратилась ко мне с вопросом, стало ясно, что она готовилась к этому целую неделю. «Вы любите поэзию?» – был вопрос.

Я не придал ему значения, разве что это говорило о том, что мои старания начали приносить плоды. С этого первого вопроса и началось мое ежедневное посещение магазинчика, но я больше не покупаю там книг, а просто разговариваю с девушкой о литературе. Я не могу точно передать, что она мне рассказывает. Но за этими несущественными пустыми словами я вижу, что эта девушка очень одинока. В ней так много страха, так много невнятных чувств... Ей 27, как я и предполагал, и думаю, что у нее никогда не было мужчины, но возможно я ошибаюсь.

Да, я ошибался. У нее был мужчина, который бросил ее и разбил ей сердце.

Я узнал это при нашем первом разговоре.

Девушка – я мог бы сейчас начать называть ее по имени, но откажусь от этой мысли, потому что если я буду слишком рано называть вещи своими именами, это внесет в мои наблюдения неясность, – правильно сделала, что надела этот форменный фартук. Иначе я был бы до крайности смущен. Почти так же, как если бы она была передо мной совсем голой, потому как для нашего столь кратковременного общения эта информация была явно излишней. Я договорился с ней встретиться этим вечером и постарался не придавать много значения ее словам. Попытался смотреть на это с ласковой снисходительностью, не делая преждевременных заключений. Я думаю, что можно найти подход почти к любому человеку. Только не нужно его оценивать, потому что собственная система ценностей складывается из содержимого собственного же внутреннего шкафа.

Я не буду повторять ни слова из того, что она мне рассказывала. Это не имеет отношения к тому, что потрясло меня до глубины души.

Она – добрая, несчастная девушка, которая твердо убеждена в своей непривлекательности. Через пару недель мы стали почти родными.

Девушка теперь совершенно разоблачена и продолжает отчаянно раскрывать мне свою душу. Мне часто кажется, что она чувствует, будто это последний раз в ее жизни, когда ей доведется общаться с мужчиной. Я не могу об этом не сказать, но пытаться разгадывать мысли других людей сродни вере в астрологию. Можешь угадать, а можешь и не угадать.

Когда девушка заснула, положив голову мне на грудь, она, как ребенок, крепко сжала в своей ладони мой палец. Я наблюдал за ней всю ночь и почувствовал к ней большую симпатию. Я должен буду проводить с ней больше времени.

Через несколько месяцев после нашей первой ночи девушка стала неотъемлемой частью моей сегодняшней жизни. Я привык к ее запаху, и он остается в моей памяти, даже когда ее нет рядом. Я знаю ее мимику, которая проявляется у нее при малейшем чувстве.

Я знаю, что по ночам она боится и беззащитно прижимается ко мне во сне. Я знаю, что она плачет в ванной комнате, когда думает, что одна. Я знаю, как она стоит перед зеркалом или сидит перед ванной, и предчувствует, что будет дальше. Но она не говорит мне об этом, досуха вытирает печаль и слезы, умывает свое маленькое личико и, добавляя к нему улыбку, выходит ко мне.

Я знаю поток ее бессмысленных слов, которые она бормочет мне перед тем, как заснуть. Все это так нравится мне в ней.

Когда обнимаю ее фигуру без четких контуров, и чувствую нечто такое, как если бы я наблюдал за маленькими зверьками, играющими под дождем.

Этим летом мы отправляемся с ней путешествовать.

Мы едем в пансионат, который находится в одной деревушке, окруженной горами, ручьями, летними цветочными лугами и трогательной старомодностью. Кажется, что этот пансионат и само это место прекратили всяческие контакты с внешним миром еще в пятидесятые годы. Здесь все вокруг хранит приветливую неправдоподобность. Редкие автомобили производят впечатление маленьких лошадок, движущихся по булыжной мостовой. Эта неторопливость, кажется, овладела даже солнцем, которое устало светит сверху и никогда слишком не раскаляется.

Девушка выглядит такой счастливой, как никогда. У нее есть ясное чувство, которое имеет свое определенное место в ее внутреннем мире. Она больше не одна. Это наполняет ее детской радостью. Девушка скачет по лужайке, плетет венки из цветов, бросается раздетой в ручей. В постели она так тесно прижимается ко мне, что кажется, будто она стремится стать частью меня. Она просыпается с улыбкой и снова принимается за свою беготню.

Я очень привык к ней.

По возвращении домой девушке было трудно вернуться к своей прежней жизни, форменному фартуку и месту за темным прилавком. Когда вечером какого-то непонятного времени года я отправил девушку из моей жизни, я долго глядел за ней в окно, как она медленно двигалась вдоль по улице, на минуту задержавшись под одним из фонарей. Она казалась только маленькой тенью, похожей на ветку или больного ребенка.

Так я понял, что нашел чувство любви.

Руди говорит

Перевод Евгении Кровяковой

Я здесь.

Хорошо. Иначе мне больше не с кем было бы поговорить. А сейчас мне нужно говорить. Говорить с кем-нибудь, потому что я не знаю, как жить дальше. Хорошо.

Я боюсь. Боюсь того, что выгляну в окно, ты знаешь, и на улице, ты знаешь, в городе, во всей вселенной не будет ни одной живой души. И я подумаю, что возможно все умерли. Или они всегда были мертвы, и только я все еще здесь. Я так чувствую. Как будто бы здесь по-прежнему лишь я один, однако я слышу тебя, слышу, но не могу представить, что есть еще кто-то кроме меня. Остался только я. Три утра.

Ты уже выглядывала на улицу. Так, просто выглядывала, без всякой цели, не для того, чтобы проверить, не идет ли дождь. Если на секунду просто выглянуть на улицу, выглянуть без всякой цели, весь мир покажется чужим. Часто говорят, что ничего больше не имеет смысла. Он так отвратителен, город, что если хоть ненадолго сконцентрироваться на этой мысли, то больше не захочется дышать его воздухом, потому что иначе он попадет в легкие и сделает тебя больным.

Я никогда не замечал, что город так отвратителен. Я никогда не видел ничего другого и думал, что так и должно быть. Однажды мы были в отпуске, в Испании, но теперь и она не кажется мне такой потрясающей. Там тоже были дома.

Этой ночью кажется, что в комнате идет дождь.

У стола стоит деревянный стул. На нем лежит прожженное в нескольких местах клетчатое одеяло. Дверка шкафа держится на одной петле. Желто-серый линолеум и эта кровать, кровать как в детской. И она скрипит, когда я сажусь на нее, скрипит, как будто плачет, ты знаешь это, а у кровати всего 15 сантиметров свободного пространства. На потолке висит круглая лампа, внутри совсем черная от мертвых насекомых. Я сижу здесь на кровати, и она скрипит, и везде отвратительно, и снаружи, и внутри. И я вынужден мириться с ней, с комнатой, до утра.

Ага. Ночь бесконечна. Но я знаю, что она закончится. Всегда было так. Через пару часов из домов выйдут мужчины и женщины. Они не будут знать, что делают. Как во сне, они сядут в свои автобусы, в машины, как будто бы они вообще не просыпались, выйдут у фабрик, быстро пойдут через дворы, это и будет их единственный контакт с внешним миром. Когда они снова выйдут на свет, света уже не будет. Они будут возвращаться домой в темноте. Я никогда не думал над тем, что все, как и я, целый день занимаются тем, что им не нравится, только для того, чтобы заплатить за свою жизнь. Но жизни больше нет, потому что вечером у них больше нет сил. Они только как-то окупают свой сон.

Каждое утро я вставал в 5, я никогда не мог сказать, почему мне так плохо, ты спала дольше меня, и я ненавидел тебя за это. Я знаю.

Потом я ехал в автобусе и работал в шахте. У меня не было ни минуты на то, чтобы думать. Никому не придет в голову думать на работе. Вечером я всегда шел пить, потому что мне всегда было плохо. После попойки я возвращался домой. Когда ты была там, я бил тебя, просто, потому что ты была там. Я знаю.

В этом никогда не было ничего личного. Я совсем не знал, что ты человек, это никогда не приходило мне в голову. Я забыл об этом. Был только кто-то, кто смотрел на меня, на кого смотрел я, и тогда становилось так ясно, что я живу, и тут я приходил в бешенство. В этом никогда не было ничего личного. Наоборот, это не плохо.

Но так мне становилось легче. Мне кажется, когда человек ни о чем себя не спрашивает, то это все же хорошо. У меня была работа. У мужчины должна быть работа. Он должен выполнять свою работу и пить. Это нормально, тогда ты можешь идти туда, куда хочешь. Так принято. Женщина сидит дома и занимается хозяйством, а мужчина трудится на работе. Я считаю, что так должно быть. Возможно, это все. Возможно, никто не делает больше. Дождь ослабевает. Я никогда не знал, что город так отвратителен. Только сейчас, спустя несколько дней, все выглядит так, как будто бы я вижу это в первый раз. Широкие улицы, желтые дома, дома-пещеры, где не хватает света и тепла, где люди могут только спать, для того чтобы утром снова отправиться в шахту. Женщины остаются дома, ходят по магазинам, приносят домой еду, чтобы скормить ее мужьям, чтобы они работали. Это несправедливо. Да, Руди.

Раньше люди занимались сексом. Но это прекратилось. Он давал людям возможность почувствовал себя живыми, а когда все было кончено, они становились еще несчастнее, потому что все забывалось через пару минут. Я никогда не думал, что когда-нибудь буду хотеть человека. Знаешь, я уже несколько дней нахожусь в поиске прекрасного. Но ничего нет. Есть пивные, они желтые, и есть дома, они желтые, и улицы, они равнодушные, и есть пара деревьев, и они тоже желтые. Все свои 30 лет я не замечал, что все вокруг желтое. В выходные я мог бы это заметить. Но тогда мне хотелось спать, а когда я просыпался, меня тянуло вон из квартиры в пивную, и пару метров до пивной я не видел ничего вокруг, потому что глаза распухали от сна. Понимаю.

Я прожил 30 лет так, как будто бы плохо выспался. Я никогда не задумывался над тем, что жизнь однажды прекратится. Я думал, что кашель – это нормально, и что у меня была жена, которую я считал своей собственностью, и что у меня всегда болит спина, и что у меня все время нет сил, и что у меня никогда ни к чему не было аппетита, потому что все имело одинаковый вкус, и что по телевизору нет ничего интересного, кроме спорта, и что в квартире всегда было слишком холодно, потому что окна не закрывались и слишком шумно, тогда все-таки я думал, но я никогда не задумывался над тем, что я смертен. А сейчас слишком поздно. Да.

Когда меня уволили, четыре недели назад, я тоже не думал об этом. До следующего утра, когда я проснулся в 5 и впервые не знал, куда идти. Я сидел на стуле перед кроватью в рабочей одежде, с сумкой на коленях и впервые в жизни думал: куда я должен теперь идти? На улице не было места, куда я мог бы пойти, а квартира, она слишком мала. Тогда я понял, что, когда я не работаю, меня не существует. По-настоящему не существует. Нет мыслей, ничего нет. Гм.

Потом я вышел на улицу, и мне впервые сильно захотелось, чтобы у меня кто-нибудь был. Тогда я погнался за воробьями. Я думал, что птица – это уже кто-то, ее можно гладить и так далее.

Но они, воробьи, всегда улетали, и через некоторое время я пришел в бешенство. С тобой было то же. Тогда я уже понял, что что-то пошло не так, это так плохо, то, что пошло не так, что я понял, что ничего уже не исправить. А ты молчала. Я все испортил и пришел в бешенство.

Все еще три. Фонари все еще горят. Дождь все еще идет. Я не знаю, что мне остается делать. У меня больше нет сил, я не знаю, как живут. Я с радостью бы умер. Я не знаю, как умирают. Я осматриваю свою комнату, в ней нет ничего, для того, чтобы умереть. Достаточно ли трех этажей, чтобы умереть? Я боюсь этого. Почему я боюсь этого? Я больше боюсь наступления завтра. Я боюсь всего. Такие страхи мучают меня. Все не так плохо.

Я две недели просидел в квартире. Я почти не двигался. Я больше ни разу не ходил в пивную. Я больше не мог видеть тех, кто возвращался с работы. Я две недели просидел в квартире. Я ел то, что еще оставалось в холодильнике, потом шкафах, потом ничего не ел. Я выпил все вино и шнапс. Мне было противно ходить в туалет. Это было движение, снять штаны, я больше не хотел двигаться, не хотел дотрагиваться до себя, я хотел забыть, что я есть. Гм.

Иногда мне казалось, что в моей голове должно определенно быть что-то, и это что-то должно было быть чем-то большим, чем то, что обычно приходит мне в голову. Но никогда этого не замечал, я думал, что если бы я постиг это нечто большее, то я бы нашел выход, и это было бы как если попасть из черно-белого мира в мир красок. Но мне не дано было постичь это. У меня никогда не было ничего, чему бы я радовался, никогда. Я не знал ничего, что было бы красивее того, что я видел.

Да.

Когда ты исчезнешь, я не почувствую никакой разницы. Две недели назад меня уволили, а сейчас я сижу в отеле, потому что мне страшно идти домой, и хочу умереть. Я хочу и одновременно боюсь этого. Сейчас четыре. Только четыре. Я не спал уже две недели, светает, рассвет тоже желтый. Там на улице никого нет, верно?

Да, верно.

Я хочу умереть.

Я кладу трубку.

Андреас РОСТОК

Андреас Росток родился в 1964 году. Изучал философию, литературу, увлекался спортом. Свободный писатель. Живет в Гамбурге. Автор путевых заметок (репортажей), которые публиковались в известных немецких журналах «Spiegel» и «Zeit». Перевод из романа «Влюбленные в Травемюнде» представляет Тимиржанов Таймас, один из победителей прошлогоднего конкурса переводчиков.

Влюбленные в Травемюнде

Перевод Таймаса Тимиржанова

«Здравствуй, дорогая! От всей души поздравляем с днем рождения! Скажи, а что, звонок не работает?»

Объятия, поцелуи, крики радости.

«Твой отец и я были так счастливы тридцать лет назад! Не правда ли, папа?»

«Да, мама, такими мы и были».

«Хорошо-хорошо, проходите же».

Я спросил себя, будем ли мы с Арианой когда-нибудь называть друг друга «мамой» и «папой», если у нас появится ребенок.

«Возьми у меня что-нибудь, Карл».

Вольф, нагруженный под завязку, стоял передо мной.

«Молодой человек был так любезен, что помог нам донести вещи»

Хотя Вольфу было уже почти пятьдесят, для родителей Арианы он из-за своих кожаных брюк, кепки «а-ля Брехт» и небрежной манеры держаться был «молодым человеком».

«Да что же там внутри?»

Вольф тяжело вздохнул.

«Ах, да так, сущая мелочь».

Они привезли с собой десять банок варенья – собственного приготовления; также – тридцать килограммов яблок из их сада, один целый окорок, мешок моркови и несколько бутылок сока, ягод, сирени. Кроме того, мама Арианы связала два свитера, сшила одно платье и три кофты, а также сплела украшение для туалетного валика. Из опеля, припаркованного перед дверью, они принесли еще три разных домашних пирога. Отец украдкой сунул Ариане купюру в сто марок.

«Держи, купишь себе что-нибудь красивое».

«Спасибо, папа!»

За это последовал особый поцелуй.

«Ну, а потом ты ведь опять приедешь домой?»

«Папа, сколько раз мне еще повторять тебе, что мой дом теперь – в Любеке».

«Да-да, я хочу сказать, ты можешь нас еще раз навестить!»

«Папа, я была у вас в последние выходные»

«Да, но ведь только два дня. В следующий раз ты будешь гостить дольше! Ты ведь можешь провести свой отпуск у нас! В Штокельсдорфе тоже неплохо! Ты ведь знаешь, квартира под крышей всегда свободна для тебя! Ты могла бы переехать обратно к нам! Да и Карла ты можешь взять с собой!»

«А теперь садитесь».

Мы накрыли на стол, и Вольф принес купленный им торт, который, как оказалось, был теперь совсем не нужен и, к тому же, начал таять на переднем сиденье его мерседеса-кабриолета под лучами осеннего солнца. Обед на сегодня отменялся. Вместо него были кофе и пироги. Вольф обалдел от изумления.

«И кто же будет все это есть?»

Отец Арианы не совсем соответствовал его представлениям о рабочих. В романах Вольфа рабочие были молоды, сильны, немного начитаны, и, в первую очередь, – мужественны. Вольф присел рядом с ним, реально существующим рабочим с согнутой спиной и худыми руками. Вольф сделал пару замечаний по поводу консервативного правительства, которое в течение стольких лет загребало деньги лопатой, с радостью обирая низы.

«Да ладно вам, левые ничуть не лучше. Не так ли, мама? Ваш автомобиль, господин... э-э-э, господин Вольф, он наверняка обошелся вам не очень-то и дешево, а?»

Вольф пропустил замечание и продолжил.

«По отношению к капиталу рабочий класс должен...»

Он не закончил.

«Да-да, хорошо, рабочий класс. Мама, а где жаркое из зайца?»

«Ой, я забыла его дома! Какая же я глупая!»

«Но я же говорил: мама, положи жаркое из зайца!»

«Да, я знаю, папа! Мне тоже очень жаль!»

«Ну, а как вы доехали?»

«Как раз перед тем, как мы вышли из дома, я сказал: мама, положи жаркое из зайца!»

«Как же это могло со мной случиться?»

«Я... – Вольф был слегка смущен, – я в своем роде тоже рабочий, тружусь на духовном фронте. Станок, на котором я работаю – это пишущая машинка, то есть компьютер. А классовый враг...»

«Да-да, классовый враг, понимаю. Ты поднималась из подвала по лестнице, и я сказал еще раз: не забудь жаркое из зайца, мама, не забудь жаркое из зайца. Я точно знаю, это были мои слова!»

«Да, ты говорил! И я еще раз подумала об этом! А потом вдруг забыла! Какое невезение!»

«Какая у вас красивая брошь!»

Мама Арианы радостно раскраснелась:
«Вы думаете?»
«Да».
«О, спасибо, фрау....?»
«Майя, просто Майя, как пчела»
Короткий смех. Все знали пчелу Майю из детской телепередачи.
«Мама, я сейчас поеду и привезу жаркое из зайца!»
Жена схватила его за руку.
«Садись обратно, папа».
«Нет, нет, я должен, жаркое из зайца!»
«Да оставь ты в покое свое жаркое из зайца, черт бы его побрал!» – закричала Ариана.
Ее отец вздрогнул и притих.
«Прости, папочка, я не хотела грубить».
Она погладила его по руке и продолжила тихо:
«Я просто хотела сказать, неужели нельзя поговорить о чем-то другом? У меня день рождения».

Майя и Вольф уехали. Охотнее всего я бы уехал с ними. Если Ариана хотела «свободной любви», она должна была в одиночку развлекать своих родителей. Или пусть тот другой (в которого она теперь была влюблена?) играет в зятя! Морской офицер наверняка встретил бы теплый прием! Я остался.

Хлопали пробки от шампанского, стаканы наполнялись, осушались, наполнялись вновь, общение шло раскованно. Отец Арианы начал ностальгировать по своей матери, самой – как он несколько раз подчеркнул – важной женщине в его жизни. «А если я не слушался, – он почтительно сжал губы, – тогда она мне задавала! Да, здорово мне тогда влетало!»

Он схватил марципанового младенца, мой подарок Ариане.
«Папа, осторожнее!»

Ариана приготовилась в любой момент вскочить со стула и подхватить своего ребенка, если отец уронит его.

Он продолжал говорить, размахивая марципановой игрушкой, и обратился ко мне с выражением «как мужчина мужчине» на лице.
«Слушай, Карл, на что это похоже? Мне бы очень хотелось стать дедушкой!»
«Папа!»
Ариана и ее мама выкрикнули это почти одновременно.
«А что, разве я не прав? Я действительно хотел бы стать дедушкой! И вы же не можете вечно сожительствовать, как студенты! А жениться? Вы еще не думали о браке?»
«Полюбуйся, папа, ты сломал ему руку!»
Ариана убежала на кухню, чтобы с помощью яйца и муки починить своего ребенка...

Цое ЙЕННИ

Цое Йенни родилась в Швейцарии. Сейчас живет в Англии. За первые два романа «Das Bluetenstaubzimmer» и «Der Ruf des Muschelnhorns» она получила многочисленные награды. Ее книги переведены на многие языки. Предлагаемый перевод романа «Комната в цветочной пыльце» – проба пера и самостоятельная работа Ирины Богданчиковой.

Комната в цветочной пыльце

Перевод Ирины Богданчиковой

Когда моя мать переехала на другую квартиру, в нескольких кварталах от нашего дома, я осталась жить у отца. Дом, в котором мы жили, пах влажным камнем. В подвале стояла печатная

машинка, на которой мой отец ежедневно печатал книги. Всегда, когда я приходила домой из детского сада, я шла к нему в подвал, и мы вместе поднимались в квартиру, где готовили наш обед. Вечером перед сном отец стоял рядом с моей кроватью и рисовал тлеющей сигаретой фигуры в темноте. Принеся мне горячее молоко с медом, он садился за стол и начинал писать. Под ритмичное бормотание печатной машинки я засыпала, а если вдруг просыпалась, могла через открытую дверь видеть его затылок, белокурый венок волос в свете настольной лампы и бесчисленные окурки, которые, один за другим, как маленькие солдатики, обрамляли край стола.

Поскольку книги, которые издавал мой отец, не раскупались, он подрабатывал ночным водителем, чтобы в течение дня продолжать писать книги, которые пылились в подвале, на чердаке, а позже и во всей квартире.

Ночами я очень беспокойно спала, сон распадался во мне на кусочки и проносился мимо, как комочек бумаги в бурной реке. Какой-нибудь резкий звук, и я просыпалась. Я смотрела в потолок, с паутиной в углах, и знала, что мой отец находился на кухне, он ставил чайник на плиту. Как только вода закипала, из кухни доносился короткий свисток, и я слышала, как отец торопливо брал чайник с плиты. В то время, как вода постепенно через фильтр стекала в термос, запах кофе распространялся по всем комнатам. За тем следовали приглушенные шумы, и все затихало. Когда я со своей кровати наблюдала за тем, как мой отец, закутанный в кожаную куртку, тихо закрывал за собой дверь квартиры, мое дыхание учащалось, и в горле образовывался комок, который все увеличивался, пока не достиг своего предельного размера.

Едва слышимый звук, я раскутывалась из одеяла и припадала к окну. Я медленно считала: один, два, три и уже к семи видела, как он быстрыми шагами шел вдоль улицы, погруженный в тусклый желтый свет уличного фонаря; к десяти он всегда подходил к ресторану на углу, где и сворачивал. Спустя несколько секунд я задерживала дыхание, и слышала мотор автофургона, который громко начинал работать, но удаляясь, был все тише и, наконец, совсем смолкал. Затем я внимательно прислушивалась, звенящая темнота ползала по всем углам, как изголодавшееся животное. Я включала свет на кухне, садилась за стол и судорожно хватала еще теплую кофейную чашку. На ее краю я пыталась найти коричневые засохшие пятна, возможно последний признак жизни, если бы вдруг мой отец больше никогда не вернулся. Постепенно чашка в моих руках остывала, а ночь беспрерывно проникала внутрь и распространялась по квартире. Осторожно я ставила чашку на место и возвращалась через узкий высокий проход в свою комнату.

На окне, из которого я совсем недавно наблюдала за моим отцом, сидело насекомое, которое зло таращило на меня глаза. Я села на край кровати и не отводила от него глаз. В любой момент оно могло прыгнуть мне на лицо и обвить мое тело своими узловатыми пульсирующими ногами. В середине комнаты вокруг лампы резвились мухи. Я пристально смотрела в свет, на мух, и боковым зрением наблюдала за насекомым черного цвета, которое неподвижно сидело на подоконнике.

Постепенно, как теплая шаль, меня окутывала усталость. Я напряглась, и попыталась различить сквозь полуоткрытые веки отдельных мух, однако, глаза все больше и больше закрывались и не различали ничего, кроме жужжащего в воздухе круга. Насекомое пискнуло, и я почувствовала, как его щупальца медленно подползают к моим свисшим с кровати ногам. Я побежала на кухню и окунула голову в холодную воду. Место укуса выглядело опухшим и болело. Я не осмелилась пойти в туалет, находившийся между этажами, так как свет на лестничной клетке спустя некоторое время гас. Мне казалось, что насекомое, которое передвигалось по моей комнате, только и ждало того, чтобы напасть на меня на темной лестничной клетке. Бродя туда-сюда по кухне, я начала напевать про себя песни, которые мы учили в детском саду. Только некоторые песни я знала наизусть, их я снова и снова перепевала иначе.

Сергей ТРУНЕВ,
Поэт, критик, культуролог, соруководитель семинара
«Пространственно-магистические аспекты культуры»

Сказание о «ЛИСКЕ» и «Пирровых» победах

При просмотре очередного блока местных новостей, равно как и при просмотре периодических печатных изданий, невольно складывается впечатление, что культурная жизнь Саратова не может похвастаться насыщенностью. Вопрос не в том, почему экранное время и газетная полоса отдаются под демонстрацию очередных успехов области в сельском хозяйстве, разбирательствам в подоплеке локального банковского кризиса или деградации городской инфраструктуры. Все эти темы, безусловно, являются приоритетными для гипотетического «рядового горожанина», поскольку составляют саму ткань его повседневной жизни, в которой многообразие культурных явлений сводится к очередному безликому сериалу. Однако, по моему субъективному мнению, в начале XXI века, когда экономические достижения России были еще весьма сомнительными, интерес к культурным событиям был более живым как у самих масс, так и у обслуживающих эти массы средств массовой информации.

В этот период, в 2001 году, по нашей с Вадимом Михайлиным инициативе, при Саратовском государственном университете быт открыт междисциплинарный научный семинар «Пространственно-магистические аспекты культуры». Основной задачей на то время виделась обкатка ряда разработанных Вадимом Михайлиным гипотез, тематически относящихся к области культурной антропологии, а по доминирующему материалу – к филологии. Не вдаваясь в подробности, скажу, что основная идея, вокруг которой выстраиваются конкретные исследования, состоит в привязке культурных кодов (текстуальных или визуальных образов), регламентирующих человеческое поведение, к определенным зонам конкретного пространства. Последнее соответственно разделяется на сакральный центр, буферную зону и периферию. Звучит просто, но на материале конкретных культур эта нехитрая схема дает крайне любопытные результаты. Например, она позволяет уверенно решить множество проблем, связанных с интерпретацией тех или иных поведенческих практик, описанных в текстах, круг которых предельно широк: от «Илиады» или «Законов Ману» и до произведений современной художественной литературы. Но это еще не все, поскольку так же, как литературный текст, мы можем интерпретировать практически любую группу связанных между собой изображений. А это открывает поистине безграничные возможности для научной интерпретации практически любого культурного материала.

Гипотезы нуждались в апробации; мы – в разумной и способной к продуктивному диалогу аудитории. Помимо этого мы могли решить следующие проблемы: во-первых, «вводя в научный оборот новую методологию со специфическим осмыслением ряда понятий и терминов, мы планировали в течение ближайшей пары лет создать – пусть камерную – но академическую среду, в которой не придется всякий раз заново обосновывать наши базовые положения»[1], и, во-вторых, избавить себя от части интеллектуальной и технической работы, не связанной с разработкой стратегических направлений деятельности семинара. Практически в это же время нами была образована весьма своеобразная структура – «Лаборатория исторической, социальной и культурной антропологии» (сокращенно – «ЛИСКА»), – позволившая перевести наши кулуарные посиделки в режим легальных периодических мероприятий. Понятие «легальных» в данном контексте не должно никого смущать, поскольку то, что реально происходит на семинарах, не

имеет никакого отношения к скучным и порой малопонятным академическим штудиям. Скорее, это реальная интеллектуальная жизнь, интенсивности и результативности которой может позавидовать любое научное сообщество.

Первым весомым результатом совместного творчества стало появление коллективной монографии «Власть. Судьба. Интерпретация культурных кодов»[2], к моменту опубликования которой постоянными авторами и членами семинара стали Ольга Фомичева и Екатерина Решетникова, а также московские исследователи и классные переводчики Ирина Ковалева и Антон Нестеров. Постепенно круг авторов расширился настолько, что в работе семинара время от времени стали принимать участие не только иногородние, но и иностранные исследователи. «Иностранные» означает здесь не представителей бывших республик СССР (как это принято в настоящее время, на плохих конференциях), но именно граждан других, прежде всего, европейских стран: Германии, Испании, Франции. В связи с выходом семинара на международный уровень назрела необходимость в проведении, по меньшей мере, одной ежегодной итоговой конференции, рамки которой позволили бы объединить усилия различных исследовательских групп и уложить наработанный ими материал в русло развиваемой на семинаре методологии.

Так появились «Пирровы чтения», названные так не в честь печально известного полководца, но в честь не менее известной героини греческой мифологии Пирры, по преданию создавшей вместе со своим мужем Девкалионом первых людей. Структура чтений отразила два доминирующих направления деятельности семинара, и до настоящего времени включает в себя две части: литературно-поэтические чтения и собственно научную конференцию. Соответственно меняется и состав участников-слушателей. К примеру, на пятых «Пирровых чтениях» (2007 год) первый день собрал, в основном, студенческую аудиторию, преимущественно состоящую из воспитанников кафедры культурологии СГТУ (случается, что культурологи интересуются культурой, а филологи – литературой). «На второй день состав аудитории значительно изменился. Студентов заметно поубавилось, их место заняли преподаватели из СГУ и ПАГС и даже представители бизнеса, активно интересующиеся научной и культурной жизнью города»[3].

В итоге за шесть лет существования семинара было выпущено шесть коллективных монографий, содержание которых в полной мере отражает магистральные направления деятельности его участников. На настоящее время «костяк» лаборатории сложился, и искомая интеллектуальная среда в целом сформирована. Что дальше? С одной стороны, расширение международных связей, с другой – дальнейшее закрепление на местной почве, возможно, посредством интенсификации литературной деятельности. Короче, как всякое однажды начатое шоу, семинар продолжается, и я приглашаю всех здравомыслящих гуманитариев принять в нем участие. Вход, по-прежнему, свободный.

Пишите:
si_trounev@mail.ru
vmikhailin@yandex.ru

[1] Михайлин В. Несколько замечаний о внеинституциональных формах научного общения // Новое литературное обозрение. № 59 (1). 2003. С. 488.

[2] Власть. Судьба. Интерпретация культурных кодов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та., 2003.

[3] Пригожин И. Пирр во время чумы // Саратовские губернские ведомости. № 4 от 4 июня 2007 года. С. 15.

Алексей ВЕРНИЦКИЙ

Мы научили русских поэтов считать слоги

1. Танкетки – успешная силлабика

Русская поэзия находится в поиске новых форм. Эту короткую фразу необходимо прокомментировать, чтобы не возникло недоразумений. То, что поэзия находится в поиске – это объективный процесс; никто лично не отвечает за это творческое волнение, и никто не в состоянии его остановить или предотвратить. Однако, как я сказал, поэзия находится в поиске **новых форм**, и здесь есть место для личного творчества и для личной ответственности поэтов. Хотим ли мы, чтобы поэзия принимала новые формы, или стала аморфной, бесформенной? Хотим ли мы, чтобы новые формы развивались на основе существующей поэтической культуры, или стихийно, хаотично?

Каждый самостоятельно отвечает на эти вопросы. Что касается меня, несколько лет назад я начал работу по возвращению и внедрению силлабических форм в русскую поэзию. Некоторые из предложенных мной силлабических форм были с энтузиазмом приняты поэтической общественностью; другие еще ждут своего часа. Наиболее успешной из придуманных мной форм являются танкетки. В этой статье я хочу кратко поговорить о русской силлабике и, в особенности, о танкетках[1].

В период начиная примерно с 1750-х годов в русской поэзии господствует силлабо-тоническое стихосложение, со всеми своими достоинствами и недостатками. До этого российская поэзия была силлабической. Силлабические формы отличаются от силлабо-тонических тем, что не предписывают, как должны располагаться в строках ударения в словах. Можно было бы неосторожно сказать, что силлабические формы **игнорируют** ударения в словах, но это было бы не вполне верно, поскольку из-за свободного расположения в силлабических формах ударения даже более заметны, чем в силлабо-тонических.

К сожалению, у современного русского читателя есть проблемы с чтением силлабических стихов. Вначале он прочитывает весь текст, не пытаясь считать слоги, просто как верлибр, а затем читает во второй раз, медленно и загибая пальцы, чтобы убедиться, что слогов в строке именно 11 (или 5, или 7, или 13 – в зависимости от формы). Необходимость сознательного подсчета слогов разрушает поэтическое впечатление, и я понял, что нужно добиться того, чтобы все аспекты формы стиха – в частности, число слогов – были такими, чтобы читатель мог проверить их, не считая специально, бессознательно и без напряжения, при первом чтении.

Как можно писать силлабические стихи по-русски так, чтобы слоги в строках было легко сосчитать? Ответ таков: слогов в строке должно быть четыре или меньше. Дело в том, что русские авторы и читатели натренированы в написании и чтении силлабо-тонических текстов, и поэтому они легко могут опознать любой отрезок речи длиной не более четырех слогов как стопу силлабо-тонического размера: два слога как стопу хорея или ямба, три слога как стопу дактиля, амфибрахия или анапеста, четыре слога как стопу пеона[2].

Руководствуясь этими соображениями, а также рядом других[3], я изобрел танкетку. Танкетка – это стихотворение из шести слогов, разбитых на две строки по схеме 3+3 или 2+4. В танкетке запрещены знаки препинания и должно быть не больше пяти слов.

Танкетка впервые пришла в Интернет, на сайт «Сетевая словесность» в начале 2003-го года и прижилась там. Я хочу поблагодарить многих людей, которые способствовали успеху этой формы, в особенности Георгия Жердева, который вместе со мной постоянно следит за сайтом танке-

ток в рамках «Сетевой словесности»[4]. Помимо Интернета, танкетки и статьи о них неоднократно публиковались в разных журналах, а недавно случилось радостное для «танкетчиков» событие: вышел коллективный сборник танкеток[5].

Отмечая пятилетие танкеток и выход сборника, мы публикуем в журнале «Волга» подборку новых танкеток разных авторов.

2. Танкетки как жанр

Согласно определению танкетки, данному выше, в танкетке необычно мало слогов в каждой строке. Кроме того, для узнаваемости формы и для того, чтобы была возможность подсчитать суммарное число слогов в строках, в танкетке мало строк – всего две. Из-за этих особенностей танкетки являются краткой стихотворной формой – настолько краткой, что все поэтические приемы в танкетках используются авторами танкеток совсем не так, как в «обычных» стихах, и создают не такое впечатление у читателя, как «усредненная» поэзия. В силу этого можно утверждать, что на сегодняшний танкетки являются не только стихотворной **формой**, но и поэтическим **жанром**. В этой части статьи я хочу продемонстрировать эту мысль на трех примерах. Хочу оговориться, что для этого я специально выберу танкетки, в которых приемы, используемые в танкетках, проявляются наиболее отчетливо, и поэтому эти три танкетки могут показаться некоторым читателям несколько схематическими или даже вызывающими.

Начнем с нашумевшей танкетки Валерия Прокошина:

Икона
три в одном

Казалось бы, в этом тексте нет ничего необычного. Выражение «три в одном» по отношению к Троице неоднократно употребляется в православных текстах. Однако когда в танкетке это выражение выделено в отдельную строку, оно напоминает читателю не только о Троице, но и о рекламном новоязе. Таким образом, поэт приглашает нас взглянуть на современное состояние общества, в котором соседствуют православные и капиталистические ценности. Более того, предупреждает нас поэт, существует опасность подмены духовных ценностей мирскими: недаром в первой строке стоит не слово «Троица», а слово «икона», то есть нечто материальное, чему можно назначать цену.

Таким образом, танкетка превращается в короткую притчу, напоминающую нам о каких-то животрепещущих аспектах современности. В этой своей функции танкетка отличается от других стихотворных форм и приближается к такому жанру, как анекдот – с той разницей, что танкетка далеко не всегда смешна. Это же мы увидим в двух следующих примерах. Вот моя танкетка:

нёндро
дротаверин

Начнем с разбора этого текста по словам. Нёндро – это вид религиозной практики для начинающих, состоящий, в основном, из многократно повторяемых поклонов и молитв. Дротаверин – обезболивающее средство, известное также под названием «но-шпа». Итак, вместе получается «религиозная практика – обезболивающее», или, если вспомнить Маркса, «религия – опиум народа». Читателю самому предоставляется решать, какой русский язык ему больше нравится – девятнадцатого века, на котором можно сказать «религия – опиум», или двадцать первого века, на котором можно сказать «нёндро – дротаверин».

В предыдущей танкетке строки не только сопоставляются по смыслу, но и сближены по звучанию. Следующая танкетка является примером того, как созвучия в танкетках доводятся до предела. Это танкетка Николая Редькина:

в сексе
все ксероксы

Эту танкетку можно понять так, что дети похожи на родителей, как ксерокопия на оригинал. Однако о сходстве детей и родителей говорит не только содержание, но и форма танкетки. Начало второй строки почти буквально совпадает с первой («в сексе» – «все ксе»), но кроме того, оставшаяся часть второй строки («роксы») тоже созвучна первой строке. Если считать, что вторая строка происходит от первой, то есть находится с первой в отношении дети-родители, нельзя не подумать, что описанное созвучие строк символически выражает, что детей больше, чем родителей, и дети похожи (но не стопроцентно похожи) на родителей.

Однако в этой танкетке есть и другой уровень. Почему поэт задумался именно о ксероксах, а не о каких-либо других процессах воспроизведения? Мне кажется, что он хотел намекнуть на офисную обстановку и сказать, что даже в своих самых личных и интимных проявлениях современный человек настолько же механистичен, однообразен и похож на других, как в своих действиях у себя на работе, в офисе. Эта механистичность современного офиса и современной спальни выражается в однообразном звучании танкетки («в сексе» – «все ксе» – «роксы»).

3. Возможна ли силлабика вне танкеток?

Во последней части статьи я хочу немного поговорить о том, как можно возродить русскую силлабику вне танкеток. Как я уже сказал, интуитивный подсчет слогов в строке возможен только при длине строки до четырех слогов. Подсчет слогов в более длинных строках невозможен; в частности, из-за этого русские хокку, которые, в идеале, должны быть написаны по схеме 5+7+5, постоянно «расплываются», становясь просто трехстишием. Между тем решение существует. Русские хокку тяготеют к дактилическому ритму, то есть каждая строка часто (хотя не всегда) звучит как дактиль, например:

Даже в июне
Нынче уже не найдешь
Неба как раньше.

Секрет состоит в том, что при наличии доминирующего размера следует читать любые тексты этой формы в этом размере, сдвигая ударения в словах там, где ударения в словах конфликтуют с размером. Например (я расставил ударения в тех словах, где ударение должно сдвинуться):

Как совершенны
Кру́ги от капель в лужа́х!
Это надолго.

Если читатель приучится читать хокку в дактилическом ритме, то в большинстве хокку ему либо не придется сдвигать ударения вообще (поскольку, как я сказал, дактиль в хокку доминирует), либо придется сдвинуть ударение в двух-трех словах. Есть ли у такого способа чтения минусы? Есть: некоторые слова приобретают «диалектное» ударение. Однако плюсы такого способа чтения перевешивают: наложив на хокку размер, читатель может непосредственно услышать, что длина каждой строки именно такова, как предписывается правилами хокку, а именно, 5+7+5.

Можно ли развить эту идею, обобщив ее на более длинные тексты? Можно, и даже нужно, и об этом я недавно подробно писал[6]. Поскольку доминирующим, «затверженным» размером в русской поэзии является ямб, следует писать силлабические стихи, ориентированные на чтение ямбом. Вот, для примера, мое недавнее силлабическое стихотворение, предназначенное для чтения ямбом. Оно хорошо иллюстрирует, какие новые звуковые и композиционные возможнос-

ти открываются перед силлабикой, ориентированной на ямб, по сравнению с силлабо-тоникой, написанной ямбом. Как выше в хокку, я расставил ударения в тех словах, где ударение должно сдвинуться. (Следует, вероятно, пояснить, что речь в этом стихотворении идет о Екатеринбурге, где День города отмечается в августе.)

Мы ходили́ на День горо́да,
И я вспомни́л День города́
Девяносто́ восьмого года,
Зане много́е как тогда.

Гуляли люди, довольны́е
Последними́ днями́ лета́.
Стояли банки, стабильны́е
За неделю́ до дефолта́.

* * *

Вот подборка танкеток из присланных на наш сайт в последние полгода. Имя каждого автора – под его танкетками.

сила
силлабики

склонил
склонировал

уши
на том стою

маски
и отмазки

у Бога
френдов нет

горшки
божественны

герань
в краниуме

йогу ртуть
как йогурт

(Алексей Верницкий)

либидо
в отпуске

(Виктор Ключников)

метро
всех развезло

шёпот
будильницы

острый взгляд
сквозь зубы

деньги зло
зла не хва

(Владимир Ерошин)

после нас
снова мы

хлопнул
одной левой

в Аиде
нашли нефть
Господи
скачай нас

гонки на
ковчегах

небо
однодневка

(Роман Савоста)

по ком
хрустит попкорн

виагра
поиграть

чел челу
брателло

любовь
покурили

вся Русь
Подмосковье

либидо
иль не быть

любовь
в четыре ру

(Георгий Жердев)

деньги
нет главное

(Георгий Циплаков)

я больше
не будду

всем всего
мне его

боюсь
глаза в бревне

(Наталья Выборная)

пешеход
на тот свет

Нева
не вариант

теперь я
те перья

впали
в палиндромы

давно ли
да в ноли

кролики
мех и грех

пистолет
тело спит

(Николай Редькин)

погода
снег со сном

(Ольга Бирман)

поэт
стоит ессы

(Александр Корамыслов)

мешок
шило вопли

(Евгения Кулакова)

Дракон
и порядок

(Сергей Сутулов-Катеринич)

---

[1] Также хочу отослать читателя к другим моим статьям о форме в современной поэзии, в частности, к недавней статье «Наш фронт: между прозой и формой» в журнале «Топос», ссылка http://www.topos.ru/article/6428

[2] Подобные рассуждения впервые были приведены мной в статье «Танкетки, или Что идет после убещур?» в журнале «Футурум АРТ», ссылка http://www.futurum-art.ru/biblioteka/tanketki.htm

[3] Отсылаю читателя к моим статьям «Пойманный выдох» в журнале «Арион», ссылка http://magazines.russ.ru/arion/2007/1/ve21.html и к другим моим статьям о танкетках.

[4] Сайт танкеток находится по адресу http://26.netslova.ru

[5] Танкетки. Теперь на бумаге: Антология. / Сост. А.Верницкий. – М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008. Информация о книге есть здесь: http://26.netslova.ru/Book

[6] Статья «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» в журнале «Воздух», 2008, №2, в Интернете появится позднее.

Олег РОГОВ

Сны с открытыми глазами

Михаил Окунь. Ураган Фомич. Рассказы и повести. – Гельзенкирхен, 2008.

Вышедшая в Германии книга рассказов и повестей питерского литератора объединяет произведения, созданные за последние 15 лет. Тексты, появившиеся в «Неве», «Урале», «Urbi» и «Волге–XXI век», собраны под тонкую обложку книги, чей формат повторяет российский толстый журнал.

Германия традиционно благоволит к русским литераторам, решившим переместиться на ее просторы. Дело, наверное, не только в относительно близком расстоянии от родных осин/березок, но и в своего рода энергетическом поле «русской Германии», которое успело сформироваться на протяжении прошлого века, от изгнанников советской эпохи до переселенцев нынешних дней.

Проза Михаила Окуня продолжает традиции питерских малых форм, первое имя, приходящее на ум в этой связи – автор предисловия, Валерий Попов (которому, заметим, повезло больше, чем его московскому однофамильцу, Евгению Попову, – до перестройки у него не вышло ни одной книги, и рассказы так и остались рассыпаны по журналам). Погруженность в быт, ироническая дистанция, такие понятные и в то же время абсурдные на поверку, поступки персонажей – все это формировало для читателя чуть подправленный по отношению к заоконной реальности некий привычный и родной универсум, в котором, несмотря на его дискомфортность, все же можно было жить, отгородившись от назойливого и бездарного официоза.

Валерий Попов находит очень точное определение внутреннего содержания этой книги, которое и диктует ей адекватную форму – «Декамерон». «С помощью этого «ключа», – пишет Попов, – выходишь на самую тесную близость – не только физическую, но и духовную. После «открывания этим ключом» ни герою, ни героине вроде бы уже нечего утаивать – происшедшее между ними наводит на самую отчаянную откровенность».

Разлитая по страницам рассказов Окуня эротика (а его рассказы входили в сборники «Петербургская эротическая проза» и «Современная эротическая проза») застывает в странных и причудливых формах, пойманных в момент движения и остановленных в графике Дмитрия Акимова и Николая Аржанова, проиллюстрировавших книгу. Потерянный и неприкаянный герой встречает на своем – столь же извилистом, сколь и бесцельном – пути временных подруг. Ясно, что он, хоть и плейбой, но взыскует-то идеала, а откуда ж ему взяться? Вот и заглядывает он под маски, ожидая найти то ли мать, то ли Вечную Женственность в эпоху, когда секс стал не только десакрализован в реале, но и вполне литературно проговариваем.

Перед читателем проходит вереница недолгих подруг. Андрогины, лесбиянки, роковые женщины, горожанки, выпадающие из постылого социума только в коротком вихре любовных историй, нащупывающие задавленное «я» лишь в сексуальных приключениях. Одна, другая, пятая, двадцатая, они мелькают, как столбы за окном поезда, который то замедляет ход, то вновь набирает скорость.

Еще один литературный памятник, к которому четко отсылает книга – бунинские «Темные аллеи». Мощный прилив эротики, в свое время подпитавший классическую русскую прозу, неизбежно довлеет над авторами, работающими в той же тематике. Недаром упоминание этого цикла возникает и в стихах Окуня:

«Темные аллеи»
Только сетка ограды, да голые крыши,
Да железный кустарник в начале зимы –
Вот пейзаж для того, кто любви не услышал,
И сидит, заслонясь от тюрьмы и сумы.
Поддаваясь простительной слабости мигу,
Сизой водки «Рахманинофф» стопку налей.
Ты уже в сотый раз дочитал эту книгу,
Ничего не осталось от темных аллей.

Любопытно сравнить подобную прозу с традиционной киношной порнографией: насколько жалок этот жанр, имеющий разве что прикладное применение, и насколько значимой становится сугубо сексуальная линия в литературе, когда неизменный и предсказуемый акт обрастает приметами времени и места и лишь отчетливее проявляет их, работая, собственно, сквозным мотивом. У Окуня он обрастает мехом быта и шелухой неустроенности, поиском какого-то последнего невыговариваемого смысла, который маскируется под интрижку или анонимный трах.

Другой вектор прозы Окуня – истории, микросюжеты, преимущественно декорированные разновременным Питером. Их кажущаяся непритязательность – с нарастанием объема – обнажает очень пронзительные и острые моменты, которые и отбираются, собственно, памятью. Алкоголь, забавные или горестные сюжеты, персонажи-аутсайдеры, копошение жизни, вдруг взрывающееся в какой-то узловой точке, чтобы потом снова замереть, затихнуть и продолжаться за пределами последней строчки в прежнем полубытии, лишенном участливого взгляда сквозь увеличительное стекло текста.

«Я сны не отличал от прозы», – написал Михаил Окунь в одном из своих стихотворений. Но это сны с открытыми глазами, когда лишь недолгое, но яркое осознание фиксирует реальность и снова отпускает ее в родимый мрак повседневности.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Блуждающий автобус

Алексей Слаповский. Пересуд: Роман - М.: Эксмо, 2008

Новый роман Слаповского, на первый взгляд представляющий для читателей вполне образец жанра, по-голливудски щедро приправлен экшеном и не особо замаскированными намеками на «героев нашего времени». Сделано это так явно, что читателю ничего другого не остается, как с головой уйти в переживания пассажиров маршрута «Москва-Сарайск», захваченных сбежавшими бандитами, проглотив вместе с наживкой неизбежные для такого рода схем карнавальную гротесковость характеров, ситуационность повествования и моралите.

Но все-таки «Пересуд» больше хочет казаться триллером – вполне уважаемое, кстати, желание, – чем он есть на самом деле. Не так давно на вопрос интервьюера из журнала «Афиша» «Чего вам не хватает в русской *(современной – А.А.)* литературе» Слаповский немедленно ответил: людей и идей. Мне кажется, что именно в таком порядке эти два основных ингредиента и объясняют притягательность прозы А.С. Причем ясно, что рецепт далеко не новый, но удачно адаптирован автором для современников.

Итак, междугородний автобус, конечный пункт маршрута которого – все тот же Сарайск, Йокнапатофа Слаповского, которого с Фолкнером в прозе роднит пожалуй что только разгул страстей и гражданский пафос южанина. Но в этот раз Сарайск так и останется недостижимой точкой в путешествии, автобус-ковчег туда не доплывет. И не только потому, что в сюжет вмешиваются уголовники, а в большей степени из-за того, что каждый «виновен, но невменяем». Две строчки из стихотворения Тимура Кибирова, взятые в качестве эпиграфа, очень жестко задают не только обвинительный тон, но и правила, по которым следует читать роман. Не секрет, что читатель обычно ассоциирует героя произведения с автором с той или иной долей условности. Но здесь, во-первых, полноправных героев много – двадцать три, это если не считать милицию. Во-вторых, в результате оказываются виноватыми все, и среди них вряд ли можно отыскать альтер эго писателя, и видимо еще и поэтому автор отказывает своим героям в достижении цели путешествия. Ну нет им места на их пути, где их ждут хотя бы покой и воля. Наоборот, желание остановиться громко высказывается чуть ли не всеми персонажами постоянно.

Вообще затеянный уголовниками пересуд, театрализованные диалоги «Ваня против Сталина», опять-таки маньяк и олигарх, под масками которых угадываются известные лица нашей новейшей истории – эти приемы сейчас очень даже на слуху. Если не слишком далеко

ходить, свежая переделка фильма «Двенадцать разгневанных мужчин», например, не находите совпадений? Мне же больше вспоминается роман другого американского классика – «Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека, но взятый в зеркальном отражении. У Слаповского пассажиры «раскачивают» автобус, чуть ли не переворачивают его, у Стейнбека общими усилиями выводят на дорогу. И, конечно, в «Пересуде» никакого единения в финале не предвидится, короткими фразами дана только сухая статистика, словно списанная из милицейского протокола: столько-то умерло, столько-то ранено, остальные не пострадали.

Получается все-таки, что именно в этом романе для автора идеи важнее людей, которые зачастую просто выступают их носителями. Поэтому мне интереснее было читать не описание действа – его в романе с избытком, но внутренние монологи персонажей, объясняющие их логику, прежде всего логику их появления в романе. Есть и причины их исчезновения, но тут уж читатель должен для себя решить сам, почему в живых оставлен тот или другой герой.

В этом смысле «Пересуд» – вовсе никакой не триллер и не экшн, а самый настоящий роман. И, пусть это звучит немного странно после всех попыток жанровой прописки, роман этот – русский. Вот, к примеру, Артем, молодой напарник водителя Козырева, ведь именно он предлагает перевернуть автобус и пытается оказать сопротивление бандитам. И в тоже время он, несомненно наиболее деятельный и положительный персонаж, проспавший половину дороги, а значит и событий, на лежаке – вполне современный вариант Ильи Муромца. Жаль только, что терпящий поражение вариант.

Сергей ТРУНЕВ

Найди десять отличий

Другой берег: Литературно-художественный альманах. №№1, 2, 2008. – Энгельс-Покровск; издается еженедельником «Новая газета» (Энгельс) и Клубом покровских гениев.

Во-первых, я узнал о том, что в наших, точнее, соседних пенатах существует «Клуб покровских гениев». Не знаю точно, но мне кажется, что это вроде «поколения индиго», представители которого есть, видимо, в любом городе: Покровске, Рязани, Волгограде... Но – завораживает. Как и откровенный пиар, до уровня которого саратовцам как до Китая всеми известными способами передвижения. Не поленюсь, процитирую: «Свыше 4000 лет назад здесь жили арийские племена, потом киммерийцы, савроматы, сарматы, гунны, печенеги, половцы, монголо-татары, калмыки. Здесь находились торг (ярмарка) и летняя ставка калмыцкого хана, то есть уже в средние века эти места имели столичный статус. (...) Именно в районе нынешнего Энгельса был основан город Саратов, который в 1674 году перенесли на правый берег Волги». Вот она, сладкая гордость первородства... Приятно радует и даже вызывает зависть наличие в литературной жизни Энгельса-Покровска литературных конкурсов, очевидно, дающих возможность авторам зрелым – не расслабляться, а молодым – почувствовать себя «в обойме». Однако ближе к текстам.

№ 1. Проза. Открывает номер рассказ А. Васильева «Покровский ковчег». Много полезных наблюдений, о которых, в общем, догадывался, но как-то не решался озвучить, типа: «Бегает по двору человечья мелкота (в смысле, *дети*? – С.Т.), гадит, где ни попадя; куры какают, козы сыплют, лошади и верблюды кладут». А в целом, хорошо, брутально и до боли узнаваемо. Далее в порядке очередности следуют повесть А. Бурмистрова и серия рассказов (А. Бурмистров, А. Васильев, М. Головченко, Д. Маркелов, Х. Назаретян, Е. Троянская, Е. Харитонов, С. Хоружая, Ю. Шпаков), поданных на конкурс «Между нами, покровчанами». Описывающих те же отнюдь не столичные реалии из жизни колхозников, рабочих, шоферов, маргиналов и алкоголиков всех мастей. Те же наивные попытки классифицировать разнородный жизненный материал в рассказе А. Васильева «Запах сирени»: «У одной – попа круглая, у другой ноги длинные, у третьей грудь пышная, у четвертой – волосы густые, рыжие, до середины спины (в смысле, *шерсть*? – С.Т.)».

Поэзия. Е. Троянская: доминируют игривая рабоче-крестьянская любовь на мотив «эх, хвост, чешуя» и лирика, так же исполненная нехитрых наблюдений: «Пришла весна. Знать, скоро лето,// И грудь настроилась на вдох.// Дышать – хорошая примета,// Покуда ты еще не сдох». А. Тульский: стихи неровные, с претензией на этакое... столичное. Короче, странно смотрится творчество указанных поэтов после стихов Н. Федорова. Его стихи простые и безо всяких претензий, временами напоминают пейзажную и прочую лирику всех времен и народов, а временами действительно, цепляют за живое. Скромненько, но от души.

№ 2. Проза: Н. Троянская, А. Бурмистров, А. Баландин, М. Максимова, Д. Маслов. Нетривиальным названием – «Записки сумасшедшего» – сразу выделяется рассказ Е. Харитонова. Совокупное содержание – смесь бытовухи, чернухи и порнухи в разных пропорциях. Читать – как смотреть художественные фильмы излета Союза, типа «Маленькой Веры», на любителя. Точнее: над констатацией того, что все плохо, витает смутно осознаваемое ощущение, что скоро это «все» будет еще хуже. Проза А. Баландина видится в этом представительном ряду апофеозом оптимизма, ибо органично сочетается с авторскими же стихотворными вставками: *«Гимн в честь дерьма! Послушаем его! / Гимн в честь дерьма! прекрасно! браво! браво!»* Инновационно и креативно. В этом контексте, равно как и без оного, рассказы И. Левашова под общим заголовком «Салат оливье» кажутся явлением естественным, искренним. Как почесать подмышкой или еще где, если действительно чешется. И в этом, на мой взгляд, состоит их неизгладимая прелесть.

Поэзия. О представленной в этом номере поэзии хочется написать так, как писал о социалистическом реализме Е. Добренко, т. е. как о едином, по большому счету провинциальном, течении. Где один текст от другого отличает разве что фамилия автора. Оговорюсь: методология Е. Добренко не применима к стихам В. Шнитке (его стихи по-настоящему красивые и живые), но вполне уместна в отношении работ участников Литературного конкурса памяти братьев Шнитке. Исключения здесь составляют, пожалуй, стихи Е. Борзых и Е. Калякиной, более зрелые, в лучших строках несущие на себе следы авторской работы.

Вообще, на мой взгляд, оба номера вытягивают мощные «исторические» блоки: **№ 1** – Б. Пильняк, П. Рау, Г. Мишин, Г. Вяз, Л. Иванов; **№ 2** – В. Шнитке. Маленький нюанс: все указанные произведения перепечатаны из других (*более качественных? менее амбициозных?*) изданий. Описывать содержание в данном случае бессмысленно, надо читать, учиться и хоть какой-то оптимизм культивировать. В противном случае сквозные темы дальнейших номеров альманаха по-прежнему будут укладываться в список, озвученный А. Тульским: «В России вечные проблемы: / монголы, голод, демократ; / кто жопу рвет, кто режет вены, / иные с чувством говорят». То, что пропагандируемая установка «Другого берега» на раскрутку новых имен провальная, на мой взгляд, не подлежит сомнению: если наиболее качественные произведения отыскиваются в рубрике «Литературное наследие», а вызванный альманахом резонанс, в лучшем случае, ограничивается междусобойчиком в паре городов Поволжского Федерального, то о статусе профессионального литературного журнала можно пока забыть. Дай бог, чтобы другой берег и далее не остался левым (не волжским, а вообще).

Николай АРЖАНОВ

64 страницы полета

Дирижабль: литературный иллюстрированный альманах. Выпуск XIII. Terra финно-угрия. – Нижний Новгород, 2008.

Деревянные тротуары, крепкие избы с двумя крылечками – на улицу и во двор; крашенный серебрянкой Ленин на непомерно большом пьедестале, и в овраге, в чьем-то огороде, между картошкой и капустой – бюст Сталина: плечи и воротник покрыты бронзовой краской, под золото, голова масляной охрой, какой полы красят, глаза голубые, отколотый кусок затылка залеплен цементом. Заросли цикория по дороге к речке. Картинка, пролежавшая в памяти 25 лет, всплыла, разбуженная несколь-

кими ключевыми для меня словами. Речка Алатырь, музей Эрьзя, дерево, лес, почему-то цикорий, как будто он в других местах не растет. Мордовия.

Завораживают, очаровывают, вызывают духов и личные ассоциации, шаманят и колдуют авторы «Дирижабля». Заявившее о себе в начале 90-х (первый номер вышел в 1991 году, объединились молодые литераторы и художники годом раньше), издание явно выделялось (и выделяется) в общем ряду. Прежде всего – широтой: альманах сам создает «направление», он не связан жанровыми, стилистическими, и, тем более, географическими рамками, не похож он и на одноразовый проект, созданный под ту или иную «идею», но имеет достаточно целостную и четко видимую концепцию. Редакция (главный редактор Евгений Стрелков, он же определяет и дизайн издания, но об этом ниже) обозначает ее как «...свободное и, отчасти, непредсказуемое автономное движение в инородной среде... метафизический прорыв пространства – подобно тому, как дырка в плоскости выводит в пространство, трехмерная полость Дирижабля выводит в четвертое измерение, порождает у авторов многочисленные ассоциации и, более того, предоставляет им новую конфигурацию методов художественного познания Мира». Чутье и вкус создателей «Дирижабля», собравшего «Круг единомышленников... расширяющих собственное творческое пространство и формирующих, таким образом, некую общую метафизическую территорию» (цитирую по заглавной странице интернет-версии издания), позволяют из номера в номер сплавлять из разно- и внежанровых, сильно отличающихся между собой по стилю и уровню, даже принадлежащих к разным видам искусства материалов некое целое.

Целое не только в литературном, текстовом плане: определение «иллюстрированный» неприменимо к последним выпускам альманаха, оно устарело, хотя и присутствует на титульном листе, но на обложке заменено на «альманах-альбом». На мой взгляд, и альбомом издание нельзя назвать, скорее это синтетическое произведение книжного искусства, сродни арт-объекту.

Дизайн: впрочем, и слово дизайн не вполне точно, «дизайн», «иллюстрированный» предполагают оформление текста графическим материалом, здесь же визуальный ряд несет самостоятельную, может быть даже большую информационную нагрузку, но при этом плотно «спаян» с текстом; да и собственно арт-проектам отводится немало места. В справке об авторах слово «художник» встречается постоянно. Постоянные авторы: художник Леонид Тишков (Москва), художник Андрей Суздалев, а творчество Е. Стрелкова не очень-то поддается расчленению на литературную и художественную составляющие. Чем и объясняется внимание к визуальной стороне издания. Причем художники, почти все, связаны с актуальным искусством, а актуальное искусство неотделимо от современных медиа-технологий.

В Сети издание представлено прекрасно сделанным сайтом, www.dirizhabl.sandy.ru, сохраняющим дизайн альманаха и содержащим все материалы последних номеров. Качество исполнения позволяет говорить о сайте не как о дополнении, а как о равноправной составляющей всего литературно-художественного проекта.

С 2004 года (одиннадцатый выпуск) редакция сосредоточилась на освоении локальных культурно-географических пространств. Сначала «осмотрели» знакомое и близкое Поволжье, в 2005 году темой стала Франция. Новый номер: «terra финно-угрия».

Итак, альманах-альбом «Дирижабль», тринадцатый выпуск, 64 страницы + вклейка, дизайн: Е.Стрелков & студия «Дирижабль».

«...неспешно двигаясь в струях прозрачного воздуха...» (девиз альманаха), «Дирижабль» облетает всю территорию расселения финно-угорских народов, от Венгрии до Ханты-Мансийска. Рулевой здесь Денис Осокин, он же редактор выпуска, его поэтизированный перечень – не народов и народностей, а скорее впечатлений о них – открывает номер. Я не берусь комментировать, рецензировать и анализировать Осокина, предпочитаю его читать:

ХАНТЫ
если спросить у любого из старых ханты
– есть ли у
них родители? – они ответят: есть! –
но они умерли.

МУРОМА
в горбатове все говорят по-русски –
так странно.
в ворсме все говорят по-русски –
очень странно.
и в вачe – и в выксе – и в виле –
и в велетьме... даже
в муроме все говорят по-русски –
страннее некуда.
на оке говорят только по-русски –
как такое может быть?

Далее вахту принимает Сергей Завьялов, переводчик подборки современной финской поэзии и автор предисловия к ней. Девять молодых авторов, непривычная для русского уха интонация, в некотором роде экзотика. Стихотворение Аки Салмела «Рыба» (из книги «Поиграем в дом», 2005) проиллюстрировано (или, точнее, дополнено) графической работой Евгения Стрелкова, листом из его книги «Линия кефали» (2008) – этот разворот наряду с работой Андрея Суздалева «Пять импровизаций на тему регулярного парка» (2000), «привязанной» к стихотворению Вильи-Туулии Хуотаринен «Шанс» (из ее книги «Место женщины», 2007), подкупают прекрасно найденным единством графики и поэзии. Авторы и текстов и графики, в разное время и разными средствами взяли одну и ту же «ноту». Визуальный ряд Андрея Суздалева сопровождает стихотворения Марианны Куртто и Вилле-Юханни Сутинена; листы из его фото-книги «Птицы» на стихи Велимира Хлебникова, «приложенные» в номере к стихотворению Сильи Ярвентаусты (из книги «На матрасе через море»), обеспечивают плавность перехода к следующей публикации: очерку Леонида Тишкова «Петр Иванович Субботин-Пермяк – сын коми-народа, председатель Земного Шара и первый этнофутурист». Мне кажется, что именно любовь к футуристам определила нынешний облик «Дирижабля», единство текста и оформления – оттуда, из десятых-двадцатых годов. Футуристическую тему коротко и изящно продолжает Иван Миньо, сорок пять строк о портрете работы Веры Хлебниковой «Велимир в мордовской шапке». Текст упругий, выверено каждое слово. Кроме упомянутых, в тринадцатом выпуске еще две публикации на исторические темы, каждая по-своему интересна: авторы экскурса в глубину веков «Великая нерусская река» Игорь Харьковский и Георг Киппер предлагают альтернативный официально принятому взгляд на то, откуда есть пошла земля русская и финно-угорская, обзор периода от гуннов до семнадцатого века; «Вотский журнал» – составленный в 1898 году гимназистом из города Глазова Сергеем Чердынцевым рукописный сборник песен и кратких заметок о местных нравах, с рисунками автора, шесть фрагментов из него дают повод улыбнуться и призадуматься, к примеру, о происхождении некоторых форм современного искусства. Жаль только, что в альманах его включили, видимо, лишь в качестве визуального материала, а хотелось бы и комментариев (приводится лишь источник, отдел редких книг и рукописей ГАКО, г. Киров), да и еще несколько рисунков-заметок из него хотелось бы увидеть (приводятся пять бытовых сюжетов и один космогонический). Однако, зная пристрастие команды «Дирижабля» к мистификациям, начинаешь сомневаться в подлинности документа, уж очень выразительна пластика, уверенна рука...

Привычных этнографических материалов в «terra финно-угрия» нет, если не считать таковым рассуждение Александра Капернаумова «Мордва минус лес», но это – наименее удачная из пародий и мистификаций «Дирижабля»: тяжеловесные наукообразные фразы, вроде «силуэтный этноабрис компонуется из объектов живой природы и ландшафтных особенностей места, которые, в свою очередь...», здесь соседствуют с «лесоводным посохом», без которого не один «лесолюб» в лес не пойдет, и рецептом приготовления краски для ткани из слюны молодого зайца.

Политических и экономических обозрений в альманахе тоже не найти, не тот формат. Зато авторы слышат неуловимые мотивы, находят живое волшебство, передают дух места, открывают простор для ассоциаций – легко и изящно.

Проза номера компактна – короткий рассказ Елены Спириной «Кши арась», миниатюры Игоря Сорокина «Тайный народ», начало повести Валентина Кислицина «Лудмурты» – очень личная, на грани реальности, роман-

тичная. Звукопись Дениса Осокина («Небесные жены луговых мари» – отрывок из книги «Уржум») просто гипнотизирует. Тревожен лишь рассказ Сергея Тиханова «Весеннее обострение».

Стихи русскоязычных авторов, словно в поддержку финских стихотворцев, гораздо жестче прозы, определения «ностальгические», «романтические» и проч., применимые к прозе номера, здесь не работают.

Уже никуда не уехать
и нет никакого «прости»
поймешь воробья под застрехой
усталость спиной ощутив
(Сергей Трунев)

ты приварен к этому месту:
три радиомачты два трамвайных
кольца телевышка.
(Евгений Стрелков)

А вот отрывки из финской:

Всклокоченные деревья стоят вдоль
дороги.
Она гуляет в заболоченном парке и плачет
о людях,
которые никогда не сумеют полюбить друг
друга с одинаковой силой
и одновременно.
(Юули Ниеми)

Я шла в лес

это было на пересечении поездов и самолетов
между белыми анемонами и линялыми окурками
там росли кошки его окружали первичные
отложения
это происходило касательно мусорных баков
и асфальта
(Хенриикка Тави)

Контрасты настроений, игра на зрительных нервах читателя, мистификации...

Шестьдесят четыре страницы иного пространства, раскрепощенности и свободного полета.

Не все материалы «terra финно-угрия» равноценны, что-то, как водится, сильнее, кое-что и обругать бы надо – но не хочется, любовь, вложенная в издание, отбивает всякое желание придираться по мелочам и выискивать недостатки.

Олег РОГОВ

«Юность – это возмездие»

Алекс Май. Год «Т». История первой любви. Роман. – Москва: Издательство «Триумф», серия «Современный реализм», 2008.

Издательство «Триумф» выстрелило серией книг молодых авторов. Затея рискованная – с точки зрения коммерции, хотя капризы успеха не поддаются точному прогнозированию. Во всяком случае, одна книга точно вызовет интерес, так как была востребована еще в догутенберговском бытовании. Если раньше под этим понимался самиздат, то теперь, разумеется, Интернет.

«Год «Т» – книга хитрая, несмотря на кажущуюся простоту. В ней удачно совмещены, казалось бы, несмешиваемые и взаимнонерастворяемые жанровые и сюжетные «доли», взятые в нужных пропорциях. Это и любовная история на фоне политических перемен, это и «роман воспитания», причем не столько в общепринятом смысле, сколько в эзотерическом.

«Тот год был выпускным, до пресловутого «путча» оставалось около двух лет», – так начинается текст. Временные рамки заданы, мы, по крайней мере, знаем, что будет со страной, – но не с героями книги, человеческая судьба оказывается куда более непредсказуемой, нежели политическая история.

Герой стремительно взрослеет, на собственной шкуре ощущая стремительные перемены, встречает девушку, с которой его связывает не только любовь, но и глубокое внутреннее родство «посвященных». О своем даре, который ему придется растить, он по-настоящему узнает лишь после смерти любимой. Но это отнюдь не мелодрама, и не заунывная эзотерика. «Воспитание чувств», рефлексия – в смысле отражения, а отнюдь не осмысле-

ния исторических перемен, и мощный посыл внеконфессиональной духовности – как будто начало новой истории страны и наступление пресловутой Эры Водолея переплелись намертво в этой книге.

Это не просто рассказ о любви, это история разделения измененных состояний сознания, которые сближают гораздо сильнее и обреченнее, чем «просто любовь». Это учеба вглядывания в такую знакомую и уже замыленную, несмотря на всю свежесть чувств, реальность и распознавание в ней скрытых энергий и тайных токов. Ждешь, когда же автор свалится в какие-нибудь «чакры для начинающих» или селф-хелповский компот, но это отнюдь не происходит. Все идет своим чередом, почестному, тебе просто рассказывают, как все было на самом деле, и это «как» в своей подлинности куда более фантастично, чем любые астральные отчеты.

Автор – голос того поколения, чья юность пришлась на двусмысленную эпоху, обозначенную как «перестройка». Его безыскусной интонации безоговорочно доверяешь, недаром для повествования выбран разговорный стиль, как будто беседа ведется именно с тобой. Ловишь себя на включенности в игру – отвечая на заданные вопросы, прикидывая, куда вывезет сюжетная кривая повествования, петляющая между love story и освоением запредельных пространств, декорированных стихией неразгаданных энергий русского севера, с которыми можно взаимодействовать.

Роман этот вбирает в себя в очень коротком отрезке весь тот размазанный на десятилетия опыт – даже не свободы, а – освобождения, который западные сверстники героев «Года «Т», Саши и Тани, припанкованного музыканта и странной девушки, проходили десятилетиями, а тут он сжат в очень крепкий узел, ускорен и четко направлен к неизбежному и столь же горькому, сколь и просветленному финалу.

На фоне востребованной сегодня контркультурной прозы с ее рваной стилистикой и замкнутостью на стратовых заморочках гопников, клабберов или топ-менеджеров, «Год «Т» смотрится выигрышно в первую очередь из-за нежелания заискивать перед читателем и своей отстраненностью от собственно литературных игр.

Роман АРБИТМАН

Картонки и картинки

Умберто Эко. Таинственное пламя царицы Лоаны: Роман. – СПб: Симпозиум, 2008; Умберто Эко. Картонки Минервы: Заметки на спичечных коробках. – СПб: Симпозиум, 2008.

В Санкт-Петербурге переведены две новые книги Умберто Эко. И хотя одна из них объявлена романом, а другая относится к non fiction, эти сочинения не так уж разнятся меж собой.

Однако не будем забегать вперед. Начнем с романа, который уже успел засветиться в первых строчках российских рейтингов продаж: автора некогда культовых текстов наша интеллектуальная публика если и не читает, то уж безусловно почитает априори. Итак...

Очнувшись утром 25 апреля 1991 года, шестидесятилетний миланский букинист Джамбаттиста Бодони обнаруживает, что он... нет, не превратился в огромного таракана, как Грегор Замза из рассказа «Превращение», но потерял память. То есть он не разучился управляться с ложкой или водить машину, однако не узнает жену, детей, друзей, а из зеркала на него смотрит незнакомое лицо.

С этого начинается роман «Таинственное пламя царицы Лоаны».

Как известно, мозг – самая загадочная и самая неизученная деталь человеческого организма. До сих пор врачи не представляют в точности, какой отдел нашего мозга за что отвечает и где именно хранятся воспоминания. «Я вижу вещи, я знаю их названия, вот это магазины, это едет велосипед, а там деревья, – размышляет герой в самом начале книги, – но я не чувствую предметы... будто надел чужой пиджак». Врач объясняет: «Вы утратили не семантическую память, а эпизодическую, забыли события своей жизни. В общем, вам известно только то, что известно и другим».

В голове Бодони, таким образом, осталась лишь прочитанная им литература, и она чувствует себя вольготно. Некоторые страницы книги – один большой центон, раздолье постмодерниста. «Цитаты – мои единствен-

ные фонарики в тумане», – признается герой. Эти цитаты-цикады (Кафка, Сименон, Жюль Верн, Конан Дойл, Стивенсон, Диккенс, Данте, Бернс, Гомер, Чехов и др., и др.) стрекочут без умолку; Бодони и сам уже чувствует себя в лучшем случае литературным персонажем, чья жизнь придумана неизвестно кем, а в худшем – инопланетянином, который старается вжиться в чужую реальность. Чтобы вернуть память, герою надо возвратиться в дом своего детства: залезть на чердак, раскопать газетные подшивки, перелистать пыльные комиксы (книга Эко обильно иллюстрирована) – лишь так появится призрачный шанс обрести потерянное «я»...

Стоит герою залезть на чердак, как беллетристика почти полностью уходит из романа, уступая место иллюстрированным (в тексте много замечательно ярких картинок) воспоминаниям: в меньшей степени – о прожитом, в большей степени – о прочитанном в детские годы.

Мотив «ретроградной амнезии» – один из самых распространенных в современной культуре; на его основе строятся и «мыльные» сериалы, и серьезные литературные произведения. Умберто Эко сознательно выбирает этот мотив, чтобы помочь герою (во многом alter ego самого писателя) выстроить квазимемуары о своем детстве в фашистской Италии: то ли оно было, то ли домыслено, то ли придумано от начала до конца. Впрочем, то же самое можно сказать и о многих мемуарах, считающихся подлинными...

Если предыдущее произведение притворяется прозой, то сборник «Картонки Минервы: Заметки на спичечных коробках» жанрово адекватен сам себе. Каждый писатель, работающий еще и колумнистом в СМИ, может составить подобный том, и Умберто Эко – что совершенно естественно! – этой возможностью тоже не пренебрег.

С 1991 по 1999 год писатель вел колонку в миланском журнале «Экспрессо», и теперь эти колонки – благодаря переводчику Михаилу Визелю – доступны и русскоязычным читателям.

Какие же проблемы волновали европейскую знаменитость в последнее десятилетие XX века? О, самые разные, глобальные и локальные: смертная казнь (Эко не одобряет ее, ведь может пострадать и невиновный), современная миграция с юга на север (Эко смиряется с неизбежным), применение силы против Милошевича и Саддама (Эко признает необходимость этого шага, но с оговорками), наступление политкорректности (Эко отважно борется с перегибами оной), парадоксами privacy (Эко убежден, что «сегодня обычный человек не желает правайси»), перспектива исчезновения книг (Эко уверен, что никакие мультимедиа книгу не заменит, нет-нет!), искусство оскорбления оппонента (по мнению Эко, ныне оно утрачено) и др.

Одна из животрепещущих тем, затронутых Эко, – «Нужен ли нам на самом деле портрет личности, которой мы восхищаемся?» Автор уверен, что не нужно: интеллектуальным кумирам снимки не добавят достоинства. Мол, вряд ли кого-нибудь, например, впечатлит портрет седого длинноволосого дядечки с внешностью провинциального пьющего профессора, если не знать, что это – сам Альберт Эйнштейн. Воистину знание – страшная сила.

Кстати, если не знать, что автор текстов под обложкой «Картонок Минервы» – знаменитый создатель «Имени Розы» и «Маятника Фуко» (ну, например, по издательской оплошности имя-брэнд исчезло бы с обложки), можно было бы заподозрить в книге лишь собрание вяловатых банальностей вкупе с сиюминутными журналистскими откликами на позавчерашние новости.

От редакции:

В нашем предыдущем выпуске в эссе «Как я коллег Слаповским рассмешил» Сергей Боровиков высказал предложение: «... а что, если нам начать всякое-разное вспоминать из многолетней истории «Волги»? И вовсе не только штатным сотрудникам, но и авторам журнала, и несостоявшимся авторам, и обиженным, и даже чиновникам, причастным к выпуску «Волги», буде таковые найдутся, а?» Предложение, как оказалось, было принято.

Большой конверт с тонким письмом

В журнал «Волга» я послал свои рассказы в середине девяностых, когда мне казалось, что мою прозу уже никогда и нигде не опубликуют.

Жизнь писателей резко изменилась: еще несколько месяцев назад недавно мои книги стояли в планах издательства «Детская литература», «Современник» на 1991 год. В стадии редакционной подготовки находилась книга о подростках в «Молодой гвардии», был шанс издать сборник повестей в «Советском писателе»... И вдруг все обрушилось, издательства начали переходить на коммерческую основу, ни одной книги в Москве у меня так и не вышло.

После окончания Высших литературных курсов я несколько лет жил у родителей, в тесном домике с печным отоплением и без всяких удобств. Жили вшестером. Отец, несмотря на возраст, трудился в колхозе слесарем, мать разносила почту, жена работала фельдшером скорой помощи, старшая дочь ходила в седьмой класс, а я сидел вместо няньки с младшей дочкой Катей, ей было три года.

Перестроечная жизнь была всем в диковинку: крупа по талонам, водка тоже...

Я успевал с утра и печку угля подробить, и дочку одеть-накормить, и погулять с ней. Затем Катя одна играла в игрушки, а я на портативной машинке печатал повести и рассказы. Работа по хозяйству и на огороде укрепила здоровье. Я много сочинял, фантазировал – вволю, без всякой оглядки на «внутреннего цензора». И даже не думал: пойдет это куда-нибудь или не пойдет. Однако девать свои прозаические творения все равно было некуда. Иногда посылал рассказы и повести в столичные журналы, где рукописи бесследно и безответно исчезали.

И вдруг – «Волга»!.. В библиотеке нечаянно наткнулся на старый экземпляр советских времен с синей обложкой с пожелтевшими страницами, записал адрес, послал в Саратов подборку рассказов. Ответа долго не было, я и не надеялся его получить, но какое-то чувство подсказывало: письмо будет!

И, действительно, в один прекрасный день я получил большой конверт с тонким письмом от главного редактора «Волги» Сергея Боровикова. Он сообщил: рассказы приняты и уже печатаются!

Подборка рассказов была моей первой публикацией за несколько перестроечных лет! Я обрадовался, будто школьник, впервые напечатавшийся в солидном издании. И в семье мой «рейтинг» безработного слегка повысился, ведь до этого я был даже не графоманом, но, что гораздо хуже, – писателем, который вышел из прошлого и невостребован в нынешних временах. Оказалось, востребован – «Волга» в лице его главного редактора протянула мне руку сотрудничества.

Пишущие люди знают: столичные издания легко забывают провинциальных авторов, зато такие журналы как «Волга» их ценят, помогают в трудные времена вернуться на свои страницы. Да и сами толстые журналы, слава Богу, оказались на редкость живучими, как бы им не предсказывали на протяжении полтора десятка лет полное исчезновение и забвение. А «Волга», кроме того, остался еще и эталоном литературного качества. И название журнала не амбициозное, не

всемирно-глобальное, хотя и сугубо местное – «Волга». Географическая и смысловая середина России! Широта взглядов и мощь вдохновения. Да и не в названии, конечно, дело, а в поставленных творческих целях.

Затем я послал в Саратов повесть «Полуночная свадьба», о деревне 90-х годов. До этого повесть побывала в нескольких московских журналах – увы, без отклика. Зато редактор «Волги» вновь удостоил меня личным письмом, и очень хвалил мою работу.

Опубликованная повесть была замечена отделом критики «Нового мира» (единственного, на мой взгляд, журнала России, кроме «Волги», конечно, где еще проявляют интерес к современной деревенской прозе, которая существует, хотя и сильно видоизменилась – это отдельная тема), серьезную рецензию с философско-социальным анализом написал известный российский критик П. Басинский.

Таким образом «Волга» вытащила меня из трясины провинциального одиночества.

В наше время никому не нужный писатель-одиночка свою творческую нишу может найти в журнале, подобному «Волге» – в провинциальном честном журнале с высокой творческой репутацией, в журнале, у которого сложился свой круг читателей и авторов.

Опережают время те художественные издания, которые не жалеют времени для поиска новых путей и новых авторов. И работа с «провинцией» может быть вполне плодотворной.

Был забавный эпизод: в эпоху перестроечного дефицита негде было купить ленты для пишущей машинки. Посетовав на техническое качество моих текстов, С. Боровиков прислал мне бандероль с несколькими заветными лентами. И вновь застрекотала моя портативная югославская машинка: я работал для «Волги», и уже некоторые столичные издания приоткрывали двери для моих рукописей...

Ровно десять лет назад в «Волге была опубликована повесть «Ангелок» — о сельском мальчике, пытающемся найди свой идеальный облик, свое «ангельское» отражение в этом мире. В этом году «Ангелок» стал финалистом национальной детской литературной премии «Заветная мечта».

Вот такая легкая рука у «Волги» – она дала мне путевку в большую литературу, я до сих пор ценю это издание, регулярно читаю этот замечательный журнал, восставший как феникс из пепла после многих лет молчания, но не забвения.

Александр ТИТОВ,
прозаик
Село Красное Липецкой области

Иван КОЗЛОВ

Мэйнхауз и артстрим

Мы живем в странное время. Некогда презиравшие друг друга коммерческое и артхаусное кино в последние годы активно взаимодействуют, подкармливая друг друга. Мэйнстрим полными горстями выгребает из артхауса приглянувшиеся ему приемы, приспосабливая их для высокобюджетных зрелиш. Артхаус внимательно перебирает мэйнстримовские ленты, перекраивая их в трэш, либо исследуя границы жестких жанров. Получаются новые зверушки кинобестиария – мэйнхаус и артстрим. Эти милые чудовища отличаются веселым нравом и претендуют на долголетие.

Сукияки Вестерн Джанго

Это семьдесят третий фильм хулиганствующего японца Такаши Миике (нашим зрителям знакомы его ленты «Кинопроба», «Счастье семьи Катакури», «1 пропущенный звонок», «Живым или мертвым», «Город потерянных душ»). В свои сорок с лишним лет он умудрился снять бешеное количество фильмов, и, похоже, останавливаться не собирается. Пугающие объемы творческого производства режиссера сравнимы разве что с поточным методом Дмитрия Александровича Пригова. Да и материал у обоих схожий – трэш и разборки с жанрами.

Фильм «Сукияки Вестерн Джанго», как явствует из названия, разбирается с вестерном, препарируя этот жанр, рассекая волокна сюжета и внимательно рассматривая косточки и сочленения – жанр ведь, в общем-то, полумертвый.

Действие фильма происходит то ли в японской Америке, то ли в американской Японии, что позволяет Микке привлечь в качестве цитируемого материала не только классические вестерны, но и восточный аналог жанра, начиная с незабвенных «Семи самураев» и заканчивая современными вариациями на эту тему. Не забыт и итальянский вариант – спагетти-вестерн, любовно взращенный Серджио Леоне.

Сюжет стабильно банален – в небольшом городке, власть в котором удерживают в хрупком равновесии два бандитских клана, появляется незнакомец, которого враждебные группировки пытаются перетянуть на свою сторону. Дальше можно не рассказывать – будут и девушки из салуна, и продажные шерифы, и семейные тайны, и коварные интриги, все, как положено.

Что любопытно – фильм позиционируется как артхаусный, хотя работает с вполне мэйнстримовским материалом. Но дистанцирование режиссера от создаваемого им зрелища заявлено уже с первых кадров – сцены с Квентином Тарантино, которая разворачивается в каком-то предельно условном пространстве, где вместо горизонта присутствует фон, на котором намалевана Фудзияма.

Главный человек в этом фильме – после режиссера, разумеется – художник по костюмам. На всем протяжении фильма создается впечатление, что ты присутствуешь на непрерывном показе коллекции какого-то чокнутого дизайнера. Сюжет отступает куда-то на задний план, уступая место сугубо визуальному наслаждению от созерцания развевающихся плащей невероятных фасонов и расцветок и колыхания складок на навороченных накидках.

Фильм «Сукияки Вестерн Джанго» – очень холодное и красивое зрелище. Ни о каком зрительском сопереживании речь не идет – нас ведь не может волновать экранная судьба сугубо условных персонажей, кукол-марионеток, на два часа принявших человеческое обличье.

Постмодернистская игра ведется честно, фильм время от времени как бы обращается к зрителю, вопрошая – оправданы ли ожидания? А чего вы, собственно, хотели? Вот вам вестерн, оболочка жанра в идеальной сохранности, отремонтирована специалистами экстра-класса,

а что внутри пустота – так откуда ж там чему взяться? Красивый мыльный пузырь, разводы на поверхности завораживают. Смотрите внимательнее, ведь вам решать, что вы увидите в этих гипнотизирующих разводах.

После прочтения сжечь

Новый фильм братьев Коэнов развивает их излюбленные темы: невероятная путаница вокруг крайне серьезных событий, которая приводит к кровавым разборкам, не выходя при этом из сугубо комического пространства.

Отставной цээрушник засел за мемуары, диск с набитыми им данными оказался потерянным в спортзале и попал в руки случайных людей, которые начинаются действовать как персонажи шпионских фильмов. Актеры примеряют на себя экранные стереотипы, и это вдвойне забавно, поскольку и Брэд Питт, и Джон Малкович, и Джордж Клуни сыграли достаточно подобных ролей во вполне серьезных фильмах приключенческого жанра.

Этот фильм как бы балансирует между солидным коммерческим зрелищем и артхаусным стебом. Режиссеры предпочли не склоняться ни на одну из сторон, и фильм оказался интересным самым разным зрительским аудиториям. Ироническая усмешка адресована не только прихотливым сюжетным изгибам, но и метауровню, в данном случае – принципам актерской игры.

Получается, что актеры с удовольствием пародируют свою же игру. Придурковатый Брэд Питт корчит загадочные рожи и щурит глаза, Малкович демонстрирует полнейший неадекват своего героя, Клуни пребывает в стабильно параноидальном состоянии. Это очень смешно, хотя пули в фильме настоящие, и к концу зрелища количество трупов впечатляет.

Зритель гадает – кто же останется в живых, и кто получит главный бонус. Ради чего все это вообще затевалось? Оказывается, для того, чтобы стареющая тренерша в фитнес-клубе получила возможность сделать пластическую операцию (заметим, вряд ли нужную ей на самом деле). Вот эта проблема дел государственных, которые зависят от вполне частных лиц с их предельно суетными заботами и проблемами, и образует главный комедийный вектор ленты. Вдобавок ко всему оказывается, что информация эта не столь уж секретна. Главный босс интересуется, какой уровень доступа у автора мемуаров и, услышав, что третий, устало машет рукой – мол, ерунда, не страшно.

Впрочем, разве это вымысел? Вот данные с новостной ленты от 1 ноября: «В Великобритании разгорается очередной скандал вокруг утерянных данных. На этот раз на стоянке около паба в одном из графств была обнаружена флэш-карта с кодами доступа к правительственным компьютерным сетям». И это отнюдь не единичный случай. Вот более ранние события подобного же рода в этом году: «подрядчик потерял устройство памяти, где хранилась информация о заключенных Англии и Уэльса. В июне секретные правительственные документы о тактике террористов были забыты в пригородном поезде. В январе компьютер, содержавший личные данные 600 тысяч потенциальных новобранцев британской армии, был украден из машины флотского офицера в Центральной Англии».

Так что, как пел Владимир Высоцкий, «действительность куда кошмарней». Кто бы сомневался.

Принц Каспиан

Вторая лента из экранизируемых ныне «Хроник Нарнии». Режиссер Энрю Адамсон, отснявший двух «Шреков», приступил к экранизации цикла сказок Клайва Стейплза Льюиса в 2005 году (фильм «Лев, Колдунья и платяной шкаф»). Через три года появилась вторая часть «Хроник» – «Принц Каспиан». Этот проект выходит под лейблом Диснея, что стопроцентно гарантирует возможность семейного просмотра и обещает сказочную зрелищность.

Фильм сделан с голливудским размахом – съемки проводились в Новой Зеландии, плотники возводили в Чехии замки, строили в Словении мост, который повторял сооружение, возведенное Юлием Цезарем во время войны с германцами. Чтобы построить этот мост, инженеры, работавшие для фильма, на время изменили направление течения реки Сока.

Изменить же направление сюжета создатели фильма были не в состоянии, однако значи-

тельно подкорректировали детали. Картин подобного рода было снято великое множество, так что режиссеры решили не ломать голову, а цитировать самое выдающееся кинофэнтези недавнего времени – эпохальный трехчастный «Властелин Колец» Питера Джексона.

Это породило оживленное обсуждение фанатов Толкиена и Льюиса и снисходительные замечания критиков. Но, так или иначе, благодаря этой своеобразной центонности, фильм выпадает из сугубо коммерческого ряда, адресованного детской аудитории, и становится слегка «постмодернистским».

Выходит, достаточно нескольких отсылок и цитат, и любое произведение может стать не тем, чем оно первоначально задумывалось, начиная подмигивать знатокам, потакая при этом массовой аудитории. Таких фильмов становится все больше, и некогда незыблемые границы коммерческого кино обрастают расширяющимися с каждым годом нейтральными полосами.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Сергей Боровиков
Алексей Александров
Роман Арбитман
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Сергей Слепухин
Олег Рогов

Формат 60x84 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 19
Уч.-изд. л. 18,2
Подписано в печать 4 декабря 2008 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.